

II

С. Д. П.

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОГО БЫТА

ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ



## ТЕТУШКИН АЛЬБОМ\*

(Вместо предисловия)

Немногим менее столетия назад историк театра Н. В. Дризен разыскал в семейных архивах старинный альбом с рисунками и стихами. Альбом принадлежал его двоюродной прабабушке; стихи были частью адресованы ей, и под ними стояли имена, весьма известные в истории русской словесности пушкинского времени.

Гнедич... Измайлов... Кюхельбекер... Востоков... Илличевский... Владимир Панаев... Неизданные, неизвестные стихи.

Автографы опубликованных стихов Крылова, Баратынского, Дельвига. Вклеенный автограф Пушкина.

Рисунки Кипренского и Кольмана...

С миниатюры, вставленной в переплет, на внучатого племянника смотрело лицо прабабки в расцвете молодости и красоты: черный локон развился и упал на плечо, огромные влажные глаза задумчиво-сосредоточены, на устах полуулыбка, рука рассеянным жестом поправляет накидку... Такой она была семьдесят лет назад, когда все вокруг нее кипело жизнью и молодостью и первоклассные художники и поэты прикасались к листам ее альбома. «Салон двадцатых годов» — озаглавил Дризен статью, в которой рассказал о своей находке.

Слово «салон» для современного сознания несет в себе некий негативный оттенок, — да и во времена Дризена означало что-то искусственное, ненастоящее, лишенное значительного общественного содержания. Но это не совсем верно.

Кружок, салон, общество — все это было неотъемлемой частью литературного быта первых десятилетий девятнадцатого века. Достаточно вспомнить «Дружеское литературное общество» братьев Тургеневых и Жуковского, откуда вышло «Сельское кладбище», начавшее новую эпоху русской поэзии, или «Арзамас» — литературную школу юноши Пушкина. Если мы перелистаем превосходную книгу М. Аронсона и С. Рейсера «Литературные кружки и салоны» (1929), мы убедимся, что ведущая роль в истории русской духовной культуры пушкинского времени принадлежала именно интимному кружку.

---

\* Печатается по изданию: Вацуро В. Э. С. Д. П.: Из истории литературного быта пушкинской поры. М.: Книга, 1989.

В начале двадцатых годов салон с хозяйкой во главе — культурный факт глубокого смысла. В памяти общества сохранялось представление о французском салоне Рамбулье, собиравшем прециозных литераторов XVII века, и уже совершенно современном — салоне мадам Рекамье, прославленном во время Реставрации, где постоянно бывал Шатобриан. Эти салоны обозначались именем хозяйки, которая становилась лицом историческим. Но этого мало.

Сентиментальная эстетика — а в начале 1820-х годов в России она еще не потеряла своего значения — считала женщину «хорошего общества» основным арбитром литературного вкуса. На ее язык, очищенный от просторечия и вульгаризмов, а с другой стороны — от книжной речи и профессиональных жаргонов, — ориентировался Карамзин, реформируя язык литературы. Даже Бестужев, писатель нового поколения, пропагандируя русскую словесность, обращается к «читательницам и читателям». Так и обозначено на титульном листе знаменитой «Полярной звезды».

«Читательница», создавшая литературный кружок, — это была победа русского просвещения. Когда Рылеев и Бестужев издавали первую «Полярную звезду», они рассчитывали на меньшее: убедить читательниц оторваться от французских романов и обратить внимание на отечественную литературу.

Альбом такой читательницы — не только собрание автографов, но указание на существующую между ними связь. Он имеет четвертое измерение: его можно не только открыть, но и развернуть во времени.

В четвертом измерении оживают люди, державшие перо и кисть, они движутся, и говорят, и ведут жизнь, полную драматизма: жизнь увлечений, влюбленности, признаний и разрывов, — и перипетии ее оставляют на страницах альбомов галантные мадригалы, послания, посвящения, любовные циклы. Литераторы объединяются в кружки и партии, противоборствующие друг с другом: страсти кипят, выливаются на страницы журналов, порождают рукописную литературу. И она остается в альбомах и рукописных сборниках.

Существуют альбомы, продолжающие друг друга, дополняющие, разъясняющие, оспаривающие и отрицающие.

То, что не успел или не сумел, не захотел, наконец, рассказать нам альбом, разысканный Дризеном, досказывает второй, хранящийся ныне в рукописном собрании Пушкинского дома в Ленинграде. Лет десять назад обнаружили листы и из третьего, разрозненного и почти полностью утраченного, принадлежавшего все той же темноволосой красавице, которую впервые увидел Дризен на миниатюре альбомного переплета.

Разбросанные звенья складываются в цепь. Нам известны альбомы людей, стихи которых Дризен нашел в «тетушкином альбоме».

Альбом Измайлова и его жены... Альбом Владимира Панаева... альбом Павла Лукьяновича Яковлева...

В альбом Яковлева писали Баратынский и Пушкин.

Это была целая литература, сопоставимая с литературой дружеских посланий и писем, расцветшей пышным цветом в десятилетия — двадцатые годы девятнадцатого века. За ней стояла жизнь — притом не одного, но многих, составлявших литературное общество, салон, кружок.

За «тетушкиным альбомом» или, вернее, альбомами стоял не просто кружок, но одно из самых примечательных литературных объединений пушкинского Петербурга, куда входили Дельвиг, Баратынский, Гнедич, Измайлов, О. Сомов, В. Панаев; где бывали Крылов, Рылеев, Кюхельбекер, Катенин, почти весь столичный литературный мир, исключая Пушкина, уже высланного на юг.

В книге, которую держит в руке читатель, сделана попытка шаг за шагом проследить биографию этого кружка. Собирая и систематизируя, располагая в хронологической последовательности альбомные записи, печатные упоминания, мемуарные свидетельства, не изданные по большей части документы и письма, мы попытаемся воссоздать то, что от него осталось, внимательно вчитываясь и в превосходные, знакомые многим стихи, в которых отразилась его внутренняя жизнь. Задача эта сложна: домашний кружок обычно не заботится о своей истории и не ведет летописи, в отличие от общества, — и в хронике его всегда не хватает каких-то звеньев, и более всего не хватает точных дат. И потому в ней повышается роль гипотезы, — того чтения «за документом», о котором когда-то писал Ю. Н. Тынянов и которое есть неизбежное и необходимое условие всякого исследования, если оно не превращается в чтение без документа. Мы не будем скрывать этих лакун и гипотез, — ибо это тоже закон исследования.

Итак, начнем: мы в Петербурге, в конце десятилетия годов прошлого века.

## Глава I

### ПЕТЕРБУРГСКИЙ САЛОН

*Обычными посетителями были люди  
известные по литературе или по искусству,  
даровитые и любезные в откровенной,  
ничем не сдержанной беседе.*

В документах и мемуарах 1820-х годов мы нередко встречаем имя Софьи Дмитриевны Пономаревой. «Беззаконной кометой» мелькнет она на литературном горизонте эпохи, оставив по себе несправедливо двусмысленную память всеобщей соблазнительницы, — по милости людей, некогда искавших ее внимания и получавших его. Через тридцать с лишним лет после ее безвременной кончины на мгновение возникнет ее образ в связи с именами Баратынского и Дельвига. Тогда оживут забытые, казалось бы, личные и литературные страсти в поздних воспоминаниях В. И. Панаева, некогда ее поклонника и возлюбленного; он бросит камень в своих литературных неприятелей, а вместе с ними не пощадит и ее. Это будет посмертная вражда и посмертные страсти, ибо мемуары Панаева появятся в печати через восемь лет после его смерти, — но они вызовут отклики еще живых современников. Так начнется воскрешение имени, и с ним кратковременной, но яркой эпохи петербургского литературного быта, когда в салоне Пономаревой собирались люди разных литературных поколений — от Крылова до лицейстов, Баратынского и Рылеева, когда в ее альбомы десятками писались стихи, под которыми стояли имена, известные сейчас каждому школьнику. От этого салона осталось слишком мало, чтобы день за днем восстанавливать его хронику, принадлежащую истории русской культуры, — и, с другой стороны, достаточно много, чтобы попытаться собрать и осмыслить разрозненные и частью не изданные документы. Осталось, в частности, несколько мемуарных свидетельств, о которых пойдет речь в своем месте; но одно из них следует привести полностью, ибо оно попало в литературу в сокращенном пересказе и без указания на источник. Это запись племянника Софьи Дмитриевны, Николая Пономарева, сделанная на листе «тетушкина альбома» 17 января 1868 года, — по свежим следам чтения воспоминаний Панаева и полемического отклика Н. В. Путяты, защищавшего Баратынского от посмертных нареканий. «Софья Дмитриевна Пономарева,

рожденная Позняк, жена единственного брата отца моего, умерла задолго до рождения моего. Сведения, которые я имею о ней через отца моего, ограничиваются тем, что она слыла за женщину весьма образованную, от природы умную и очень привлекательной наружности. С мужем жила она, по-видимому, в согласии и вообще пользовалась репутацией небезнравственной женщины. Противное в то время было бы трудно скрыть. О проказах ее и детской шаловливости, по выражению современников, я мало слышал. Раз жена моя имела случай встретиться с Московским старожилом С....., который хорошо знал мою тетку. Он говорил, что никогда не мог вдоволь надивиться проказам милой шалуни, так называл он Софью Дмитриевну. И как же она меня два раза напугала, — рассказывал С..... — Подходит ко мне на одной из станций между Москвой и Петербургом прехорошенькая крестьянка и предлагает яблоки: "Купите, барин, дешево продам" — да как бросится мне на шею!... смотрю, глазам не верю!... Софья Дмитриевна! — Другой раз, что же вы думаете? присылает за мною: "Софья Дмитриевна скончалась"; очень я ее любил — не помню, как и доехал до ее дома. Лежит в гробу; люди плачут. Я только бы подойти, а она как рассмеется!.. "Это я, говорит, друзей испытываю, искренно ли они обо мне плачут!..".»

Не думаю, чтобы все это, а равно и окружение ее себя литераторами и художниками, которыми в то время так богато было наше отечество, могло бы набросить тень на ее нравственность. Гостиная ее была в малом виде «*hôtel Rambouillet*», этот представитель золотого века Франции. Этому свидетельствует альбом, доставшийся мне по наследству как старшему в роде, по трагической кончине двоюродного брата моего, единственного сына Софьи Дмитриевны. Не могу умолчать о его смерти. Брат мой, служивший в лейб-гусарах, сильно или, лучше сказать, вовсе расстроил очень хорошее свое состояние. Вследствие ли этой или другой причины, мне неизвестной, решился он проститься с жизнью. Поехало их несколько человек на невском пароходике, в одно из загородных гуляний. — "Хочешь ли, я тебе покажу штуку?" — обратился он к рядом с ним стоявшему и с теми словами перепрыгнул за борт. Тело его не нашли.

Отец мой, желая сохранить родовое имение, уплатил большие долги племянника, но увы! — имения не мог все-таки удержать. Состояние наше этим сильно потряслось. Из этого видно, что альбом мне не дешево достался. Я дорожу им, как редкостью, но вместе с тем и не без сострадания смотрю на портрет несчастной женщины, память которой так гласно и гнусно очернена одним из пользовавшихся ее гостеприимством и дружбою» .

На этом оканчивается семейное предание. То, что пишет Пономарев далее, известно по другим источникам: он заканчивает свою запись обширными извлечениями из статей Панаева и Путяты. «Московский старожил», о котором он упоминает, — конечно, Дмитрий Николаевич Свербеев, оставивший в своих записках подробное описание пономаревского салона и

---

\* Отель Рамбулье (фр.).

рассказавший о совершенно таких же «проказах» хозяйки. Правда, в записках Свербеев относится о ней с гораздо меньшей симпатией и рисует себя скорее жертвой шуток, иной раз задевавших его самолюбие, — но в разговорах с племянником он, конечно, выставлял тетушку в лучшем свете. Родственное описание несколько идиллично, но в нем уловлено то, на что все мемуаристы обращали особое внимание: дух интимной игры, шутилой фамильярности, царившей в маленьком литературно-бытовом кружке; дух артистической богемы, — вовсе не свойственной, кстати сказать, салону Рамбулье. Но прежде чем начать об этом речь, задержимся на минуту на драматическом и театральном самоубийстве единственного сына Софьи Дмитриевны: оно бросает странный ретроспективный свет на быт и психологию кружка, который он застал совсем мальчиком. Дмитрий Якимович (Акимович) Пономарев, поручик лейб-гвардии Гусарского полка, был товарищем Лермонтова еще по юнкерской школе, где юнкера звали его «Камашкой»; он был богат и достаточно независим и жил в Петербурге, на Моховой, в открытой связи с красавицей балериной Варварой Волковой; у них собиралось большое общество. Существует рассказ, что в день смерти Пушкина — 29 января 1837 года — Волкова пригласила гостей «на вишни и землянику», привезенные из-за границы; что среди гостей были великие князья Александр, Константин и Николай Николаевичи, — и что в разгар вечера приехал Лермонтов с сообщением о смерти Пушкина. Вечер не состоялся, гости, потрясенные известием, начали разъезжаться<sup>2</sup>.

Блестящий гвардейский офицер, приятель Лермонтова, к которому больной поэт спешит с известием о гибели Пушкина, мот и жуир, принимающий великих князей в полухолостом-полусемейном доме, где блистает балерина выдающейся красоты, получающий в мальпостах землянику в январе месяце, — и расстающийся с жизнью шутя, на пикнике, — нет ли в этой биографии того же духа богемы, которым была отмечена производящая ее среда? Вероятно, есть; но богема «детей» — уже не богема «отцов»; за ней — горечь, опустошенность, оскудение жизненных начал, не скрытое, а скорее подчеркнутое блеском и роскошью сценического действия...

В начале двадцатых годов все было иначе, — и теперь Дмитрий Пономарев должен сойти со сцены, уступая место своей матери.

Салон Пономаревой носил на себе явственный отпечаток личности ее хозяйки, — и здесь мы должны были бы заняться ее внешней и внутренней биографией, — но как раз биография этой примечательной женщины была не вполне ясна даже современникам. «Где получила она свое образование, не знаю, — удивлялся Свербеев, — но воспитание ее было самое блистательное: бойко говорила она на четырех европейских языках и владела превосходно русским, что было тогда редкостью; легкая иностранная литература и наша домашняя были ей вполне знакомы»<sup>3</sup>. Здесь нет преувеличения: мы знаем ее записки в альбомах не только на общеупотребительном французском, но и на малоизвестном в русском обществе тех лет



английском языке. В ее альбом пишут и по-немецки, и по-испански, и по-итальянски; среди ее гостей — сын португальского генерального консула Лопец и преображенский капитан Поджио. Впрочем, эти известные петербургские красавцы, как аттестует их Панаев, конечно, говорят с ней по-французски, — а вот ее наперсница, итальянка Тереза, о которой упоминал Свербеев, вероятнее всего пользовалась своим родным языком. Итак, английский, французский, немецкий и, по-видимому, итальянский языки были ей знакомы. Свербеев вспоминал, что Пономарева декламировала приходившим к ней поэтам их собственные стихи и «восхищала своей игрой на фортепьяно и приятным пением»<sup>4</sup>. Это было, говоря словами Вяземского, то «обольщение тонкого художественного кокетства», которое несколькими годами позднее отличало салон Зинаиды Волконской, где хозяйка пела Пушкину романс «Погасло дневное светило» на музыку Геништы. Но дочери князя Белосельского-Белозерского и жене князя Волконского было откуда почерпнуть свой утонченный европеизм; каким образом он стал достоянием дочери Дмитрия Прокофьевича Позняка, «сенатского оберсекретаря одного из петербургских департаментов», хотя бы и «умного и хитрого», и даже просвещенного «дельца по судебной части», как аттестует его Свербеев?

Дмитрий Прокофьевич Позняк был родом с Украины и состоял в дальнем родстве и дружеской приязни с Николаем Ивановичем Гнедичем, которого был старше на двадцать лет. Он пережил Гнедича и после его смерти был одним из его душеприказчиков. Вторым был Петр Петрович Татаринов (1793—1858), выпускник Харьковского университета, чиновник канцелярии статс-секретаря Молчанова, потом канцелярии комитета министров и секретарь общей канцелярии министерства юстиции; страстный любитель театра и литературы<sup>5</sup>. Эти формулярные сведения здесь не излишни: они показывают, что Татаринов некоторое время служил вместе с мужем Софьи Дмитриевны. Связи идут по двум линиям — семейной и служебной. Вместе с Татариновым служит Николай Иванович Бахтин (1796—1869), будущий крупный чиновник, государственный секретарь, член Государственного совета, а ныне юноша двадцати одного года, с вполне заслуженной репутацией очень умного, остроумного и делового молодого человека, самолюбивый и высокомерный, занятый вопросами литературы и «высшей политики»; в той и в другой он обнаруживает нетерпимость и безапелляционность суждений. Этот Бахтин станет через несколько лет учеником и адептом Катенина, которому будет подражать в самом характере и поведении, — а Катенин будет его весьма поощрять. Бахтин тоже с Украины, и Татаринов знает всю его семью, начиная с отца, Ивана Ивановича, известного в свое время поэта-сатирика, а в 1803—1804 годах губернатора Слободской Украины (по позднему административному делению — Харьковской губернии). Заметим, что Гнедич — тоже из-под Харькова и окончил Харьковский коллегиум, Бахтин — Харьковскую гимназию, Татаринов — университет. Предыстория их петербургских связей уходит в харьковское культурное гнездо, с которым как-то связан и Дмитрий Прокофьевич

евич Позняк; он сохраняет эти знакомства и в Петербурге, и даже приумножает их. Сенатскому обер-секретарю нужен простор для служебной карьеры, — и вместе с тем он ищет и создает вокруг себя культурную среду. По приезде в Петербург он отдает сына в Царскосельский лицей; в лицейских мемориалах значится Иван Дмитриевич Позняк, лицеист второго выпуска, принятый в 1814 году. Он учится одновременно с Пушкиным и его товарищами и, без сомнения, знаком с ними, как и весь второй выпуск. Старшую дочь Позняк выдает замуж за Григория Алексеевича Андреева, начальника Второго отделения канцелярии статс-секретаря комиссии прошений, «чиновника средних лет, полуобразованного, с манерами довольно приличными, с характером уклончивым и холодным»<sup>6</sup>. Что же касается Софьи Дмитриевны, то ее брак несколько удивлял современников: он казался мезальянсом.

Муж Софьи Дмитриевны, Аким Иванович Пономарев, был старше ее на пятнадцать лет. Свербеев рассказывал, что он был сыном богатого откупщика, отделившего его и давшего ему состояние; в формулярном списке он числится сыном украинского дворянина<sup>7</sup>. В 1797 году, когда его будущая жена была совсем ребенком, он имел уже чин прапорщика. Он участвовал в нескольких походах и в 1808 году вышел в отставку в капитанском чине, а с 1815 года был определен в уже известную нам канцелярию статс-секретаря комиссии по принятию прошений. Но еще ранее немолодой по тогдашним понятиям и ничем не примечательный отставной капитан взял себе в жены блестящую, талантливую, образованную и привлекательную девушку.

История этого семейного союза, как кажется, разъясняется несколько формулярным списком ее отца.

Будущий тайный советник и кавалер, обладатель анненской ленты не имел даже в конце жизни ни родового, ни благоприобретенного имения ни за собою, ни за женой. Образования законченного у него также не было: смерть отца заставила его уйти из Киевской духовной академии, не окончив курса. Шестнадцать лет, в 1780 году, он канцелярист в штате Новороссийского генерал-губернатора, через семь лет — капрал в лейб-гвардии Преображенском полку, с причислением в штат канцелярии генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического. Фортуна, кажется, начинает поворачиваться к нему лицом; в 1793 году он уже капитан в свите графа Самойлова, отправлявшегося чрезвычайным послом к турецкому двору; когда Самойлов был назначен генерал-прокурором, Позняк был оставлен при нем для употребления к статским делам.

В 1795 году он коллежский асессор, секретарь 1-го департамента сената.

По некоторым сведениям, в 1790-е годы он был одновременно и домашним секретарем у земляка своего и тезки, Дмитрия Прокофьевича Трощинского, чиновника и вельможи, так же как и он, питомца Киевской духовной академии.

В эти годы двойного его секретарства и происходит с ним, по-видимому, случай, сохраненный историческим анекдотом: рассказывали, что вмес-

те с черновыми бумагами он по оплошности разорвал переданный ему Трощинским указ императрицы. В отчаянии он хотел покончить с собой; потом решился на крайний шаг: поехал в Царское, пробрался в сад, где по утрам гуляла Екатерина, и бросился перед ней на колени. Екатерина подписала новый текст на его подставленной спине и взяла с него слово молчать, — но Трощинский догадался, что он был у императрицы, когда Позняк получил от щедрот ее триста душ и Владимирский крест; догадался — и гнев его обрушился на подчиненного, который «забегает к государыне задними ходами». Здесь Позняк вынужден был все рассказать, и Трощинский взял назад свое требование об отставке<sup>8</sup>.

Если за этим рассказом и стоит действительное происшествие, то он, конечно, приукрашен и в иных деталях прямо неправдоподобен: за что бы, кажется, жаловать чиновника, попавшего в беду по собственной вине? Судя по формуляру, Позняк и не был награжден: никаких «трехсот душ» у него не было, и Владимирский крест он получил только в 1804 году, уже при Александре. При всем том характер Позняка обрисован в анекдоте довольно выразительно: это был человек сметливый, находчивый, умевший рисковать и держать язык за зубами. Он быстро двигался по служебной лестнице и в 1803 году был уже статским советником. В 1801 году он получил «по заслуженным чинам» потомственное дворянство и герб<sup>9</sup>, — а с января 1805 года вдруг неожиданно ушел в отставку, как значится в формуляре, «по болезни», с половинным пенсионом по 600 рублей в год.

Это было все, чем мог он располагать; как мы помним, никакого имения у него не было. На руках у него оставалась жена и четверо детей: дочери Екатерина и Софья и сыновья Иван и Петр, трех и двух лет.

Отставка продолжалась шесть лет, и, сопоставляя все обстоятельства, мы должны предполагать, что семейство едва сводило концы с концами, тем более, что в 1810 году рождается пятый ребенок — сын Михаил.

Имущественное положение многочисленного семейства стало бы критическим, если бы в том же 1810 году не произошло другое событие, уже государственного значения, которое резко изменило положение отставного чиновника.

В Петербург приехал новый министр юстиции.

Этим новым министром был известный поэт Иван Иванович Дмитриев, который с первых же дней стал входить в сенатские дела и состоянием их остался весьма не удовлетворен. Его раздражали беспечность и неумение сенатских обер-секретарей; он уволил одного из них, подавшего ему реестр нерешенных дел «в клочках и недописанный». Прежние секретари переводили Монтескье, нынешние не умели составить определения<sup>10</sup>. Он стал искать людей со сведениями и опытом.

11 февраля 1811 года, гласит запись в формулярном списке, Позняк «бывшим министром юстиции тайным советником Дмитриевым призван опять на службу и определен для исправления дел обер-секретаря в I департаменте правительствующего сената»<sup>11</sup>.

Нет сомнения, что Дмитриев был осведомлен о деловых качествах Позняка, которого мог знать еще по своей прежней службе в сенате в конце

девянострем лет. Он разыскал его и вернул с повышением, а уже через полгода представил к ордену св. Анны 2-й степени, который был почетен и для обер-прокуроров. Положение статского советника было прочным, пока было прочным положение министра, — но и то и другое могло измениться каждую минуту. В комитете министров у Дмитриева были «неудовольствия», и он просил об увольнении еще в 1812 году, — а в половине 1814 года добился отставки и уехал в Москву. Правда, на его место назначили Троицкого — и все же нужно было думать о будущем.

Пока что Позняк добивается определения старшего сына в лицейский Благородный пансион, а оттуда — после публичного экзамена — в Царско-сельский лицей.

Софье в это время уже около двадцати лет; за этим рубежом дочь чиновника без имения, без родословной быстро близится к критическому возрасту. Почти нет сомнения, что союз ее с Пономаревым составил по рачительной воле отца. Собираясь опять в отставку, Позняк пристраивал детей. 25 сентября 1817 года — в самый день рождения дочери — он вновь подал прошение об увольнении «за болезнь» и вступил опять в службу лишь в 1824 году.

Выбирая жениха для младшей дочери, он, вероятно, принял во внимание богатство будущего зятя, его спокойный и флегматичный характер, привязанность к Софье и, может быть, старые связи. Но все это принадлежит уже к области гаданий. Мемуаристы упоминают об Акиме Ивановиче как о необходимой принадлежности обстановки салона, о безмолвном и покорном спутнике, «муже-слуге из жениных пажей», коротающем вечера за стаканом мадеры. Свербеев пишет прямо: Софья Дмитриевна вскоре после замужества убедилась, что муж ее не стоит, и устраняла его из общества простейшими средствами. «Вечером, часов в 8, можно было еще встретить ее мужа, но уже не иначе, как навеселе, к 11, после нескольких чашек чаю с ромом, он был готов, и его укладывали спать, гостей прибывало, и беседа, оживленная умной, вертлявой хозяйкой, закипала со всем очарованием изящной, какой-то художественной оргии»<sup>12</sup>.

Свербеев был сослуживцем Акима Ивановича — он поступил в канцелярию в марте 1818 года, — но знал его мало. Другие сослуживцы, более давние, относились к нему снисходительнее. Уже знакомый нам Петр Петрович Татаринов постоянно упоминает о нем в своих письмах к Н. И. Бахтину. В этих письмах имя Пономарева встречается уже в 1815 году. Сам же Татаринов знаком с ним еще ранее, о чем свидетельствует весьма любопытное письмо.

П. П. Татаринов — А. И. Пономареву  
Павловское, 29 июля 1814

Извините меня, милостивый государь Аким Иванович, что беспокою вас просьбою моею. Короткое ваше знакомство с Николаем Ивановичем Гнедичем подает мне надежду, что вы не сочтете в большой труд исполнить оную: спросить у него только, написал ли

он что-нибудь в бытность свою в Павловском в памятной книжке, которая в Розовом павильоне лежит, и какие именно стихи? Не дивитесь моему любопытству, оно не мое: государыня, не знаю, по какому случаю, узнав, что Николай Иванович был в Павловском, полагает, что он должен оставить по себе память в знак своего посещения. Третьего дня, ужинав в ферме, перерыла все книжки, но ничего не нашла; вчера то же было в Розовом павильоне. Нелединский показывал ей какие-то стихи, она изволила их читать; стихи сии, говорят, прекрасны и посему приписывают Н. И. Я не думаю, чтобы Н. И. захотел скромничать, ибо хуже будет, ежели дурные стихи ему припишут. Прошу покорнейше не оставить меня без уведомления вашего о сем случае.

Пребывающий с совершенным почтением и преданности ваш покорнейший слуга П. Татаринов.

Прошу покорнейше засвидетельствовать мое почтение милостивому государю Дмитрию Прокофьевичу и милостивой государыне Софье Дмитриевне<sup>13</sup>.

Пономарев, по-видимому, выполнил поручение. Во всяком случае, Гнедич написал стихи «Для Розового павильона в Павловске», к которым сделал примечание: «Императрица Мария Федоровна, при случайном проезде моем через Павловск, изволила спрашивать, оставлены ли мною какие-либо стихи в Розовом павильоне»<sup>14</sup>. Мадригал содержал объяснение, почему Гнедич в тот раз стихов не оставил. При нем стоит дата: «1814».

Двумя годами позднее и Татаринов, и Бахтин уже в числе довольно коротких знакомых семьи. «За городом повстречалась с нами какая-то четырехместная карета, — пишет Татаринов (Бахтину) 8 августа 1816 года, — из которой выглянуло прелестное личико, чрезвычайно на Софью Дмитриевну похожее, — и с хохотом мне или нам поклонилось, видя, что князь спал. Ежели будете у нее, спросите между слов, не она ли это была?» 1 октября 1817 года он вспоминает о бале в день именин Пономаревой, на котором он был вместе с Бахтиным, а 5 октября сообщает: «Я исполнил поручения ваши. Кланялся С. Д. и А. И. — завтра обедаю у них на новой квартире, на которую вчера переехали. Квартира не дурна, но не велика; впрочем, все хорошо и на месте; его кабинет — слишком мал». Он рассказывает своему корреспонденту и об обстоятельствах служебной карьеры Пономарева, — весьма скромной: «Иаким Иванович по совету Ив. Сем. оставил вашу канцелярию и перешел в Комиссию, куды и определен в должности регистратора. От него, впрочем, зависит быть столоначальником по отделению Добровольского. Когда я, бывши у него, сказал ему о желании Ивана Семеновича, представьте себе, что у него показались слезы на глазах. Это и меня бы несколько пошевелило»<sup>15</sup>.

Красноречивый жест, красноречивое признание! Петербургские чиновники не были избалованы вниманием. Татаринов знал это по себе и жа-

ловался Бахтину на тяготы подневольной службы. Но он служил, не имея состояния, из куска хлеба; а Пономарев был богат. Должность столоначальника была привлекательна не прибавкой жалованья, — но общественным престижем, — столь эфемерным для других, столь вожделенным для него. Титулярный советник в должности регистратора, преданный и молчаливый муж светской красавицы, — ощущал ли он, что судьба предназначила ему вечную роль статиста? — ту роль, которую так настойчиво подчеркивал в своих воспоминаниях Свербеев?

А тем временем его молодые сослуживцы оспаривают друг перед другом право на преимущественное внимание Софьи Дмитриевны. В мае 1817 года Бахтин вдруг неожиданно отлучается со службы в Царское Село, где живут Пономаревы, — к крайнему неудовольствию своей матушки, которая собирается даже жаловаться на него начальству. Татаринцов отговаривает ее. «Да как он там остался? — Софья Дмитриевна оставила его, напомнив ему, что вы ей поручили его. — Для города и в городе, а не в Царском Селе, — был ответ»<sup>16</sup>. Родители встревожены: не станет ли сын жертвой соблазна, который распространяет вокруг себя маленькая петербургская цирцея? Но нет, все оканчивается благополучно: юноша благоразумен, и к тому же вскоре уезжает в Москву в числе трех чиновников, сопровождавших статс-секретаря<sup>17</sup>. Татаринцов рассказывает ему в письмах, какую уху он ел у Пономарева и как проходил маскарад у ее сестры; маменька Бахтина, с негодованием отвергшая самую мысль о том, что она может поехать на подобное празднество, тем не менее сменила гнев на милость и явилась, даже в маскарадном костюме. «Людей меньше было, чем прошлого года, — с увлечением рассказывал Татаринцов, — масок хороших и того меньше. Говорят, а я не видел, что огромный и преискусно сделанный петух внимание всех на себя обратил. Сказывают, что петух двигался римским правом. Я за верное однако ж знаю, что достойный сын Кукольника в нем (в петухе) был. Кстати скажу, что Софья Дмитриевна сердится на вас и весьма резонно. Она писала к вам, а вы, учтивый кавалер и дамский угодник, заставляете ожидать ответа. Куда это годится? Но, может быть, в Москве молчание на дамское письмо называется учтивостью?»<sup>18</sup>.

Статс-секретарь с сопровождающими вернулся в Петербург в марте 1818 года, и вместе с ними приехал новый чиновник, Дмитрий Николаевич Свербеев, чьими воспоминаниями нам не раз уже приходилось пользоваться. Это был человек во многих отношениях замечательный. Участник московских кружков в тридцатые годы, а затем глава славянофильского салона, связанный узами дружеской приязни с Чаадаевым, А. Тургеневым, Языковым, Баратынским, Вяземским, он оказался даровитым мемуаристом, — умным, просвещенным и наблюдательным, с философическими, политическими и литературными интересами, воспитанными уроками Каченовского, Мерзлякова и Сандунова в Московском университете. Патриархальное старомосковское воспитание с юных лет выработало в нем, как он вспоминал сам, «степенность <...> характера» и «рассудочную способность», которая обуздывала в нем «все возможные увлечения юности».

Шутливый девиз «*mûg en naissant*» — «зрелый с рождения» — над изображением гриба, когда-то подаренный ему, в самом деле отвечал сущности его натуры. Даже в поздние годы его слегка шокировали «весьма нескромные» записки Е. А. Сушковой-Хвостовой, приятельницы Лермонтова, — записки скорее невинные по нашим современным понятиям. Познакомившись с петербургскими сослуживцами, он стал бывать у Пономаревых, — но дух богемы был чужд ему, и общество, как он признается сам, не возбудило в нем симпатии. Разговаривая о нем с женой племянника Пономаревой, он снисходительно называл тетушку «милой шалуньей», — в воспоминаниях, написанных для детей, он относился о ней иначе. Легким духом недоброжелательства веет от этих страниц, где мемуарист готов вполне присоединиться к тому, что написал о Пономаревой Панаев и что вызвало возмущенные протесты Путяты. И его ли вина, что девятнадцатилетним юношей он не мог проникнуть в драматический внутренний быт этой чужой ему веселой компании, что его привлекали прежде всего литературные знаменитости, которых он видел впервые? Нужно отдать ему справедливость: он употребил для своего описания не одни только темные краски. Он упомянул и о блистательном образовании, и об уме хозяйки, и даже о ее опасном очаровании, жертвой которого едва не стал сам... Но здесь нам нужно прочитать его воспоминания внимательнее, потому что они содержат едва ли не единственный в своем роде литературно-бытовой и психологический материал.

«Обычными посетителями, — рассказывал Свербеев, — были люди известные по литературе или по искусству, даровитые и любезные в откровенной, ничем не сдержанной беседе. Такими собеседниками бывали зрелых лет люди, как-то: изредка баснописец Крылов, переводчик Гомера Гнедич, неразборчивый в своей литературной деятельности журналист Греч, издатель журнала «Благонамеренный» циник Измайлов, трагики: Катенин и Жандр, закадычный друг Пушкина Дельвиг, Лобанов и Баратынский и другие; женщин не бывало ни одной»<sup>19</sup>.

Любопытно здесь самое сочетание имен. Почти все петербургские литераторы знакомы между собой, — но чаще всего бывают в своих, обособленных кружках. Любимое местопребывание Крылова — дом А. Н. Оленина, реже — «субботы» Жуковского. Греч, Гнедич, Измайлов встречаются в двух литературных обществах — Любителей российской словесности и Словесности, наук и художеств, куда Крылов не ходит так же, как Жандр и Катенин. Двое последних — короткие друзья — принадлежат к особому, маленькому кружку литературных единомышленников, куда входит и Грибоедов, — и весьма скептически настроены к большинству своих коллег-литераторов и театралов. Что свело их всех под гостеприимной крышей Пономаревых?

Жандр был одно время сослуживцем П. П. Татаринова, и уже в 1817 году имена его и Катенина появляются в переписке Татаринова с Бахтиным. Знакомы они и с Гнедичем, хотя отношения здесь сложные и чреватые кон-

фликтами: Катенин и Гнедич — наставники двух соперничающих театральных партий. Но это отнюдь не исключает частного общения. Гнедич, Крылов, Лобанов, Дельвиг — сослуживцы на Публичной библиотеке; Гнедич и Крылов даже дружны и живут рядом. И Гнедич же — старинный друг и родственник всего семейства Позняков.

Именно его стихи, посвященные членам семейства, — самые ранние записи в альбоме С. Д. Пономаревой. Один мадригал адресован «тетушке»: «Когда б все тетушки на вас похожи были...» Второй обращен к сестре Софьи — Катерине Дмитриевне: поэт восхищается ее игрой на фортепиано. Третий — записанный 24 января 1815 года — носил название: «К \*\*\* на получение турецкого кошелька с маленькою золотою монетою»... Может быть, эти стихи и не имеют отношения к Софье Дмитриевне.

Зато несомненно к ней обращено стихотворение «К \*\*\* извинение», которое через четырнадцать лет Гнедич включил в свою книжку и датировал 1818 годом.

В разлуке с вами,  
Когда вы пред глазами  
И чаще и живей,  
Чем в миг присутствия и даже разговора;  
Когда я сам, не потупляя взора,  
Смелей на вас гляжу, к вам говорю смелей,  
И боле в миг, чем в целый день свиданья,  
В такой я час, — о сладкий час мечтанья!..

Это почти признание, еле скрытое шутивным тоном.

Гнедич увлечен, — в том, кажется, нет сомнения. Его «тетушке» — двадцать четыре года; «племяннику» — тридцать четыре. Но он тут же спохватывается: в час мечтания он хотел написать в альбом — сонет ли, оду, кантату или послание. Не написал же потому, что терзаем сомнениями:

Что мне о Тетушке душа моя шептала,  
То как Сударыне я мог бы вам сказать;  
Но что Сударыне хотел поэт писать,  
За то бы Тетушка мне дурака сказала.

Итак, стихов не будет, ибо поэт решил остаться «скромником-племянником», хотя, правду сказать, и не без усилия, ибо

Близ вас заговорит и Дядюшка поэтом.

Легкая насмешка звучит в концовке: никто из близких не мог представить себе поэтом Акима Ивановича Пономарева.

Что же касается обращения «тетушка» и «дядюшка», то они, как кажется, проясняют характер родственных связей. Дядька Гнедича, брат его отца, Петр Петрович, был женат на Екатерине Ивановне Пономаревой, по-видимому, родной сестре Акима Ивановича. Софья Позняк, став госпожой Пономаревой, делалась тем самым «тетушкой» Николая Ивановича Гнедича<sup>20</sup>.



Среди всех записей Гнедича в альбоме Пономаревой одна обращает на себя особое внимание: это стихи «Дружба», сочиненные еще в 1810 году и вписанные в альбом 14 ноября 1814 года. Они посвящены Батюшкову и имеют пояснение: «по поводу его помолвки». Эти стихи были уже напечатаны, — но альбомный подзаголовок придавал им некий интимный смысл<sup>21</sup>. Гнедич знакомил Позняков или Пономаревых со своими друзьями, — знакомил, может быть, заочно. А 1818 году Батюшков уже упоминает их в своей переписке с Гнедичем, прося передать им билеты на благотворительный концерт. Он бывает у Пономаревых и сам; в альбоме Софьи Дмитриевны есть несколько его рисунков, в том числе и известный автопортрет, нарисованный по отражению в зеркале, с длинными волосами, выбивающимся из-под широкополой шляпы. В 1819 году он пишет Гнедичу из Италии: «Скажи Позняку, что я воспользуюсь первым удобным случаем, чтобы переслать ему виды Неаполя»<sup>22</sup>. Итак, Позняк интересовался его рисунками; может быть, и Софья Дмитриевна получила их от отца и вклеила в свой альбом. Как бы то ни было, Гнедич успел в своем предприятии — представить Батюшкова своим родным, хотя бы мимолетно и ненадолго. И, вероятно, он же приводит в салон Крылова; во всяком случае, два этих имени объединяются в воспоминаниях Свербеева.

«Изредка читал там Крылов новые свои басни еще до печати; Гнедич, один из искуснейших чтецов того времени, хотя и черезчур напыщенный, как и вся его фигура, прочел однажды в собрании всего кружка свою классическую идиллию «Рыбаки», превосходное подражание Феокриту, в которой он с неподражаемым поэтическим талантом в этом роде описал светлую, как день, петербургскую ночь и плоские берега величественной Невы, окаймленные великолепными зданиями. В другой раз по просьбе всех прочел он нам остроумную комедию Крылова, которая тогда только что появилась в рукописи и, как переполненная злою иронией над правительством и высшим обществом, никогда не могла быть напечатана. Им же читались иногда и отрывки из его Илиады; он, как известно, был первым из наших эллинистов и один из всех поэтов усвоил вполне русской поэзии древний греческий гекзаметр»<sup>23</sup>.

Все это происходит в начале 1820-х годов. После 1822 года Свербеев уже не мог видеть Катенина, высланного из Петербурга за вольнодумство и фронтонирование в театре; ранее 1821 года не мог слышать еще не написанных «Рыбаков» Гнедича. Следы знакомства Крылова с Пономаревыми сохранились в альбомах Софьи Дмитриевны: он подарил ей автограф басен «Лебедь, Щука и Рак» и «Василек»; вторую он вписал, видимо, в том же 1823 году, когда и сочинил ее. В эти годы в списках ходит по Петербургу знаменитая «шутотрагедия» Крылова «Трумф», написанная еще в павловское царствование; в блинном и сонном царстве царя Вакулы современники склонны были видеть злую сатиру на правительство и государственные учреждения, а в немце-завоевателе узнавали задушенного шарфом гатчинского императора. «Трумф» был, конечно, запретным чтением; за него однажды исключили из корпуса трех кадетов, — однако в 1816—1817 годах его ставят

на сцене петербургского театрального училища, и будущая знаменитость петербургской трагической сцены — В. А. Каратыгин — играет Трумфа. Особая прелесть заключалась в том, что у Пономаревых эту пародию на классические трагедии читал Гнедич — приверженец классической манеры декламации и учитель великой трагической актрисы Семеновой. Свербеева поражала «напыщенность» его — и недаром: он читал нараспев, «завывая», с особым напряжением голоса, которое молодому поколению казалось неестественным и даже «диким». Гнедич был крив и обезображен оспой и возмещал физические недостатки цветными галстуками и величавой торжественностью осанки. Над ним посмеивались, — но уважали. Сейчас уже невозможно представить себе с совершенной ясностью, как он, то понижая голос до шепота, то выкрикивая ключевые фразы, с экзальтированной жестуляцией читает, например, следующий монолог:

Ведь, слышь, сказать так стыд, а утаить — так грех:  
Я, царь, и вы, вся знать, — мы курам стали в смех.  
Нам, слышь, по улицам ребята все смеются:  
Везде за нами гвалт — бес знает где берутся!  
Частехонько — ну страм! — немчина веселя,  
Под царский, слышь ты, зад дают мне киселя!

И рядом с этим — и в той же манере — отрывки из «Илиады» или описание петербургской ночи в «Рыбаках», которое потом Пушкин будет цитировать в «Евгении Онегине»...

Таков был диапазон чтений в салоне Пономаревых.

«Кроме Гнедича читывал, бывало, благонамеренный Измайлов свои простонародные цинические басни, отличавшиеся русским юмором. Дельвиг приносил свои песни, которые тут же распевала хозяйка. Греч острил над Булгариним, своим другом»...<sup>25</sup>

Шуточное, пародийное начало в салоне запало в память Свербеева. Им были проникнуты басни Измайлова и его бесконечные стихотворные послания к Пономаревой. Старшее поколение шутило. Гречу, издателю «Сына отечества», было немногим за тридцать, но он принадлежал к «старшим» если не по возрасту, то по репутации. Он появляется в салоне, по-видимому, в 1818 году, — во всяком случае, этим годом датированы его записи в альбоме Пономаревой. В этих записях — стилизованных, слегка жеманных и остроумных, — чем славился Греч, — он надевает на себя ироническую маску школьного учителя и педантичного библиографа, — впрочем, тем и другим он был и на самом деле:

#### УЧИТЕЛЬСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ

Кто бога боится и честно поступает, тот не страшится ничего.

За столом сиди прямо, с соседями не дерись и не ешь ничего без хлеба.

Ходя по улицам, не заглядывай в окна. Над старыми людьми и учителями своими не насмехайся.

Азбуки своей не марай и не дери, и правила, в оной заключающиеся, исполняй в точности — да благо ти будет и долголетна будеши на земли.

Н. Греч<sup>26</sup>.

Заповеди писались с умыслу: адресат, кажется, был склонен нарушать если не все, то большинство из них. Другая запись гласила:

#### IV. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ. НОВЫЕ КНИГИ.

1818.

«19t. *София Дмитриевна Пономарева, комический, но и чувствительный роман с маленьким прибавлением.* Санктпетербург, в малую осьмушку, в типографии мадам Блюмер, 19 страниц».

Здесь все — лукаво-галантные иносказания. Рецензируемая «книга» печатана в петербургской модной лавке, — не отсюда ли и последующий намек на «типографские ошибки». «Маленькое прибавление» — ребенок, которого ждет столь необычная и странная судьба. Но что значит «19 страниц»? Девятнадцать лет, — это невозможно понять иначе.

И тот же возраст указывает в своих воспоминаниях В. И. Панаев, считая между собой и Пономаревой разницу в семь лет. Панаев родился в 1792 году. Если его сведения верны, Софье Дмитриевне должно было быть в 1818 году девятнадцать лет.

Но тогда почему же А. Е. Измайлов, ее многолетний друг и поклонник, велит выбить на надгробном памятнике дату ее рождения: «Род. 25 сент. 1794»? И дата, конечно, правильна: вряд ли Софья Дмитриевна вышла замуж неполных пятнадцати лет.

Итак, кокетливая женщина, уменьшающая свой возраст? Биографическая мистификация? Светская любезность?

У нас нет ответа, — и мы вынуждены на этот раз ограничиться лишь той характеристикой личности женщины-ребенка, которую дал в своей «рецензии» Греч:

«Начав читать сию книжку, я потерял было терпение: мысли автора разбегаются во все стороны, одно чувство сменяет другое, слова сыплются, как снежинки в ноябре месяце; но все это так мило и любезно, что невольно увлекаешься вперед; прочитаешь книжку и скажешь: какое приятное издание! Жаль только, что в нем остались некоторые типографские ошибки!

Издатель "Сына Отечества"  
Николай Греч»<sup>27</sup>.

Так создавался верхний регистр салонной игры. Других, более глубоких, Греч не видел. Их видели другие, видел и Свербеев, — и нам нужно теперь выслушать его до конца.

«Дикой козочкой прыгала во всей этой толпе, или, пожалуй, порхала бабочкой между нами Софья Дмитриевна, — повествует он далее, — возбуждая своим утонченным участием и нескромными телодвижениями чувственность каждого. Пожилые из собеседников, упитанные холодным ужином и нагруженные вином, в полусонье отправлялись по домам; кто помоложе оставались гораздо за полночь, а самые избранные — до позднего утра. Чего тут ни выдумывали на общую забаву. Я в эти годы был слишком молод, слишком невинен и чист, чтобы вполне воспользоваться знакомством с подобною женщиной; у нее и без меня было много в этой толпе любимцев. Однажды, оставшись с нею наедине, я увлекся ее вызывательным кокетством со мной и позволил себе некоторые вольности; одним строгим взглядом она их удержала, и я вышел от нее олухом. На другой день получил я от нее письмо на французском языке, которым спрашивала она меня, что значило вчерашнее мое поведение: истинная ли страсть или одна прихоть? Требуя ответа, она вместе требовала и возвращения своей записки; я был до того глуп, что отвечал на моем плохом французском языке и возвратил ей эту записку. Софья Дмитриевна сделала меня предметом самых злых насмешек, рассказывая все своим тогдашним фаворитам: до меня это тотчас же дошло, и я решил всякое с нею знакомство бросить.

Видно, кокетливые женщины не любят оставлять в покое удаляющегося от них мужчину, которому они хоть на одну минуту нравились. После моей неудачной переписки прошло более недели, что я не был у Пономаревых. Полупьяный муж, никогда почти меня не посещавший, явился неожиданно ко мне тотчас после моего обеда, в самые сумерки. «Я приехал за вами, — сказал он мне, довольно смущенный, — пригласить вас прокатиться со мною в санях». — Что это вам вздумалось? — отвечал я. — разве все мы мало катаемся по городу, и неужели вам сани не надоели? — «Сделайте милость! Без отговорок одевайтесь и едем!» Очень неохотно надел я шубу и сел в его совсем не парадные сани в одну лошадь, которой правил какой-то мальчишка фореитор. Мальчишка этот только что мы поехали маленькой рысцей, то и дело на меня поглядывал и, наконец, громко захохотал. Вышло, что кучерок был Софья Дмитриевна. Вея затеянная ею штука состояла в том, что ей хотелось, в чем она и успела, привезти меня к себе; но раз оскорбленное щепетильное мое самолюбие устояло против дальнейших ее искушений, хотя я и продолжал изредка посещать ее гостиную, заманчивую для молодых людей не одними ее прелестями, но и встречею со всеми почти петербургскими литераторами. <...>

Однажды, гуляя по набережной Фонтанки, встретил я двух, что-то уже черезчур щеголевато одетых охтенок; одна из них несла на плече ведро с молоком, их обыкновенным предметом ежедневной торговли. Я на них с любопытством взглянул, они захохотали и долго шли за мною, преследуя меня своим смехом. Оказалось, что это была Софья Дмитриевна с своей итальянкой. Куда и зачем они ходили, я от них не мог добиться»<sup>28</sup>.

Свербеев оборвал свои рассказы, но не исчерпал их. Теперь, кажется, нет сомнения в том, что он и был тем «московским старожилом С...», о ко-

тором писал Николай Пономарев, и что ему принадлежали анекдоты о «барышне-крестьянке», предлагавшей ему яблоки, и об открытом гробе, в который забралась Софья Дмитриевна, чтобы проверить искренность скорби своих друзей. Человек суеверный мог бы счесть это последнее испытание дурным знаком, — и, как увидим далее, едва ли не был бы прав, — но беспечная проказливость хозяйки салона двадцатых годов содержала в себе изрядную долю вольнодумства. «Очень я ее любил — не помню, как и доехал до ее дома», — рассказывал Свербеев жене Николая Пономарева, — итак, она все же выиграла этот психологический поединок, утвердив свою власть над самонадеянным юношей. Игровое начало проникало в глубинные сферы духовной жизни маленького кружка, теряя свой салонно-ритуальный характер и становясь самой жизнью. «Жизнью земною играла она как младенец игрушкой», — скажет вскоре о Пономаревой Дельвиг, — и в поэтическом уподоблении даст точную историко-культурную формулу, но только в этой формуле была и другая сторона, — здесь было отчасти осознанное, а чаще всего бессознательное жизнестроение. Над ординарным миром эмпирического быта воздвигался иной мир — эстетизированный мир духовных сущностей, где царит любовь и поэзия, и в центре этого мира была она, петербургская Аспазия, уже не жена ничем не примечательного стареющего канцелярского чиновника, но прекрасная дама, вызывающая своих трубадуров для рыцарского служения госпоже.

Одним из первых явился на вызов Александр Ефимович Измайлов.

## Глава II

### «ПИСАТЕЛЬ ДЛЯ МУЖЧИН И ДАМ»

*Давно говорили, что одни женщины  
могут выучить нас приятно говорить и писать.*

«Кто этот высокий и толстый мужчина, едущий на дрожках, гнущихся под ним? На нем синий долгополый сюртук, из которого вышло бы два капота для людей обыкновенных; в боковом кармане его торчат бумаги; на черных глазах его сияют серебряные очки; правой рукою держит он огромный зеленый зонтик...»<sup>1</sup>.

Так описывал себя самого издатель «Благонамеренного» и председатель Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, известный «фабулист» Измайлов, которого злоязычный Воейков называл «русским Теньером» и «писателем не для дам».

Измайлов писал басни про пьяных отставных квартальных и не чуждался в полемике крепкого словца. Тем не менее он решительно возражал против присвоенного ему титула. Он писал «для дам» нередко, — писал дидактические анекдоты, послания и мадригалы на галантно-прециозном языке легкой поэзии восемнадцатого века. Он наполовину принадлежал этому веку: он родился в 1779 году — в один год с Акимом Ивановичем Пономаревым, — и в описываемое время ему было около сорока лет. Это была уже почти старость; в «Притворной неверности» Жандра и Грибоедова осмеивался «старый франт», который пытается волочиться «слишком в сорок лет». Но восемнадцатый век не считал это предосудительным. Эпоха конца века — «fin du siècle» — породила либертинаж в поведении и самом чувстве. Вяземский рассказывал, что старик Нелединский-Мелецкий, нежно привязанный к жене и детям, «вне дома имел всегда кумир, пред которым страстно благоговел, который воспевал, подобно Петрарке и Данту, чистыми песнями, кумир, пред которым коленопреклонный возжигал он благоуханный и чистый фимиам любви, страсти»<sup>2</sup>. Пятидесяти шести лет он был влюблен — и влюблен страстно — в юную Елизавету Семеновну Обрескову, и Вяземский с сочувствием и удивлением наблюдал за платонической, но совершенно подлинной любовной драмой, разыгрывавшейся в их доме. Ему это казалось необычным, неестественным, — он уже был человеком новой эпохи.

Александр Ефимович Измайлов был семьянином, заботливым отцом и мужем, писавшим жене трогательные посвящения в стихах. Он был дружен с Пономаревым и в его доброжелательстве не было ни малейшего притворства, — это видно по его письмам. И вместе с тем он, подобно Нелединскому, имел вне дома кумир, — в который был «влюблен но уши», по свидетельству В. И. Панаева, — свидетельству тем более достоверному, что Панаев оказался его соперником. Он был обожателем, певцом, другом дома, постоянным спутником, неизменным участником семейных торжеств и увеселительных прогулок. К его присутствию все привыкли; ему не приходилось ничего скрывать: рыцарское служение происходило публично и даже немного подчеркнуто, с тем подкупающим простодушием, которое вообще отличало Измайлова. О своей любви к Пономаревой он упоминал в дружеских письмах третьим лицам, — и это лишь подчеркивало элемент ритуальной игры, в которую облакалось подлинное чувство. Иногда он сопровождал ее, когда она приезжала в Лицей навестить брата; Д. А. Эристов, однокашник Ивана Позняка, много позднее рассказывал В. П. Гаевскому об этих посещениях, которые, бывало, затягивались на целый день; он вспоминал, что в шумных сборищах принимали деятельное участие и лицеисты первого, пушкинского, выпуска<sup>3</sup>. Если память не изменила ему, значит, Измайлов был у Пономаревых своим человеком уже в 1817 году: напомним, что летом этого года они как раз жили в Царском Селе. Но скорее всего Эристов слегка сместил факты и даты.

«Ее благородие С. Д. Пономареву» мы находим в перечне подписчиков на журнал «Благонамеренный» в 1819 году, — и в том же 1819 году в ее альбоме появляются первые посвященные ей стихи Измайлова.

Эти стихи представляют собою целую поэтическую антологию, лишь в небольшой своей части попавшую в печать. Их первые исследователи насчитывали в сочинениях Измайлова около пятнадцати упоминаний о Пономаревой, — но их больше, и мы не всегда сейчас можем их уловить. Во всем, что бы ни писал Измайлов, он умудрялся быть немного «домашним» литератором; его басни, сценки, анекдоты, не говоря уже о мадригалах и посвящениях, несли на себе то явственный, то едва уловимый отпечаток кружка и кружкового быта, с его иной раз вовсе незначительными событиями, личными отношениями, речениями и словечками, понятными нескольким посвященным. В драматическую сценку «Губа» («Из сочинений на заданные слова») он вставляет реплику: «Не хочу! не хочу! не хочу» — и делает к ней примечание: «Любимая поговорка г-жи Мот...ой, председательницы дружеского литературного общества, в котором читались между прочим и Сочинения на заданные слова»<sup>4</sup>. Пояснение, рассчитанное на читателей, мало что поясняло и принадлежало к той «домашней переписке» издателя, которой было так много на страницах измайловского «Благонамеренного» и над которой смеялся Пушкин: любимую же поговорку «г-жи Мотыльковой» — С. Д. Пономаревой — должны были читать с особой интонацией участники кружка, свидетели и жертвы капризных вспышек «председательницы». Все эти интонации и намеки поблекли или

выветрились в течение полутора столетий, — но то, что осталось, отчасти доносит до нас атмосферу кружка. Поэтический венок, сплетенный Измайловым Софье Дмитриевне, интересен не литературными своими достоинствами — весьма скромными, — а запечатленными в нем человеческими отношениями, которые приняли совершенно определенный социально-культурный облик. Они-то и создали то эмоциональное и эстетическое поле, в котором, как мы увидим далее, родились весьма значительные образцы русской лирики пушкинской эпохи.

По-видимому, первым из этих стихотворений был «Экспромт (В альбом С. Д. П.)»:

Могу сказать я про себя,  
 Что я отнюдь не льстец: лесть, право, ненавижу.  
 Умней, любезнее, прелестнее тебя  
 Из женщин не видал — и, верно, не увижу<sup>5</sup>.

Это было написано 19 августа 1819 года. В сохранившихся альбомах Пономаревой «Экспромта» нет; подзаголовок стихотворения, сохранившегося в рукописях Измайлова, указывает на утраченный и неизвестный нам альбом, содержащий, может быть, драгоценные автографы.

Следующие по времени стихи имеют дату 17 сентября 1819 года — день именин Софьи:

Сегодня ангел ваш, а мне вот как нарочно  
 Нельзя у вас сегодня быть!  
 Я не шампанское, микстуру должен пить  
 И муху к уху приложить!  
 Так поздравляю вас заочно.  
 Желаю вам прожить счастливо до ста лет...  
 Нет, нет!  
 Уж очень много будет до ста;  
 Довольно с вас и девяноста  
 Или не более как *девяноста пять*.  
 Чего ж еще вам пожелать?  
 Чтобы желания все ваши исполнялись;  
 Чтобы с веселостью вы век не разлучались;  
 Чтоб резвые толпы и Смехов и Утех  
 Повсюду вас сопровождали,  
 Чтоб грации ваш путь цветами устилали  
 И чтобы вы *счастливей были всех*<sup>6</sup>.

Альбомные экспромты перемежались письмами. Писем было много; о них Измайлов упоминал в переписке с П. Л. Яковлевым: «С такую исправностию не вел я переписки и с незабвенной, как с тобою»<sup>7</sup>. В рукописный сборник своих стихов Измайлов вписал отрывки их них, под названием «Из писем к незабвенной». Вероятно, не все письма были в стихах, но все, или почти все, включали стихотворные вставки, которые Измайлов



создавал с необыкновенной легкостью. Он писал о дневных впечатлениях, о несносных часах, проведенных у богача, чудака и графомана Егора Федоровича Ганина, владельца знаменитого петербургского сада с надписью на фронтоне «Незачем далеко и здесь хорошо» и автора драм, в которых действовали львица, ружье и городское правление:

Из письма к С. Д. П.

.....  
 Куда же черт меня занес?  
 Представьте — к Ганину! И этот старый пес  
 Заставил бедного меня терзаться  
 До четырех часов!  
 Ну правду говорит Крылов:  
*Не дай бог с дураком связаться!*

.....  
 Угодно ль знать, что делал он?  
 До двух часов играл в бостон.  
 Жена моя с его женой в лото играла  
 И, кажется, зевала;  
 А я сидел один в углу облокотясь  
 И думал все об вас.

.....  
 И в сани я когда садился,  
 От радости перекрестился,  
 С подробностью все вам после расскажу.  
 Теперь едва-едва сижу<sup>8</sup>.

Летописец домашних событий, он воспевал семейные праздники, писал поздравления к именинам и дням рождения и кантаты на простуды и выздоровления. Он сочинял бесчисленные экспромты по случаю театральных спектаклей, сравнивал хозяйку дома с Гермией из «Андромахи» и самой пафосской царицей, к вящему посрамлению двух последних<sup>9</sup>. Он приносил стихи к рождеству, выполняя повеление своего капризного кумира, и вновь заставлял ее одерживать победу над долготерпеливыми античными богинями, — над Венерой и над Минервой<sup>10</sup>. На страницы альбомов из-под его пера изливался поток галантных пустяков.

Подобные же стихи — с небольшими вариациями — писали Пономаревой прежние литературные соратники Измайлова — Востоков, Кованько, Остолопов. Владислав Княжевич, кажется, превзошел остальных в изящной церемонности словесной игры:

Вы имя деспота присвоили себе,  
 По разницу найти нетрудно в сем сравненьи —  
 С сердцами подданных в всегдашней он борьбе,  
 Сердца вам преданных всегда в повиновеньи.

В. Кнжвч.

СПб. 12 декабря 1820<sup>11</sup>.

Все это было в духе времени и жанра. Литераторы старшего поколения соблюдали неписанные законы альбомов, где царили мадригал, виньетка, рисованная аллегория<sup>12</sup>, — «два сердца, факел и цветки», как писал Пушкин в «Онегине». Безыменные художники-дилетанты рисовали в альбоме Пономаревой лестницу, венчаемую ступенью «Верность»; Поджио-младший, красавец капитан Преображенского полка, изображал амура в клетке и двух воркующих голубков, — и ему же принадлежали «злодейские» французские стишки, в которых он оставлял другим искусство пленять, претендуя только на умение любить. Стишки были подписаны: «Несчастный Поджио-младший» («L'infortuné Podgio le cadet»)<sup>13</sup>.

И едва ли не Аким Иванович Пономарев приветствовал супругу в день ангела 17 сентября 1820 года безыскусными строчками, в которых проблескивала, однако, грустная истина:

Уметь прельщать — твое искусство,  
 Любить тебя — знакомых дал,  
 Тебя ж ценить — сердечно чувство  
 Сам бог в удел мне даровал<sup>14</sup>.

Это был нижний пласт альбомной лирики, ее массовая продукция, ее безымянный фольклор. Но между ним и тщательно отделанным катреном Княжевича существовали родовые связи. Здесь было и жанровое родство двух мадригалов, и единство адресата, и даже близость внешнего строения. Профессионал играл каламбурами и противопоставлениями, вплоть до звуковых ассоциаций: подданных — преданных, — дилетант в меру сил своих пытался сделать то же самое. Профессионал стремился отыскать неожиданный поворот для вполне тривиальной поэтической идеи, — и дилетант следовал за ним по пятам, хотя бы в намерении. Оба были во власти законов альбомной лирики.

Эта лирика была ограничена в своих темах и заранее заданных целях. Она должна была стать поэтому поэзией внешних форм, если она хотела быть поэзией вообще. Она была привязана к частному событию, эпизоду зачастую мелкому и мельчайшему, неинтересному ни для кого, кроме автора и адресата, и была понятна только им и еще нескольким посвященным. Здесь поэзия прямо соприкасалась с бытом и вырастала из него, — но она же и определяла этот быт, утончая и эстетизируя его.

«...Альбомы распространили у нас вкус к чтению и письму — приохотили к литературе, — писал П. Л. Яковлев, о котором вскоре пойдет у нас речь специально. — И это ясно!.. Женщины — эти легкие, непостоянные, ветреные, но всегда милые для нас создания — женщины делают все, что хотят, с нами, их усердными поклонниками... Давно говорили, что одни женщины могут выучить нас приятно говорить и писать; давно сказано, что только их верный, тонкий вкус может заставить нас отвыкнуть от странного и низкого языка, которым витийствуют герои русских романов... Благодарение женщинам! Они ввели в употребление альбомы и доставили приятное и полезное занятие нашим молодым людям. — Я даже

уверен, что со времени появления альбомов у нас стали писать лучше, приятнее; выражаться свободнее, приличнее, ближе к общественному разговору <...>

<...> Я видел альбомы, которые драгоценнее всех диссертаций, которыми похвалиться может счастливая Россия со времен Третьяковского до наших дней, — я видел альбомы, в которые писали лучшие из наших авторов, в которых рисовали лучшие артисты наши! Что может быть приятнее такой книжки для милой ее владетельницы? — Что может быть полезнее такой книжки для молодых людей?

<...> И как драгоценна становится со временем эта книжка! Перебирая листки ее, мы переносимся в прошедшее — вспоминаем о людях, которые тут писали... Многие состарелись — иные... разделены от нас вечностью — другие морями... Воспоминание, то приятное, то печальное или забавное, занимает нас, и мы дорожим своим альбомом, свидетелем прошедших лет, прошедших знакомств...»<sup>15</sup>

Эта апология альбомов и салонов не была изобретением ее автора. За ней стояла эстетика сентиментализма XVIII века, с которой XIX век уже начинал борьбу. Новому поколению казалось — и не без основания, — что мир тонких чувств и изысканных выражений не в меру слащав, слегка завит и несколько напудрен, и оно не без насмешливости смотрело, как шутник и ругатель Александр Ефимович Измайлов в угоду этикету натягивает на себя пудренный парик.

Впрочем, самому автору статьи об альбомах также пришлось внести свою лепту в разрушение воспетого им галантного мира.

---

В 1818 году племянник А. Е. Измайлова и старший брат однокашника Пушкина и «лицейского старосты» М. Л. Яковлева Павел Лукьянович Яковлев приехал на службу в Петербург.

Он поселился в Троицком переулке на одной квартире с Дельвигом, с которым был дружен, как и почти со всеми лицеистами первого выпуска. По видимому, это случилось летом: в мае Яковлев жил еще в трактире «Лондон», «в комнате № 7», как значится в одном из его очерков<sup>16</sup>. Товарищи Дельвига собирались у них нередко; приходили Пушкин, Михаил Яковлев, Пущин; потом присоединились Баратынский и Эртель<sup>17</sup>. Павел Лукьянович был человек одаренный: литератор, художник, музыкант, обладавший к тому же хорошим голосом. Музыкальность была семейным отличием, как и склонность к пародии и импровизации; но если Павел Яковлев не мог соперничать с младшим братом в искусстве изображать петербургское наводнение, то он превосходил его даром карикатуриста и сатирика. Он писал фельетоны, сатирические сценки, пародийные очерки; он перевоплощался то в «Лужницкого старца», то в величавого невежду Климентия Акимовича Хабарова, одержимого проектом переустройства русской азбуки, то в сентиментального путешественника. От имени этого по-

следнего он в 1820 году начинает печатать в «Благонамеренном» свое «Чувствительное путешествие по Невскому проспекту».

Один из очерков этого «Путешествия», озаглавленный «Модная лавка Mme N.», содержал примечательный эпизод. «...Я вошел в магазин, — рассказывал Яковлев, — как человек, который отроду не видывал ни шкафов, ни женщин; остановился посреди комнаты и в безмолвии смотрел кругом себя; забыл даже снять шляпу. Хозяйка в изумлении смотрела на ловкого посетителя; наконец (всему есть конец) я опомнился — снял шляпу, сделал учтивое приветствие хозяйке и подошел к ящикам, в которых лежали кружева и помочи, часы и чулки, манишки и строусовые перья — все в самом пленительном порядке. Рассматриваю... спрашиваю о цене, и даже дошел до такой дерзости, что... заговорил по-французски. — «Ах, сударь! вы говорите по-французски! — сказала мне хозяйка, — а я думала, что вы приехали с того света!» — Я не отвечал на этот справедливый и учтивый комплимент и спросил... пару перчаток. Лишь только она подала их — загремела карета... двери растворяются с треском и вбегает в лавку молодая, хорошенькая женщина... в сопровождении человека лет сорока. (Этот человек, как я узнал из разговоров, был ее муж.) Мадам оставляет меня с перчатками, идет к даме и загремел разговор (разумеется, на французском языке). Дама потребовала всего, что есть нового, лучшего, пересмотрела все: все шкафы, ящики, шесть или семь чепчиков, беспрестанно подбегала к мужу и к зеркалу, хохотала и не переставала говорить. Француженка с своей стороны не переставала ей отвечать, хвалила свои моды, и они две подняли такой крик, что я готов был бросить и старые и новые перчатки и бежать вон; но, подстрекаемый любопытством, остался. Муж между тем сидел очень покойно на стуле; вынул часы, рассматривал их, прислушивался к бою; поглядывал рассеянно во все стороны — и зевал... Вдруг (вообразите мое положение) дама подбегает ко мне и, подвязывая чепчик, спрашивает: пристал ли он к ней? к лицу ли? как я думаю? — и, не дождавшись ответа, захохотала, бросилась к мужу, поцеловала его в обе щеки — и опять начинает разговор с француженкой. Я остоленел... однако заметил, что эта веселая дама расспрашивает обо мне... Француженка качает головой, взглянула на меня, потупила глаза и шепчет: *c'est un provincial* <это провинциал>. Вслед за этим словом дама подбегает ко мне уже в шляпке и спрашивает: «Вы приезжие? откуда? давно ли в Петербурге?» — Я путешественник, сударыня. — «Вы путешествуете?» — По Невскому проспекту! — Она захохотала, отвернулась от меня, наговорила кучу комплиментов француженке и побежала к карете. Муж спокойно встал и побрел... двери хлопнули — и вот мы одни с француженкой; но она не беспокоится обо мне: перед ней лежит куча чепцов, платья, платков, вуалей, которые набросала дама; она убирает все это и, кажется, забыла провинциала. — «Кто эта дама?» спрашиваю у нее. — Не знаю, отвечает француженка, я забыла ее фамилию. — «Возьмите же деньги за перчатки». — Положите на ящик. — И вот мы за работой: она убирает платья и шляпки, а я в другом углу записываю свое приключение»<sup>18</sup>.

«Приключение» было, как нетрудно догадаться, знакомством Яковлева с четой Пономаревых. Измайлов сам раскрыл прототип в одном из писем Яковлеву<sup>19</sup>. Нам неизвестно доподлинно, когда очерк был написан: предшествующее письмо того же прозаического цикла датировано маем 1818 года — временем первого появления Яковлева в Петербурге. Строго говоря, эта дата должна была бы распространяться и на последующие письма: этого требовало сюжетное единство цикла: в них описаны первые впечатления от столицы молодого провинциала. Но Яковлев был неутомимый мистификатор: он мог поставить фиктивную дату и соединить разновременные впечатления. Мог он, конечно, встретить Пономаревых и в 1818 году и рассказать об этом два года спустя, когда сблизился с семейством. Короткое же знакомство произошло никак не ранее 1820 года. Как ни странно, до этого времени он не был, или почти не был, знаком со своим дядюшкой — А. Е. Измайловым и не был членом руководимого им «Михайловского» общества, как называли Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, собиравшееся в Михайловском дворце; лишь в первой половине года, уже участвуя в петербургских журналах, он представил сюда «Отрывок из рассказов Лужницкого старца» и был принят действительным членом, — однако посетил только одно заседание<sup>20</sup>. За вторую половину года документы Общества не сохранились; мы знаем лишь, что 2 июля здесь была прочитана «Модная лавка», о которой идет речь. К этому времени он уже знаком с Пономаревыми достаточно близко, — настолько, что может позволить себе печатно дружескую шутку на их счет. Добродушный Измайлов сошелся с родственником быстро; вероятно, он ввел его в пономаревское семейство. В конце июля Яковлев уехал в Москву, оттуда в Оренбург и Бухару, и Измайлов горевал; он писал племяннику пространные и очень интересные письма с петербургскими новостями. «Как теперь гляжу я на бодрого Онисима Тимофеевича, переворачивающего и обшивающего циновкой чемоданы — на томного Алексея Васильевича, простертого на софе, — на артиста немца, играющего на чекане, — на высокого, стоящего в дверях почталиона, — на длинного Виль... Кю... — на любезнейшего моего Павла Лукьяновича в мундирном сертуке. — Ах! зачем мы так поздно с вами познакомились и зачем вы так скоро отсюда уехали!»<sup>21</sup>

«Вот тебе письмо от уважающего тебя, почитающего, обнимающего Александра Ефимовича. Судя по всем чувствам, которые вы изливаете друг другу в письмах, вы должны быть страшные друзья. Будь здоров. Брат твой М. Яковлев»<sup>22</sup>.

Яковлев-младший относится к этой дружбе несколько иронически, а Измайлов подтрунивает над лицеистами. «Длинный Виль... Кю...» — Vile cul — мерзкий зад — Кюхельбекер. Барон Дельвиг носит у него прозвище «Бар... Дель...» — бордель. Кюхельбекер вспоминал потом, что Измайлов был «истинно добрый мужик», — но в печатных перебранках «из рук вон мужиковат»<sup>23</sup>. В письмах же его красное словцо являлось нередко в своей первобытной наготе. Впрочем, Кюхельбекера он любил, и тот платил ему взаимностью.

Яковлев пишет регулярно, но письма идут долго: расстояние между корреспондентами все увеличивается. 13 сентября Измайлов отвечает на вопрос: «Где... комической, но и чувствительной роман с маленьким прибавлением?»

Итак, Яковлев успел перелистать альбом с записью Греча.

«Отв. Этот прелестный роман, который читаю всегда с новым удовольствием, был прежде в сельской, а теперь уже по-прежнему в городской библиотеке. После вашего отъезда видел я С. Д. один только раз, а именно в четверг на прошедшей неделе. В этот день муж ее был именинник. Я обедал у них, после обеда ходил в Общество, оттуда опять воротился к ним, ужинал и просидел у них до трех часов утра. В пятницу она именинница. Разумеется, что этого дня я не забуду и опять там буду»<sup>24</sup>.

23 сентября 1820 года:

«А гророс к С. Д. Недавно она была именинница. Прихожу к ней и слышу, что она больна, что она в постеле. Можете себе представить мое положение. Однако же меня впустили к ней в спальню и я имел счастье поцеловать прелестную ее ручку и повергнуть к прелестным ее ножкам *Басни* мои и *Сказки*, в великолепном сафьянном переплете и с посвящением в стихах».

Мы имеем возможность прочитать это посвящение, сохраненное Измайловым в его рукописях.

С. Д. П.

с книжкою моих басень.

*Вот книга редкая: под видом небылиц  
Она уроками богато испещрена;  
Она комедия; в ней куча разных лиц,  
А место действия пространная вселенна.  
Не я так говорю — Езоп наш граф Хвостов. —  
Сию смесь рифм и слов  
При баснях он своих поставил эпитафюм.  
Но мне ль равняться в баснях с Графом?  
Нет, Граф не мне чета!  
Вот у него-то простота  
И острота!  
Тон самой легкой, благородной!  
Язык скотов он знает как природной!  
Хоть басни у меня не так-то хороши;  
Но это лучшие мои стихотворенья;  
И я дарю их вам от сердца, от души  
В знак совершенного, отличного почтения,*

Которое навек к вам сохранит  
плохой и отставной принт

ваш всепокорнейший и всеусерднейший слуга

А. И.

17 сент. 1820.

П. П.

Давно уже, давно я басень не писал,

А все причиною журнал.

Теперь занятия мои в Литературе

В одной лишь только корректуре.

И я уже не фабулист,

Не Лафонтена подражатель,

Не переводчик, не писатель,

А так — ни то ни се — ну словом *журналист!*<sup>25</sup>

«Недолго я наслаждался ее лицезрением, — продолжает Измайлов, — и хотя пробыл тут в доме до 2-го часа вечера, но не видал уже ее более. Через два дни прихожу опять с новыми стихами, а именно с молитвою о ее исцелении — и к счастью нахожу ее здоровою. Слава богу! Слава богу! О как я люблю С. Д. Но вас, может быть, еще более»<sup>26</sup>.

«Молитва об исцелении» нам тоже известна. Это то самое стихотворение, которое в печатных изданиях сочинений Измайлова называется «На болезнь С. Д. П.»: стилизация прециозного мадригала, с совершенно, однако же, бытовой концовкой:

У милой Софии

Смертельно болят

И щечка и зубы!

Она простудилась:

В ней жар и озноб,

Совсем сна лишилась,

Пропал аппетит<sup>27</sup>.

Измайлов был верен себе. В рукописном тексте означена даже причина простуды: София ночью ездила «на дачу водой». Даровитый поэт, Измайлов намеренно вводит эти бытовые сцены, снижая и разрушая холодную приторность галантных посвящений, придавая им прелесть шуточной непринужденности. Таким же тоном он писал и свои письма, — но в последнем из них ощущается след пережитых волнений. Он действительно «любил С. Д.», и в рукописях его рядом с процитированной нами «молитвой» поместилась другая, которая печатается как «Молитва о выздоровлении Селесты», а в автографе называется «Молитва о выздоровлении С.». «С.» — конечно, «София», а «Селеста» — «небесная» — шифр, условно-поэтическое имя, без которого мадригал превратился бы, пожалуй, в слишком откровенное признание:

Охотно я приму смерть люту,

Лишь только б мог в последнюю минуту

Я на нее взглянуть  
И ей люблю шепнуть <sup>28</sup>.

Этих стихов он не записал в альбом, а лишь добавил к первой «молитве» очередное посвящение ко дню рождения 25 сентября:

Всегда прелестна, весела,  
Шутя кладет на сердце узы —  
Как Грация, она мила  
И образована, как Музы <sup>29</sup>.

Тысяча восемьсот двадцатый год уходил в вечность, провожаемый салонными мадригалами. Но жизнь салона только начиналась. Литературные страсти кипели за стенами пономаревской квартиры, они разрывали два петербургских литературных общества, где уже выступало на сцену молодое поэтическое поколение. Салон Пономаревой не мог остаться от них в стороне.



## Глава III

### «СПОР НА ОЛИМПЕ»

*Я теперь не пишу романов, я их делаю.*

Измайлов рассказывал Яковлеву в письмах об общих знакомых.

Из Парижа вернулся критик, поэт и беллетрист Орест Михайлович Сомов, сотрудник «Благонамеренного». В среду 28 июля он впервые явился к Измайлову, — «в синем парижском сертуке с тесемками со шнурками и в широких белых портках» — и заговорил его по-французски. В тот же день он выговаривал Гречу за похвальный отзыв об «Отчете о луне» Жуковского и дал понять, что начинает атаку на всю эту метафорическую «германскую» романтическую поэзию и не намерен «лизать задницы» сильным мира сего. Это были первые предвестия баталий вокруг новой романтической литературы, Жуковского и его учеников лицеистов.

Баталии готовились исподволь и приобретали иной раз зловещий политический оттенок. Еще в марте Василий Назарьевич Каразин, избранный вице-председателем общества «соревнователей», воздвигся против «либеральных начал», развращающих нравы и колеблющих устои государства. Каразин был неисправимый реформатор с чертами политического фанатика: он забрасывал правительство своими проектами и предупреждениями до тех пор, пока не попал сам под подозрение и не подвергся преследованию, — но какое-то время к нему прислушивались. Он обратился прямо к министру внутренних дел графу В. П. Кочубею с жалобой «на дух развратной вольности», рассадником которой является, в частности, Царско-сельский лицей и Пажеский корпус. Он указывал на пушкинские эпиграммы и на стихи Кюхельбекера «Поэты», где были строки о лицейском «Союзе», «свободном, радостном и гордом», и объединялись имена Дельвига, Баратынского и Пушкина. Он цитировал послание Пушкина к Кюхельбекеру, в котором также упоминалось о «святом братстве», и замечал при этом, что нравственность этого братства и союза выясняется из пьесы Баратынского «Прощание» и из стихов «Послание» и «К прелестнице», — последние принадлежали Пушкину.

8 мая 1820 года Пушкин выехал из Петербурга в южную ссылку. Накануне, 5 мая, Каразин, после длительных дебатов, был удален из общества «соревнователей». Члены не знали, конечно, о его доносах графу Кочубею, — но

Каразин успел восстановить против себя левое крыло общества и публичными своими выступлениями<sup>1</sup>.

Орест Сомов не застал уже Каразина в обществе, и сам он вовсе не принадлежал к числу ретроградов. Напротив, в ближайшие же годы он сблизится с либеральными и даже декабристскими кругами. Но литературно он тяготел к антиромантической партии, — во всяком случае, той ее группе, которая уже начала полемику с Жуковским.

Накануне его приезда в «Благонамеренном» была напечатана статья «Спор (отрывок из журнала Жителя Васильевского острова)»<sup>2</sup>. Псевдоним принадлежал князю Н. А. Цертелеву, с 1819 года действительному члену «Михайловского общества», в котором статья его и была прочитана и принята. Цертелев был сторонником Каразина, и его конфликты с партией молодых «либералов» начались еще в «ученой республике»; сейчас он напал на литературного их учителя, Жуковского, упрекая его в усложненной метафоричности языка и в «таинственных мечтаниях», взятых у немецких поэтов. Вслед за тем Цертелев представил в общество и другую статью: «Письмо к г. Марлинскому», она была прочитана 7 июня, также принята и появилась в первом июльском номере измайловского журнала<sup>3</sup>. Здесь «Житель Васильевского острова» предлагал новый экспонат в кунсткамеру литературных уродцев, которую иронически советовал основать А. А. Бестужев (Марлинский): этим экспонатом было стихотворение Дельвига «Видение».

Итак, война была начата, — хотя, в отличие от Каразина, критики не обвиняли здесь поэтов в политической неблагонадежности. Измайлов смотрит на нее снисходительно и несколько иронически и готов пока что печатать и тех, и других. Ему уже несколько надоел «шум» в обществе, и он решил для себя отказаться от председательства. Впрочем, симпатии его принадлежат скорее «старикам», хотя Цертелева он, кажется, недолюбливает, считая «крикуном». Вместе с «братией» «крикун» убеждает его остаться формальным главой «михайловцев»; Измайлов соглашается.

Полемика тем временем ширится — и устно, и в печати. Орест Сомов включается в нее сразу же; он пишет критику на дифирамб Кюхельбекера из Вакхилида; Измайлов хотел напечатать ее, но цензор не пропустил.

Измайлов досадует, а тем временем собирается читать в обществе присланный Яковлевым «Кухмистерский стол», с резкими нападками на «начальника критической шайки» князя Цертелева, — благо последний в середине сентября уехал из Петербурга. «Только уже вы немилосердо его отделали! Право, мне его жаль стало! Впрочем, если цензура пропустит вашу пиесу, то я ее напечатая»<sup>4</sup>.

«Кухмистерский стол» в журнале не появился, — вероятно, цензор А. С. Бируков воспротивился и на этот раз.

---

Полемика — то тайная, то явная — разрывает «михайловское общество».

В январе 1821 года Сомов, наконец, выступил против Жуковского под флагом «цертелевской партии». С Цертелевым у него, по-видимому,

были связи довольно прочные; еще в 1818 году тот писал свою статью «О подражательной гармонии слова» в форме письма к «О. М. С.», — конечно, Сомову; а Сомов в свою очередь посылал ему из Парижа письма, которые печатались в «Благонамеренном» как корреспонденции<sup>5</sup>.

Он демонстративно соотносит свою критику со статьями Цертелева: называет ее тоже «Письмо к г. Марлинскому» и подписывает: «Житель Галлерной гавани». Второй абориген предлагал новый экспонат для кунсткамеры — балладу Жуковского «Рыбак». Статья появляется в первом номере журнала «Невский зритель»<sup>6</sup>.

В защиту Жуковского выступили Булгарин, Воейков, Я. Ростовцев — и сам Марлинский. В своем ответе от 5 марта основатель литературной кунсткамеры уведомлял, что балладу Жуковского поместил в числе образцовых сочинений, а критику на нее — между уродцами<sup>7</sup>.

Сомов отвечал в мартовском номере «Невского зрителя».

Измайлов подзадоривал ратоборцев. Он печатал Цертелева — а вслед за тем и пассажи из присланного ему Яковлевым «Чувствительного путешествия по Невскому проспекту»:

«Нападать явно на людей, которых она (публика. — В. В.) защищает — невыгодно! Надобно насмешки, ситации из Буало, ссылки на старинные книги; надобно каждому из нас преобразиться в какого-нибудь забавного старичка, жителя Васильевского острова, Бутырской слободы, Бродягу...»

Яковлев задевал Цертелева, Каченовского — «Жителя Бутырской слободы», В. В. Измайлова — «Московского бродягу», — и Ореста Сомова:

«Как не прочесть моей статьи, где я докажу, что ... не поэт и подпишусь именем какой-нибудь рыбы — или "обитатель чердака у ... моста?"»

Намек на «рыбу» был в литературных нравах времени. Воейков объявлял о готовящемся собрании сочинений «Таранова-Белозерова».

«Если ж кто-нибудь станет доказывать, что я не прав — тем лучше для меня! Я сделаюсь известным!»<sup>8</sup>

Яковлев все же нашел способ вступить, хотя и косвенно, за друзей-лицейстов.

Измайлов сообщал Яковлеву и о другом участнике своего журнала, начиная с самых первых его номеров — идиллике Владимире Ивановиче Панаеве. Панаева в Петербурге не было; Яковлев мог застать его в Казани, его родном городе, — но как раз накануне Панаев уехал в деревню под Казанью, и они разминулись. Тем временем Российская Академия присудила золотую медаль 3-й степени за только что вышедшую книжку его идиллий, которые вот уже два года с лишком печатались в «Благонамеренном»<sup>9</sup>.

И Сомову, и Панаеву будет принадлежать важная роль в жизни салона Пономаревой.

Но Измайлов еще этого не знает, как не знает и о том, что вскоре в кружок войдет Евгений Баратынский, молодой поэт, примкнувший к лицейскому братству, приятель Дельвига и самого Яковлева. Баратынскому всего двадцать лет, — но биография его уже омрачена: за школьническую шалость он исключен из Пажеского корпуса и ему закрыты все пути, кроме

солдатской службы. Он унтер-офицер Нейшлотского полка, квартирующего в Финляндии, и пока что находится в Петербурге — до 1 марта 1821 года.

В начале года в Петербург возвращается Панаев — 27 января он присутствует на заседании «Михайловского общества» — впервые после длительного перерыва<sup>10</sup>. Он приезжает победителем; неожиданное для него самого увенчание его книжки медалью Академии доставляет ему репутацию «русского Геснера». Поэт и вологодский помещик П. Межаков спешит записать в его альбом преувеличенную похвалу:

Соперник Геснера! Последуй вдохновенью,  
Иди к бессмертию, пленяя все сердца;  
Играй с пастушками, душистых лип под тенью;  
Но вспомни иногда рожденного к забвенью,  
Уединенного певца!

С. Петербург

1821

Февраля 23<sup>11</sup>.

Еще весной прошлого года, когда вышла книжка, Измайлов оповещал о ней в «Благонамеренном» как о литературном событии. «Простота и естественность разговора, нежность и сила в чувствованиях, верность и живость в картинах и описаниях, легкая и исправная версификация» отличали, по его мнению, идиллии Панаева, «из которых многие, по справедливости, могут назваться образцовыми»<sup>12</sup>. Теперь он спешит поделиться с читателями известием о награждении, к которому императрица Елизавета Алексеевна добавила золотые часы<sup>13</sup>. Правда, восторги Измайлова разделяли не все; Батюшков еще в 1817 году спрашивал Гнедича: «Кто такой Панаев? Совершенно пастушеское имя и очень напоминает мне мед, патоку, молоко, творог, Шаликова и тмин, sprыснутый водой»<sup>14</sup>. Конечно, он читал уже первые идиллии Панаева и пронизательно уловил в них «шаликовскую» сентиментальность. Но Измайлова это не останавливало. Панаев вспоминал потом, что их соединяли и дружеские связи, — и они заставляли его предпочитать журнал Измайлова всем остальным. «Человек благородный, добрый, столько ж умный, как и простодушный, совершенный Лафонтен — так отзывался он об Измайлове в тех самых мемуарах, в которых не пощадил многих других. — Под его суровою наружностью билось прекрасное мягкое сердце. Со своей стороны, он любил меня, кажется, еще более, чем я его; даже называл меня братом»<sup>15</sup>. Вероятно, ему приходили на память стихи Измайлова, ему посвященные:

Поэты оба мы; во мненьях, вкусах сродны.  
Люблю тебя, люблю за сердце, ум и нрав,  
За образ мыслей благородный,  
За твердый характер...  
Итак, любезный друг и мой названный брат,  
Виват!<sup>16</sup>

Измайлов и ввел Панаева в дом Пономаревой, «по ее настоянию», как утверждал сам Панаев, ввел «на свою беду». Вероятно, Софья Дмитриевна заинтересовалась восходящим светилом на литературном небосклоне. «Она тотчас обратила на меня победоносное свое внимание, — продолжал мемуарист, — но вскоре и сама спустила флаг: предпочла меня всем, даже трем окружавшим ее известным тогдашним красавцам: флигель-адъютанту Анрепу, преображенскому капитану Поджио и сыну португальского генерального консула Лопецу. Они должны были удалиться. Я остался ближайшим к ней из прочих ее обожателей и вполне дорожил счастливым своим положением...».

Шестидесяти с лишним лет Панаев вспоминал о своих победах тридцатилетней давности, — и в его интонациях слышится чисто мужское самодовольство. Кое-что Панаев приукрасил, может быть, произвольно; кое-чего не мог знать. В 1821 году все было не так просто, — иначе в его мемуарах не звучали бы ноты посмертной неугасающей вражды. «Несчастный Поджио-младший» был отвергнут, — но оставались другие, более сильные соперники, и нам предстоит теперь восстановить по возможности хронологическое течение событий.

Панаев был не единственным, на кого Софья Дмитриевна обратила «победоносное свое внимание».

«В ней, с добротой сердца и веселым характером, — рассказывал он, — соединялась бездна самого милого, природного кокетства, перемешанного с каким-то ей только свойственным детским проказничеством. Она не любила женского общества, даже не умела в нем держать себя, и предпочитала мужское, особенно общество молодых блестящих людей и литераторов; последних более из тщеславия»<sup>17</sup>.

То же самое писал, как мы помним, Свербеев, также едва не ставший жертвой чар петербургской обольстительницы. А еще ранее сила их была испробована на Бахтине, хотя и без большого успеха. Мы увидим далее, что каждое новое лицо, примечательное характером или талантом, подвергалось одному и тому же испытанию.

Здесь было и кокетство, и тщеславие, но было и нечто большее — жажда самоутверждения и самораскрытия. Таланты, стесненные обстоятельствами, дремавшие до поры до времени в недрах этой незаурядной натуры, требовали выхода. В доме отца Софья получила редкое по тем временам образование, литературное и музыкальное; она развила в себе способность к изящной и остроумной беседе; природа дала ей женскую привлекательность. Время, социальный быт сословного общества замкнули ее в тесные рамки полумещанской семьи, опутали чопорными условиями общественного этикета: она была замужней женщиной двадцатых годов девятнадцатого столетия.

В эти же годы Авдотья Голицына, «полуночная княгиня», «Princesse Nocturne» светского Петербурга, разъезжает с мужем по взаимному согласию — и, богатая, независимая, собирает вокруг себя салон, украшенный картинами лучших мастеров; она царствует в нем неприступно и высоко-

мерно, заставляя столицу считаться с собой. Могла ли мечтать об этом жена петербургского канцеляриста?

А невдалеке от голицынского особняка на Большой Миллионной, в квартире литератора Воейкова, люди десятых годов с шиллеровским обожанием смотрят на «лунную красоту» жены хозяина, «Светланы» Жуковского, сделавшей своим девизом долг, терпение, страдание, самоотречение. Жить таким образом Пономарева не хотела.

Она бросала перчатку, воздвигая своей «пьедестал», как станут говорить десятилетием позже. Пьедесталом были ум, красота, образованность, дарования. Весь этот арсенал — привлекательный и опасный — составлял ее силу в психологических поединках, в непрерывных единоборствах, где противник обладал равными качествами. Здесь было состязание двух личностей, созданных природой и цивилизацией, состязание воли, обаяния, искусства и ума; здесь раскрывались тайные и влекущие черты натуры, которые становятся явными лишь в минуты любовного тяготения. В этом было творчество петербургской Цирцей, — и, когда все стадии любовного чувства были пройдены и увенчаны победой, — она оставляла свою жертву, чтобы избрать себе другую. Ни разу, кажется, эти романы не окончились «соблазнительной связью», как скажет Баратынский, вспоминая о Закревской, — и, естественно, напрашивается сравнение их и с «domne» — «служением» средневековых трубадуров, и с любовным эпистолярным романом французского XVIII века. Но роман переносился в жизнь или жизнь организовалась как роман, — бессознательно, а, быть может, отчасти и сознательно. Кружок Пономаревой был литературен; внимательные читатели психологической прозы, Монтеня, Лабрюйера усваивали психологический опыт уже эстетически оформленным, и «любовный быт пушкинской поры», по удачному выражению исследователя, был почти всегда бытом литературным, культурно значимым<sup>18</sup>. «Я теперь не пишу романов, я их делаю», — пошутил однажды Лермонтов, перефразируя Бальзака, — но между романом «написанным» и пережитым пролегла не столь уж непроходимая грань. И романы Пономаревой, «делаемые», хотя и не «записанные», протекали в тех формах, какие подсказывала ей литературная культура времени, и носили на себе след творчества уже не только в психологическом, но и в культурно-историческом смысле.

Впрочем, они были «записаны», — хотя и не ею самой.

Первыми известными нам стихами, обращенными к Пономаревой в 1821 году, были стихи Баратынского.

Этот маленький хронологический факт важнее, чем кажется: он имеет значение и для истории салона, которой мы сейчас занимаемся, и для творческой биографии одного из самых больших русских поэтов.

Нам неизвестно точно, когда и при каких обстоятельствах Баратынский впервые попал в дом Пономаревых, — но одно не вызывает сомнений: в этом была не случайность, а едва ли не неизбежность.

«Благонамеренный» Измайлова был первым журналом, в котором появилось его имя в 1819 году. Оно стояло под стихами, мало чем отличав-

шимися от прочей поэтической продукции, и вряд ли могло привлечь к себе особое внимание. Но поэтический голос новичка крепнул день ото дня; его приняли в «михайловское общество», а затем в общество «соревнователей». В 1820 году молодой поэт уже известен любителям словесности, а Пономарева была из них далеко не последним.

Из стихов Е. Баратынского, или Боратынского, как подписывался он иногда в эти годы, выростала драматическая биография.

Где ты, беспечный друг? где ты, о Дельвиг мой,  
Товарищ радостей минувших,  
Товарищ ясных дней, недавно надо мной  
Мечтой веселою мелькнувших?  
Ужель душе твоей так скоро чуждым стал  
Друг отлученный, друг далекий,  
На финских берегах, между пустынных скал  
Бродящий с грустью одинокой?

Здесь были не просто привычные элегические жалобы, — здесь говорил и живой голос «отторженного судьбой».

И я, певец утех, теперь утрату их  
Пою в тоске уединенной,  
И воды чуждые шумят у ног моих,  
И брег невидим отдаленный.

Пономарева не могла не знать того, что знал весь литературный Петербург, — что экзотическая страна вечных скал и гранитных пустынь была для поэта ощутимой реальностью, а уныние и страдание, о которых он писал в своих элегиях, имели, помимо всего прочего, и веские жизненные причины:

Счастливы мнимые! способны ль вы понять  
Участья нежного сердечную услугу?  
Способны ль чувствовать, как сладко поверять  
Печаль души своей заботливому другу!  
Способны ль чувствовать, как дорог верный друг?  
Но кто постигнут роком гневным,  
Чью душу тяготит мучительный недуг,  
Тот дорожит врачом душевным.

(К Коншину, 1820).

Эти строки, написанные в Фридрихсгаме, появились в печати уже тогда, когда Баратынский был в Петербурге<sup>19</sup>. 13 декабря 1820 года он присутствует на заседании общества «соревнователей», где читаются его поэма «Пиры» и послание «Дельвигу». И новые знакомые смотрят на него сквозь призму его стихов.

«Мы помним Баратынского с 1821 г., когда еще изредка являлся он среди дружеского круга, гнетомый своим несчастьем, мрачный и грустный, с бледным лицом, где ранняя скорбь провела уже глубокие следы испытанного

им. Казалось, среди самой веселой дружеской беседы, увлекаемый примером других, Баратынский говорил о себе, как говорил в стихотворении своем:

Мне мнится, счастлив я ошибкой  
И не к лицу веселье мне»<sup>20</sup>.

Это не совсем портрет: в нем много от литературной легенды. Н. М. Коншин, в эти годы близкий приятель Баратынского, вспоминал, что несчастье лишь закалило, но не сломило его. Но читателям свойственно переносить на самого поэта черты его лирического героя. Даже В. А. Эртель, родственник Баратынского, невольно поэтизировал, описывая его облик в 1821 году. «Его бледное задумчивое лицо, оттененное черными волосами, — вспоминал он, — как бы сквозь туман горящий тихим пламенем взор придавали ему нечто привлекательное и мечтательное; но легкая черта насмешливости приятно украшала уста его <...> Неизъяснимая прелесть, которою проникнуто было все существо его, отражалась и в его произведениях»<sup>21</sup>.

Легенда выростала из элегических строчек Баратынского, она накладывалась на реальную личность, сопутствовала ей и незримо предопределяла ее восприятие. Если бы Эртель не читал стихов Баратынского, он, вероятно, писал бы о нем иначе.

Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что Пономарева познакомилась с легендой раньше, чем с самим поэтом, и, может быть, втайне готова была откликнуться на голос из северной пустыни, взывавший к неведомому «заботливому другу». Более того, она знала, конечно, и о том, что к числу ближайших друзей Баратынского принадлежали молодые петербургские поэты, уже приобретшие широкую известность: Кюхельбекер, Дельвиг, Александр Пушкин, только что высланный из Петербурга. Полгода назад это известие всколыхнуло весь литературный мир.

По всем этим причинам появление Баратынского в ее литературном кружке должно было стать для нее прямой необходимостью.

Исследователи Баратынского иногда склонны считать, что это произошло еще в 1820 году. Но на этот счет нет никаких положительных сведений. Из мемуаров же Панаева как будто следует, что его привел Яковлев в числе лицейстов в конце лета 1821 года, когда сам Панаев уже безраздельно пользовался вниманием Софьи Дмитриевны.

Существенно поэтому, что 7 марта 1821 года в Вольном обществе любителей российской словесности было прочитано два стихотворения Баратынского, адресованных Пономаревой<sup>22</sup>. Написаны они были до 1 марта, когда автор их вынужден был покинуть Петербург и вернуться в полк, в Финляндию.

Одно из них — «В альбом» («Вы слишком многими любимы») — было тогда же напечатано. Никаких указаний на адресата оно не содержало, — и о посвящении его Пономаревой стало известно по семейному преданию<sup>23</sup>.

Это было искусное, но довольно традиционное альбомное послание, где автор скромно рекомендовал себя одним из многочисленных поклонников, чьи имена вспоминаются по отметкам в альбомах:



Вы слишком многими любимы:  
Знать наизусть их имена  
Чрезчур обязанность трудна, —  
Сии листки необходимы!

Зато второе стихотворение имело гораздо более личный смысл, и, может быть, поэтому Баратынский не отдал его тогда же в печать и оставил у себя. Оно называлось «К ...о». Через два года Баратынский опубликовал его под названием «Хлое», потом перепечатал как «Климене» в 1826 году в альманахе «Уrania»; затем снял заглавие вовсе. Только в сборнике 1827 года он восстановил первоначальное посвящение: «К ...о».

Это стихотворение достаточно хорошо известно, но нам следует перечитать его целиком, обращая внимание на детали.

Приманкой ласковых речей  
Вам не лишить меня рассудка.  
Так, Хлоя, многих вы милей;  
Но вас любить — плохая шутка!

В редакции альманаха «Уrania» третья строка читается: «Климена, многих вы милей...». В сборнике 1827 года — «Конечно, многих вы милей...».

Теперь посвящение «К ...о» становится загадочным. Это, очевидно, имя, на котором почему-то лежит запрет, — и, вероятно, имя из трех слогов, с ударением на втором, как «Климена».

Вряд ли мы ошибемся, прочитав это посвящение как «Калипсо».

Калипсо, прекрасная нимфа, против воли удерживавшая Одиссея на острове Огигия.

Здесь, конечно, был биографический намек, слишком личный для печати.

Вам не нужна любовь моя;  
Не слишком заняты вы мною;  
Не нежность, гордость вашу я  
Признаньем страстным успокою.

Вам дорог я — твердите вы,  
Но честь красы меня дороже.  
Вам очень мил я, но увы!  
Вам и другие милы тоже.

С толпой соперников моих  
Я состязаться не дерзаю —  
И совокупной силе их  
Без битвы поле уступаю<sup>24</sup>.

Нет никаких сомнений, что эти стихи обращены к Пономаревой. В изданиях стихов Баратынского, подготовленных его сыновьями, они озаглавлены «С. Д. П.». На адресата указывала семейная традиция.

Психологический поединок прервался отъездом Баратынского, — а тем временем в поле зрения Калипсо попадают новые Одиссеи. По-видимому, к тому же марту месяцу относится недатированный «Экспромт», записанный в альбом Пономаревой Орестом Сомовым. «В первый вечер знакомства нашего, — гласит пояснение, — С. Д. приказала мне шутя написать ей экспромт и выхвалять ее "моральные добродетели"».

Далее шел текст:

Вы написать экспромт сей час мне приказали  
И добродетели в нем ваши выхвалять;  
Ах! если б мне предмет не столь богатый дали,  
Тогда бы мог экспромт я написать<sup>25</sup>.

Это было очень плохо даже для экспромта, и Сомов поспешил исправить положение, записав в альбом 31 марта «Спор на Олимпе», где Минерва и Венера вступают в прение за честь называться образовательницей Софии. Побеждает первая, — в соответствии с заданием, продиктованным адресатом:

Одна лишь я Софию создала;  
Искусства, знания, любезность, благородство,  
Ум образованный и вкус в нее влила;  
Она во всем со мной имеет сходство;  
И наконец... я имя ей дала.

«Спор на Олимпе» с посвящением «С. Д. П...ой» был напечатан в «Благонамеренном» вместе со стихами Измайлова, где было то же сравнение с Минервой и Венерой. Стихи Измайлова были написаны ранее, к рождеству 1820 года, — и, по-видимому, от Сомова потребовали пополнить поэтический венок на заданную тему. На этот раз он справился с заданием вполне удовлетворительно, и его мадригал был даже прочитан в заседании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств 21 апреля 1821 года. Читал его Панаев<sup>26</sup>.

Сомов уже завсегдатай в доме: он приходит 31 марта, и на следующий день, 1 апреля, — день, для него памятный.

В том же номере «Благонамеренного», где был обнаружен «Спор на Олимпе», поместилось другое стихотворение Сомова «К..... (1-го апреля)»:

Апреля первого, шутя  
В любви меня ты уверяла  
И, легковверен, как дитя,  
Тебе поверил я сначала.  
Увы! прошел прелестный сон  
И страшно было пробужденье;  
Тебе ничто иль шутка он,  
А мне — сердечное мученье!  
Ах! возврати мне счастья тень!

Твой пленник хоть обмана просит:  
Пускай с собою каждый день  
Апреля первое приносит;  
С каким восторгом мысль моя  
Стремится к милому обману...  
И первому апреля я  
Тогда охотно верить стану!

Это уже не альбомные стихи: в них сквозит элегический мотив, известный по пушкинским строчкам: «Ах! обмануть меня не трудно, Я сам обманываться рад». О добровольном самообмане любовников писали Парни и Мильвуа. Элегическая ламентация прорывается сквозь ткань «легкой поэзии», — но эти стихи еще можно записать в альбом, и Сомов делает это<sup>27</sup>.

Он — жертва мистификации, рискованной и не предсказуемой в своих последствиях игры, в этом невозможно сомневаться; и сам он знает это, как никто другой. И все же он сомневается и надеется, он хочет сомневаться и обманывать себя, он хватается за слабый проблеск надежды. Надежды — на что? Вряд ли он и сам знает это. Он влюблен, влюблен до потери рассудка, и почти ежедневно посылает письма предмету своего обожания.

Мы имеем сейчас возможность прочитать этот чудом сохранившийся эпистолярный роман. Он написан по-французски. Подлинные письма пропали с архивом Пономаревых, но Сомов, отправляя письмо, оставлял себе копию, «отпуск»; сложенные вместе, эти копии составили род дневника, и между ними мы находим и черновики писем, и в собственном смысле слова дневниковые записи, обнимающие период с апреля по август 1821 года. Это роман в письмах, на которые нет ответа: таковы были изначально поставленные условия. Сомов и не рассчитывал, и не надеялся на ответы: он писал историю своей души, потрясенной страстью. Он прислушивался к своим внутренним движениям, пытаясь, как сказал однажды Баратынский, дать в сердце отчет разуму, — но в письме стихийное чувство являлось в приличных одеждах, предписанных законами литературной эпистографии. Во Франции письмо уже давно было привилегированным жанром изящной словесности.

Исповедь, предназначенная для чтения — таково было изначальное условие.

Пономарева читала эти произведения словесности, поощряла сочинителя и хвалила слог. Сомов обижался: он ждал ответа на чувства.

Но почему он собрал и хранил эти письма, — хранил в течение многих лет, когда и Пономарева уже не было на свете, когда многое изменилось вокруг него и в нем самом, хранил уже женатым человеком, отцом семейства, и однажды обмолвился, что откровенные его признания прочтут разве после его смерти? Итак, он допускал и такую возможность? Сохранял ли он память о так и не изгладившемся чувстве? или память о своей молодости с ее счастливыми заблуждениями? Быть может; но он сохранял и *записанный* роман, где душевный опыт автора писем стал материалом его литературного творчества.

## Глава IV

### РОМАН В ПИСЬМАХ

*Страсти не имеют законов*

О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ<sup>1</sup>

30 апреля 1821

Вы позволили мне писать вам, сударыня! эта милость наполняет меня радостью; итак, я смогу поверять бумаге те чувства, которые мои уста, слишком робкие вблизи вас, никогда не осмелились бы произнести. Была минута, когда я мог отважиться на такое признание, но в эту минуту я мог бы только обожать вас; я видел, как небо открылось передо мной и все мое существо превратилось в жертвенник, на котором курился чистейший фимиам божеству, которое я обожаю. Божественная женщина! вы меня видели и скромнее и осмотрительнее, чем обычно; я едва осмелился произнести несколько несвязных слов, едва дерзнул расточать вам чистейшие ласки, в то время как сам был более не в силах владеть своими чувствами... Вы будете смеяться, читая эти строки, сударыня! вы будете смеяться над несчастным созданием, осмелевшим до того, что обожает вас и даже говорит вам об этом; что ж! мое положение уже сейчас достойно горького сожаления и в будущем не станет лучше; я покорился всему. Но по крайней мере, будьте в снисходительности похожи на небожителей, которых вы представляете на земле в образе, прекраснейшем из всех возможных; оставьте меня в моем заблуждении, оставьте мне хотя бы видимость счастья.

Странная вещь: я представлялся равнодушным и даже холодным, а в то же время сердце мое было охвачено пламенем. Быть может, я должен был бы скрыть от вас мое поражение, чтобы избавиться от стыда быть смешным в ваших глазах; но для меня такое большое счастье иметь возможность говорить с вами, что я стараюсь забыть о последствиях, к которым это признание может привести. Простите, сударыня, тысячу раз простите, если я причинил вам неудовольствие; лучше пожалейте обо мне: надежда сокрыта для меня под погребальным крепом.

Ваш на всю жизнь  
О. Сомов.

1 мая 1821

Ах, сударыня, что за вечер был вчера! Мое сердце разрывается до сих пор, несмотря на деланное спокойствие, которое я стараюсь сохранить... Будьте искренни и сознайтесь, что вы хотели унижить меня, и каким образом... Это вино, которое вы заставили меня выпить... нет, это была не капля вина, а яд, сильный и мгновенный! и это роковое «не хочу», сорвавшееся с моих губ. О почему через мгновение уже ничего нельзя было вернуть! я испытывал мучения все оставшееся время ужина; я был убежден, что я упал безвозвратно в вашем мнении; одно слово вернуло меня к жизни. Это слово произнесли вы — слово прощения и привета: я увидел, что вы не сердитесь больше, и укоры совести стали от этого только еще более мучительными.

Я часто оказывался жертвой моих первых движений; одна мгновенная вспышка стоила многих слез моей матери, единственной женщине, которая разделяла бы с вами, если бы была еще жива, чувства нежности и обожания, которые сейчас я посвящаю вам безраздельно. А вчера... о как бы я хотел, чтобы изгладилось самое воспоминание об этом вечере! рядом со мной меня оскорбляли адской усмешкой, которая говорила: ты пропал, и я этому очень рад! при этом даже не давали себе труда скрыть от меня свою радость... О если бы он мог видеть мои загоревшиеся глаза, кровь, которая бросилась мне в голову; если бы он мог слышать слово оскорбления и угрозы, которое готово было сорваться с моих губ... Однако я сумел справиться с собой. Пусть бог простит ему, как я прощаю его на этот раз.

Как получается, сударыня, что вдали от вас я думаю только о вас? что когда я хочу сказать любезность даме, ваше имя всегда у меня на устах? Что все, что не вы, наводит на меня смертельную скуку? Вчера я был у Измайлова; печальный и задумчивый, я говорил что-то бессвязное. Приходит ваш супруг — и как будто что-то наэлектризовало меня; я сделался веселым и разговорчивым; во мне родилась надежда увидеть вас этим же вечером. Ваш супруг был так добр, что пригласил меня к вам, и я не заставил повторять приглашение дважды; я помчался к вашему дому так, что добрался до него пешком почти в то же время, что и дрожки г-на Пономарева. Напрасно я искал вас глазами, напрасно я призывал свою веселость: она исчезла на весь остаток вечера и душа моя тоже отлетела, чтобы искать ваших следов.

Прощайте, сударыня! мое сердце все еще не на месте; его еще гнетет смертельное беспокойство. Очень может быть, что вы еще не вполне забыли мою ошибку; скажите мне, как должен я ее искупить?

Ваш раб, покорный и  
раскаивающийся  
О. Сомов.

2 мая 1821

Я провел бессонную ночь, сударыня, но эта ночь была прелестной; чувство удовольствия обновляет телесные силы; и тому доказательство — что я не чувствую себя разбитым. Я был отделен от вас только пространством комнаты, меня тешило воспоминание, как вы заснули на моих глазах; я дышал воздухом, в котором еще трепетало ваше дыхание, — какое наслаждение, какое счастье! и эта обнаженная рука, скользнувшая на одеяло, и обольстительное лицо, погруженное в сон, это спокойствие души, которое рисовалось в ваших чертах... Я бы оставался до вашего пробуждения, если бы ваш супруг не увлек меня из комнаты. Но я и не думал о сне: однажды только я почувствовал, что веки мои тяжелеют, но эта полудремота была сладостной: ваш образ заново рисовался передо мной в тысячах бессмертных форм.

Во имя бога, скажите мне, сударыня, почему вчера вечером вы поначалу обошлись со мной так холодно? Какой оплошностью навлек я на себя какое-то презрение, с которым вы тогда слушали меня и отвечали мне? Своим письмом? Что такого нашли вы в нем, что могло бы вас уязвить? Нет! вы не должны были толковать ложно самые искренние и чистые чувства.

Скажите же мне, как я должен вам их описывать! почему я почти безмолвен в вашем присутствии? Из-за почтения, которое я питаю к предмету моего обожания

на всю мою жизнь  
О. Сомов.

3 мая 1821

Довольно хорошее утро и предвкушение прекрасного дня — таковы были мои надежды вчера, сударыня. Ах, как они были далеки от действительности! Зачем я пошел на эту несчастную барку? Зачем я не повернул назад, как только пришел к вам? Зачем лукавый толкнул меня на эту барку, где были вы с супругом? Я перехватил презрительный взгляд, который Вы бросили на меня, и кровь во мне оледенела. Другие ваши взгляды, которые скользили далеко от лодки, выражали больше интереса... Я уже имел честь говорить вам, сударыня, что какой-нибудь пустяк может испортить мне настроение и лишит меня веселого расположения духа на весь день: согласитесь, что печальная роль, которую мне пришлось вчера играть, не могла меня особенно развеселить. И почему вы не позволили мне уйти после того, как увидели, что все мои попытки остаться невыносимы и безуспешны?

Я теряюсь в лабиринте догадок по поводу этого важного господина, который был вчера вечером. Вы уверяете, что не можете его переносить, что это самое пустое и наглое создание и т. д. и т. п., и все же ваше обращение с этим субъектом показывает обратное. Я хотел

просить у вас указаний, как мне вести себя с другим молодым человеком, но заметил, что вы явно избегаете этого разговора, а в немногих словах, которые вы бросили мне, ощутил какой-то очень оскорбительный для меня страх. Как, сударыня, вы, — с вашей любезностью, возвышенным умом, восхитительной уверенностью в себе, — вы боитесь этого хлыща? да достаточно уверенности в обращении, чтобы внушить ему уважение. А я в ваших глазах настолько презренное существо, что можно унизиться, со мной разговаривая? Ради бога, сударыня, скажите мне об этом, чтобы я знал, как вести себя в дальнейшем. Я очень ясно чувствую и повторяю еще раз: я должен был бы затвориться в своем уединении и никогда не приближаться к вам; довольно было увидеть вас однажды, чтобы понять опасности, которым я подвергаюсь. Мое бедное сердце неисправимо, и несчастья, которые оно испытало, не научили его даже простой осторожности. Но эти же несчастья развили в моем уме способность понимать что к чему, так что при том простоватом виде, который вы уже у меня знаете, я обладаю теперь чутьем, позволяющим видеть вещи как они есть на самом деле. Я внутренне рассмеялся; затем, слушая рассуждения господина Алиборона о платонической любви, я нарочно заговорил о любви чувственной, чтобы дать ему понять неприличие разговора, в который он ввязался. Ему ли об этом говорить? Может ли слепой судить о живописи, а глухой о музыке?

Простите, сударыня, если эта болтовня вам наскучила. Жребий брошен; уже ничего нельзя изменить, будь что будет; но я не молокосос <нрзб.>.

Ваш раб, умирающий <нрзб.>

5 мая 1821

Я видел ее, эту кровь, столь прекрасную, столь алую, я видел, как эта сладостная алость соединялась со сверкающей белизной прекраснейшей из ножек, такой изящной округлости, какой я никогда в жизни не видел. Да, сударыня, я был очарован, я был вне себя, но минутой позже меня охватило смертельное негодование на вас. Можно ли так пренебрегать драгоценным здоровьем, как вы это делаете? И из-за чего? из-за пустого удовольствия бравировать опасностью или, смею догадаться, вызывающе подшутить над всеми. Я довел до нескромности нежное участие, которое к вам питаю. Браните меня, сударыня! я потерял голову, сделался глупцом, я не понимал уже, что говорю. И какова же была награда? Вы отказали мне в подарке, который сами обещали за минуту до этого. Ах! если вы хотите изгладить из моей памяти тягостное воспоминание об этом отказе и согласитесь оказать мне милость, которой я прошу у вас во имя любви, меня пожирающей, — отдайте мне окровавленную повязку, которая была наложена на вашу ножку после кровопускания.

Я буду постоянно носить ее на сердце, и, может быть, она облегчит муки, которые оно бедное испытывает. Свежая и чистая кровь всегда обладала способностью нейтрализовать действие медленно и неуклонно убивающего яда.

Мне показалось, что я заметил нечто злое во взглядах г-на Бельвизона; может ли это быть? Но нет, прочь эту мысль: она сжимает мне сердце.

Ничтожная победа над беднягой вроде меня не может льстить никому; потому я и не заслуживаю, чтобы меня щадили; мне можно позволить, от нечего делать, ловить тень счастья. Я хорошо помню, что вы разрешили мне следовать за вами повсюду. Да, сударыня, я буду следовать за вами, как тень, повсюду, с риском быть осмеянным или изгнанным. Клянусь честью, я сделаю это (насколько позволят приличия) и беспрестанно буду повторять вам всегда ваш, сердцем и душой

О. Сомов.

8 мая 1821

Целый день не видеть вас, сударыня! судите о моих жестоких мучениях. За последнее время я настолько привык и настолько счастлив быть рядом с вами, что все минуты, что я провожу вдали от вас, кажутся мне потерянными для существования. Увы! я строю счастье на собственной гибели, я опьяняюсь чашей, на дне которой моя смерть.

9 мая 1821

Еще двадцать четыре мучительных часа! душа моя разрывается. Если бы вы видели меня плачущего как ребенок, горькими слезами в постели и скрывающего свою тоску в присутствии знакомых, может быть, вы не посмеялись бы над моими муками, может быть, даже смягчились бы при виде моих страданий. Я не могу ни о чем думать, ни о чем писать; первая же мысль, первый образ, который представляется моему уму, это всегда вы. Я хочу набросать несколько штрихов, — на бумаге выходит ваш портрет; я хочу произнести какую-то фразу — я невольно произношу ваше имя; я умолкаю, погружаюсь в сон и грежу только о вас.

Вчера ночью мне приснился сон, который, кажется, предсказывает мою будущую участь. Вначале, как всегда, мне представился ваш образ... он парил надо мной, в нем было что-то неземное, он был окружен небесным сиянием. Потом я увидел, что меня сочетают браком с моей покойной матушкой. Смертельный холод пробежал по моим жилам, я вскочил, вытер холодный пот, который покрывал мой лоб. Мне кажется, я читал в книге судьбы: именно вы, сударыня, да, именно вы не замедлите обвенчать меня со смертью. Не подумайте, что я обвиняю вас за это, — нет, это моя судьба, она написана на небесах и, может быть, даже раньше, чем я начал существовать. Именно



там предопределено, что я должен буду некогда предаться во власть неотразимого очарования, во власть законов несравненной женщины; что я говорю? во власть божества, которому я посвящаю каждое биение моего сердца, каждый свой вздох и которое должно будет отплатить мне равнодушием, холодностью, угнетающими бедное сердце и отравляющими мои дни смертельной горечью.

Голова моя идет кругом, я в смятении, в лихорадке. Я больше не могу писать, могу только плакать...

Простите, сударыня, если я передал вам часть беспокойства, обуевающего меня, и эти бессвязные мысли... О, как сладко, что я могу еще подписаться

вечно вашим, до последнего дыхания  
О. Сомовым

Следующее письмо написано по-русски с небольшой вставкой на французском языке.

Мая 11 дня 1821

Ты мне пылать любовью запретила  
И дружбу лишь велела мне питать.  
Покорен я — и при тебе, Людмила,  
Лишь дружбою век буду я пылать.

Тебя мои восторги ужасают —  
Клянуся их, Людмила, умерять;  
Пускай других глаза твои пленяют —  
Мой долг тебя как друга обожать.

Так! не ищи любви в сих взорах страстных,  
Старайся в них лишь дружество читать.  
У ног твоих и на устах прекрасных  
Позволь, позволь плоды ее вкушать.

Вот последствия разговора, который третьего дня был у меня с вами, милостивая государыня! Почтительный тон сего письма должен вас успокоить даже и на счет дружбы, которую осмеливаюсь я питать к вам. Прелестная повязка спала с глаз моих: пустота в сердце, уныние в душе и одиночество в мире — всегдашний мой удел, которого тягость я доселе не столько чувствовал или, по крайней мере, старался позабывать с некоторого времени, — теперь снова и сильнее тяготит меня. Но пусть это будут последние отзывы сердца грустного. На бумаге и в обхождении моем вы увидите одну только беспечность и веселость, веселость, которая так далека будет от меня в сущности. Ночи бессонницы и дни тоски накажут меня за безрассудную доверенность моего сердца, которое все еще не разучилось верить счастью, — но я решился глотать вздохи, пока они не вытеснят дух мой из тела.

Одно только обстоятельство меня тревожит, и я должен у вас просить на него объяснение: третьего дня вы сказали мне во время ужина, что я вас скомпрометировал. Каким же это образом, сударыня? я хорошо помню, что все это время говорил совершенно незначущие вещи и, надеюсь, никак не выдал себя. У меня не вырвалось ни одно слово, ни одно движение, которое могло бы намекнуть на что-либо<sup>2</sup>.

Сделайте одолжение, выведите меня из совершенного моего на сей счет сомнения, располагайте моими поступками, управляйте ими по вашему произволу и делайте мне ваши замечания, но только, ради бога, откровенно, и не заставляйте меня мучиться догадками и сомнениями. В противном случае я совершенно потеряю голову, и первое средство спасти себя от таких оплошностей и избавить вас от неудовольствия будет скорое и вечное мое удаление. Я пользуюсь до времени драгоценным правом, которое вы мне дали, правом быть с вами откровенным, и потому осмеливаюсь снова повторить —

вечно вам и душевно  
преданный  
О. Сомов.

В эти же дни он пишет «Песенку в грустный час»:

Полно сердце! успокойся на часок!  
Удержися, горьких слез моих поток!  
Перестаньте, вздохи, грудь мою теснить!  
Сон забытый! мне пора тебя вкусить!

Я обманут был неверною мечтой:  
Дни надежды пролетели с быстротой:  
Думал: счастье улыбнется и ко мне...  
Нет как нет его ни въяве, ни во сне.

Вижу: счастье лелеет там других;  
По цветам текут минуты жизни их;  
Мне лишь бедному жить в горе суждено;  
Для чего ж мне сердце нежное дано?

Чем же хуже я счастливых тех людей? —  
Часто думаю в печали я моей.  
Ах! не тем ли, что в удел мне не даны  
Ни богатство, ни порода, ни чины?

Здесь то же настроение и почти та же фразеология, что и в его письмах.

Он записывает «Песенку» в альбом Пономаревой. 12 мая — на следующий день после очередного письма — он читает ее в заседании «Михайловского общества»<sup>3</sup>.

Тем временем в Петербург приезжает Яковлев.

Он является к Пономаревым уже как старый знакомый и даже приносит свой альбом, куда Пономарева собственноручно вносит многозначительные афоризмы:

The world is your country, doing good — your religion.  
Страсти не имеют законов.  
Mai 1821<sup>4</sup>.

О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ

Мая 17 дня, 1821

Несколько дней, дней вековых я лишен был счастья видеть вас, милостивая государыня! Не смея нарушить вашего приказания, не смея явиться прежде назначенного дни — я покорился суровому долгу: ибо приказания ваши для меня суть долг первейший и священнейший. Наконец вот счастливый день, в который мне позволено льститься надеждою снова увидеть вас — и каждая секунда, приближающая меня к сему бесценному времени, исчисляется мною по биениям моего сердца. Бедное сердце!.. но перестанем говорить о нем: стоит ли оно того, чтобы наскучать им вам, милостивая государыня?

На сих днях я получил письмо от моего дяди. Это добрый провинциал, который некогда жила в столицах. Имея все право на мою откровенность, — право дружбы, — он спрашивает меня о петербургских моих занятиях, удовольствиях и знакомствах. В ответе моем я пробежал быстро первые две статьи и остановился в последней на одном портрете, который слабое мое перо решилось изобразить. Слова ложились пламенными чертами, и я все еще не был доволен моим списком, все еще он казался мне не имеющим и тени совершенств своего подлинника, которого имени рука моя не смела написать.

Смейтесь, милостивая государыня, я и сам смеюсь — сардонским смехом; смеюсь всему: судьбе моей, неисправляющимся глупостям моего сердца, смешному рыцарю печального образа, которому недостает только Росинанта и Санзон-Пансы, смеюсь, пока фибры д... <текст испорчен>

Имею честь быть с <текст испорчен> почтением и преданностию вашим покорным слугою

О. Сомов<sup>5</sup>

19 мая 1821

Мне ли осмеливаться возобновлять прежний спор? Какое мне в конце концов дело до великих мира сего, которым я ни в чем не завидую, даже в том, что их хвалят во всех концах вселенной! Простите, сударыня, я готов искупить мою оплошность любыми жертвами, которых вам угодно будет от меня потребовать. Сколько раз, расставшись с г. Кушинниковым и очутившись один на утлом суденышке, я повторял себе:

Вперед люби, да будь умнее,  
И знай, пустая голова,

Что всякой логики сильнее  
Прелестной женщины слова <sup>6</sup>.

Я запечатлел эти стихи в своей памяти как правило для своего поведения в будущем. В то время как я предавался этим размышлениям, поднялся ветер, волны, пенясь, ударили в борта моей лодки, бедняга гребец, угрюмый, как Харон, каким его обычно представлял, работал во всю силу своих жилистых рук. Сказать ли правду, сударыня? Не раз и не два мне хотелось, чтобы бурные порывы ветра или скорее удары волн вырвали меня из моего суденышка и потопили в глубоких недрах Невы, — так я был недоволен собой. Но в искупление моей вины я был наказан только жестокой простудой и несколькими приступами ревматизма то там, то здесь, — впрочем, я вполне этого заслужил.

Ради бога, сударыня, не будем больше возвращаться к теме о великих мира сего, — это очень болезненная для меня тема. Я ценю их, когда они добры; я сожалею, когда они злы. Вот мое исповедание веры на их счет.

Оно совершенно не сходится с вашим, сударыня! Вы мое божество! Я не осмеливаюсь больше говорить вам, что люблю вас земной любовью, но мне позволено и мне сладостно повторять вам, что я поклоняюсь вам, боготворю вас. На этом я стою.

Еще одно признание, сударыня: я сделал попытки усмирить мое бедное сердце, угасить огонь, который пожирает его, — но увы! не все можешь что хочешь. И еще: я схожу с ума при мысли о том, что ожидает меня в будущем: я бросаюсь вниз головой прямо в пропасть; не смею больше говорить вам об этом и очень от этого страдаю.

Как слаб и непостоянен человек в своих намерениях; я обещал вам, что в своих письмах буду весел, а я в лучшем случае бесстрастен. Когда же я исправлюсь?

Терпите же, сударыня, по крайней мере то, что я продолжаю именоваться

вашим на всю жизнь  
Орестом  
Сомовым.

23 мая 1821

Вы это произнесли, сударыня! вы вернули мне право рассказывать вам о моих страданиях, говорить вам о своей любви? Увы, это право — единственное, что мне осталось. В действительности у меня есть лишь муки и свобода стенать. Другие, более счастливые, чем я, вдыхают сладостный аромат розы; мне достаются лишь шипы. О, почему я не могу излить душу на эту бумагу? почему не могу я писать кровью сердца: эти буквы пылали бы, и вас охватил бы тот же огонь, который сжигает мое бедное сердце!

Поверите ли, сударыня, что я часто чувствую себя счастливее в одиночестве и вдаль от вас, чем в вашем присутствии? Сейчас я объясню вам эту загадку. Ваш образ всегда со мной: все мое существо полно им:

Люблю тебя на тысячу ладов,  
Тебе одной я лиру посвящаю,  
Тебя одну я в песнях призываю,  
Везде, во всем ищу твоих следов.  
В обличьях незнакомой красоты,  
В любой строке мной читанных поэтов,  
В живых чертах, на полотне портретов  
Являешься мне ты и только ты.

Вот самое точное изображение того, что происходит в моем сердце, в моем воображении, во всем моем существе. Как мне досадно, что не я написал эти стихи! они так хорошо выражают то, что я чувствую и испытываю. Что ж, сударыня, прибавьте к этому сладостное воспоминание о том, что я видел, слышал, и несколько слов доброты и утешения, которые время от времени ласкали мой слух. «Вот милая попинька! Где мой Орест! Играйте же, ангел мой!» — Неужели вы думаете, что я могу это забыть? Я прекрасно знаю, что это лишь слова доброты, утешения, выражения почти банальные, но я повторяю и буду повторять всегда: моему сердцу нравится обманываться, оно во власти этих иллюзий... Действительность же слишком тяжела для него... Я ясно вижу, что перестал быть даже предметом вашего снисхождения; иногда я здесь, подле вас, а вы делаете вид, что меня не замечаете, в то время как я вижу вашу благосклонность к другим, вашу заботу о том, чтобы дать им возможность выразить свои чувства, вашу готовность самой идти за ними. И я нахожусь при этом, я остаюсь один, погруженный в свои печальные мысли... Ах, — это единственный случай, когда я горько упрекал природу и Провидение, что они не осыпали меня своими дарами. В самом деле, почему они не дали мне привлекательного лица, статной фигуры, прекрасных талантов, в особенности умения нравиться, ума острого и утонченного, — короче, всего того, что привлекает и внушает привязанность? Из всех своих даров они оставили мне в удел нежное и любящее сердце и душу возвышенную более, чем позволяет мое положение, — две вещи, которые не приносят счастья своему обладателю, а, напротив, делают его еще более несчастным. Пожалейте обо мне, сударыня! верните мне по крайней мере мое призрачное счастье, которое недавно еще у меня было; клянусь вам торжественной клятвой, что я буду соблюдать ту осмотрительность, которой вы требуете, чтобы избавить вас от неприятной обязанности делать мне те упреки, которые на днях произнесли ваши прелестные уста. Но в чем же я виноват? я всегда был столь почтителен, столь покорен, — и в то же время я видел, как

некий молодой человек позволяет себе делать вам при всех довольно резкие выговоры. Вот кто может вас скомпрометировать и вызвать скандал.

Простите, умоляю вас, мою чрезмерную вольность: только в интересах того, что касается вас, — и что поэтому мне дороже жизни — я позволил себе выразить свои чувства по этому поводу. Если бы вы знали всю силу моей любви, вы не рассердились бы на мою искренность. Я падаю к вашим ногам, я умираю, твердя постоянно:

Ваш на всю жизнь О. Сомов.

25 мая 1821

Так стало быть, сударыня, вы видите в моих письмах только талант писать! Похвала, которую вы произнесли мне вчера на сей счет, есть не что иное как сатира против моего сердца; и потому вы могли заметить мое замешательство и глупость моих ответов на ваши любезные комплименты. Я был уничтожен, ошеломлен. Ах, сударыня! если бы из одной только жалости вы сказали мне: «у тебя есть сердце, ты умеешь любить, я вижу это; эти выражения могли идти только от любящего сердца, они — не холодные, выисканные слова и не вялый жаргон любовника, почерпнутый в тысячах романов!» Такие слова были бы для меня более лестны, чем пышные похвалы всех академий в мире. Сейчас же я вижу, что вы, сударыня, хотели только подшутить над моей любовью и сделать смешными порывы бедного сердца, — какая награда! Напрасные старания, я любил вас, люблю и буду любить всегда; ни ваша суровость, ни ваши насмешки не угасят страсти, возрастающей с каждым днем, которая составляет мое мучение, мое наслаждение и которая иссякнет разве с моим последним дыханием.

Как мучительна роковая минута, когда видишь, как падает с твоих глаз розовая повязка, которая позволяла искать в будущем частицу счастья и радостей. Как мучительно, повторяю я, положение, когда сердце видит, как оно обманывалось! Вот в точности положение, в котором я нахожусь, сударыня. Надежды улетели; ужасная пустота, которую ничто не заполняет, царствует ныне в моем сердце. Когда-то оно было открыто для нежной дружбы, с недавних пор оно осмелилось биться для любви...

Что же делать, сударыня, если его обманула и любовь, и даже самое желание дружбы. Вы, сударыня, не можете в это поверить, — я вижу по всему тому, что вы сказали мне, что вы не верите, — а если бы вы по крайней мере согласились поверить в это чувство, оно лишь слегка коснулось бы вашего сердца, не оставя в нем никаких следов, в то время как в моем оно оставляет следы огненные, неизгладимые.

И я еще дерзнул вчера спорить с вами? и вы, ангел доброты, вы простили мне эту вспышку безумия? Умоляю, сударыня, как о милости, заставьте в будущем замолчать этот дерзкий язык, который становится полной противоположностью моему сердцу. Сколь убе-

дительно бы ни были мои доводы, вам достаточно сказать: «Таково мое мнение!» — и вы увидите, что я тотчас же приму мой обычный характер, характер скромного и покорного любящего, каким я и остаюсь и хочу быть всегда

вашим  
О. Сомовым.

26 мая 1821

Да, сударыня! Вы хотели этого; вы хотели смертельно оскорбить, сразить на месте сердце, столь вас любящее! Еще вчера я получил тому неоспоримое доказательство: вы велели позвать одного из этих господ, вы разговаривали с ним, вы делали вид, что очень заинтересованы этим разговором... он ушел, я подошел к вам, я осмелился обратиться к вам, — и вы заявили, что хотели помузицировать. Он был очень хорош, этот комплимент, который вы мне сделали: «что вы не хотите получать два удовольствия сразу: видеть меня и читать мои письма». Я перевел его слово в слово на язык сердца и истины: вот что он значил: «Есть у меня время думать о тебе и о твоих письмах». Grimаса, которая сопровождала его, говорила о том же. Вы презираете меня, сударыня; вы боитесь показать другим даже то, что вы имеете терпение меня слушать; я это очень хорошо вижу. Вы все время ищете средств избежать разговора со мной, разговора, для которого я пытаюсь найти минуту: это ясно, и вы сами подсказываете мне, что мне делать.

Да, сударыня! как бы ни была тягостна для меня эта жертва, я совершу ее: я удалю от ваших глаз предмет вашего отвращения и презрения; я избавлю вас от неприятности меня видеть.

Уважение, которое я питаю к вам и вашему супругу, заставит меня изредка появляться у вас, единственно, чтобы избежать толков; визиты эти будут коротки и не скомпрометируют вас, на что вы благоволили мне указать.

Меня побуждает к этому естественная гордость человека, способного чувствовать: я не могу терпеть, когда меня презирают, и равно не хочу никого обременять собой. Я хорошо помню то, что вы однажды сказали о людях, обладающих характером, в связи с одним из наших знакомых: «Он горд, потому что он беден». Отлично, сударыня, я еще беднее его, и я горд; хотя бедность не является достоинством, которое следует выставлять напоказ, она также и не позор, который нужно скрывать.

Одно из предыдущих моих писем должно было послужить вам разъяснением касательно справедливости, которую я умею отдавать самому себе, касательно подлинного мнения моего о своей собственной личности. Остается еще один большой недостаток, о котором я не сказал, но который проявлялся неоднократно: излишняя откровенность.

Что я вам сделал сударыня? я любил вас!..

Если бы вы видели меня вчера, в том смятении, в каком я находился, с пылающими щеками, с блуждающими глазами: если бы вы могли чувствовать прерывистое биение моего сердца... Нет, я не хотел сделать вас свидетелем этого зрелища, которое, может быть, опечалило бы вас; я бежал сломя голову. Около Гвардейского корпуса, против церквушки, мне сделалось дурно; добрый солдат, стоявший на часах, сжалился над моим положением и позвал товарищей, которые меня ввели или скорее внесли внутрь и оказали всяческую помощь, которая могла им прийти в голову; благодаря заботам этих благородных воинов, через несколько минут я почувствовал себя немного лучше и двинулся далее. Придя к себе, я ощутил приступ лихорадки; сон бежал моих глаз, сердце было сжато и грудь давила страшная тяжесть, стеснявшая дыхание. К десяти часам утра два ручья слез, сжигающих слез, слез отчаяния, немного облегчили меня; но я не мог сомкнуть глаз.

Когда вспомню, что вот уже месяц прошел с тех пор, когда со мной обращались иначе... О! это был день моего счастья, слишком <нрзб.>, он единственный оставил сладостные воспоминания, картина которых все еще заставляет меня иногда улыбнуться улыбкой счастливых, он мне приоткрыл небеса, чтобы вновь погрузить меня в пропасть небытия. Я говорю себе: О, от кого зависело счастье? И кто намеялся над легковверным? Доверчивый, я полностью предался <незак.>

Простой и доверчивый, я чувствую себя так отвратительно, жалкий по своему положению, обманутый счастьем и радостями жизни, почти мертвец в душе... О! Если бы я в самом деле был мертв, это было бы для меня блаженством...

Наслаждайтесь, сударыня, счастьем, которое всегда должно быть вашим уделом. Забудьте несчастного, недостойного вашего воспоминания, уничтожьте его имя везде, где оно еще осталось, равно как и все, что может привести его вам на память. Прощайте, сударыня!

Имею честь оставаться с беспредельным уважением, оставляя в глубине души выражение чувств более нежных,

сударыня,  
вашим покорнейшим и  
преданнейшим слугой  
Орест Сомов.

---

\* Вписано на полях. Далее зачеркнуто: «Если существуют смертные грехи, то ударить человека простого и доверчивого из их числа, особенно если этот человек несчастлив по своему положению, лишен счастья и радостей жизни, почти мертвец в душе. В таком случае лучше вонзить топор ему в грудь, он менее будет страдать, он умрет в результате этого удара, и смерть явится ему почти блаженством».



27 мая, в час ночи

Какую силу имеет над нами мнение обожаемого существа!

Оно возвышает нам душу, сообщает нам достоинство либо унижает нас и уничтожает. Несколько дней назад, когда я был удостоен милостивого приема, когда мне было дано разрешение следовать за вами, не навлекая на себя вашего негодования, я был на небесах, я предполагал в себе более достоинств, нежели имел на самом деле, я держал себя более уверенно и, осмелюсь сказать, более благородно, дабы иметь возможность созерцать вас с большим достоинством. Презираемый ныне, отвергнутый, я унижен в собственных глазах, я почти не осмеливаюсь <нрзб.> поднять глаза на вашу особу. В этот самый момент, вернувшись в мою скромную обитель, я сомневался, стоит ли зажигать мне свечу, <оторван край листа> боясь заметить что-либо ужасное <...> и в собственных чертах <...> я боялся самого себя.

---

Что означала запись Пономаревой «Страсти не имеют законов», сделанная ею в мае 1821 года в альбоме Павла Лукьяновича Яковлева?

Мы пишем не роман, а документальную хронику, где нет места художественному вымыслу. Контекст этих слов утерян, и остается простор для психологических домыслов. Но они — ответ, быть может, возражение. Пономарева провозглашала право на свободу чувства — скорее всего, своего собственного.

Любовь Ореста Сомова, ставшая для него источником мучений, унижений, ревности, стесняла и, должно быть, пугала ее. Трудно представить себе, чтобы она вовсе не испытывала сочувствия к своей страдающей жертве, — но теперь она стремилась держать ее на расстоянии интеллектуального общения. Похвалы его письмам были в ее устах, конечно, совершенно искренни, но Сомов, ослепленный своей страстью, не встречая на нее ответа, ничего уже не видел в подлинном свете. Его пылкие признания, мольбы и жалобы имели обратное действие: они становились докучны и вызывали досаду.

Тем более, что его ревность и подозрения были, кажется, не совсем безосновательны.

27 мая, на следующий день после его отчаянного письма, где он разрывал отношения со своим кумиром (сделать это, как и следовало ожидать, он не сумел), в альбоме Владимира Панаева появилась маленькая изящная запись, — запись дилетанта, вполне овладевшего техникой стихотворного экспромта. Она шутлива, как и полагается экспромту, но в шутке слышится неподдельное восхищение:

Нет, нет!

Панаев не поэт!

Скажу назло, наперекор всех мнений,

Нет, нет, он не поэт — он гений!

Под стихами стоит подпись: «Софья Пономарева»<sup>7</sup>. Даже близкие друзья и адепты Панаева, и даже в шутку, не обращали к нему такого титула. Но... страсти не имеют законов.

О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ  
28 мая, в 11 часов утра

Жребий брошен; это письмо должно дойти по назначению; это мой смертный приговор... Какая пытка! душа растерзана, сердце отдано в жертву тысячам мук, голова идет кругом!.. Помогите мне, праведное небо! дай мне довольно сил, чтобы вручить это роковое письмо.

В полдень

Ах! слово привета, сударыня! и вы удерживаете меня на краю бездны...

У несчастного влюбленного не достало духа отправить свое прощальное письмо. У него не было сил даже окончить свою запись — проект нового послания.

Панаев отвечал на комплимент Пономаревой. 28 мая в альбоме Софьи Дмитриевны появляется несколько его стихотворений.

Пускай другие в том согласны,  
Что вы и милы, и прекрасны,  
Что взоры маленьких китайских ваших глаз  
Равно и молодым, и старикам опасны,  
Что на беду для бедных нас  
Природа вас умом блестящим наделила...

Нет, Панаев не был гением. Ему не доставало артистизма, которым была щедро наделена ученица Измайлова. То, что он писал, было почти парафразой пономаревского экспромта. Он воспроизводил мадригальную схему: похвалы от чужого имени, парадоксальное их отрицание — и новая похвала, уже более высокого порядка. Но Софье Дмитриевне понадобилось для этого четыре строки, в которых играла поэтическая энергия парадокса и каламбура. Панаев пишет четырнадцать строчек вялых и прозаических похвал, с концовкой смазанной и неискusной:

Мое совсем иное мнение:  
Так точно вы в глазах моих  
Есть только женщин украшенья  
И вместе зависть их!<sup>8</sup>

Это был «разыгранный Фрейшиц Перстами робких учениц».

Второе стихотворение, — «Желание», записанное им в этот день, гораздо более интересно.

Анакреон, в жару мечтаний,  
 Хотел быть Нисы башмачком,  
 Чтоб ножку милую сжимать тайком;  
 У всякого свой род желаний:  
 Я лучше б сделаться хотел  
 Моей Глицерии корсетом,  
 И признаюсь — уверен в этом,  
 Что мне счастливейший достался бы удел!<sup>9</sup>

Современный читатель почти наверное остановится перед этими стихами с тайным чувством неловкости, как будто он стал случайным свидетелем интимной сцены. Но он ошибется; психологический смысл записи гораздо сложнее и тоньше, чем простой и грубый эротический намек.

На обратной стороне того же альбомного листа, где поместился первый из процитированных нами мадригалов, записаны стихи, на первый взгляд еще более откровенные:

Из Антологии.

1.

Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет,  
 Трикрат блаженнее, кто говорит с тобой;  
 Тот полубог прямой,  
 Кто выманить, сорвать твой поцелуй умеет;  
 Но тот завиднейшей судьбой,  
 Но тот бессмертьем насладится,  
 Чьей смелою рукой твой пояс отрешится!

2.

Родокла слишком уж гордится красотой:  
 Едва ли удостоит взглядом,  
 Когда встречается со мной!  
 Вчера, прокравшись тихо садом,  
 Повесил я венок на цепь ее дверей:  
 Но что ж? надменная венок мой разорвала,  
 И самые листы ногами растоптала!  
 О, поспешите ж к ней скорей,  
 Ты, старость, вы, морщины!  
 Пожните прелестей цветы,  
 Смирите гордость красоты!  
 Вас умоляют все мужчины!<sup>10</sup>

Все эти стихи были написаны не для Пономаревой и не обращены к ней. Это был цикл «Из антологии», прочитанный Панаевым в двух литературных обществах — «Михайловском» и «ученой республике» — 18 и 21 апреля 1821 года и затем напечатанный в «Соревнователе»<sup>11</sup>.

Панаев записал в альбом литературную новинку, плод своего поэтического творчества, обсужденный и одобренный петербургским ареопагом словесности.

Но, став альбомной записью, уже известный поэтический текст попадал в новый контекст — альбома и бытовых, личностных взаимоотношений, получая новые, не предусмотренные заранее смыслы.

И здесь нам нужно немного отвлечься, чтобы рассмотреть эти смыслы исторически.

Когда в 1828 году — через семь лет после описываемых событий — вышел в свет «Граф Нулин» и журналисты обвинили поэму в безнравственности, Пушкин писал:

«В одном журнале сильно напали на неблагопристойность поэмы, где сказано, что молодой человек осмелился войти ночью к спящей красавице. И между тем как стыдливый рецензент разбирал ее как самую вольную сказку Бокаччио или Касти, все петербургские дамы читали ее и знали целые отрывки наизусть <...> Что сказали б новейшие блюстители нравственности <...> о чтении «Душеньки» и об успехе сего прелестного произведения? Что думают они о шутливых одах Державина, о прелестных сказках Дмитриева?»<sup>12</sup>

Нам важна здесь историческая перспектива. За каких-нибудь три-четыре десятилетия изменился литературный этикет. Пушкин замечал совершенно справедливо, что «Граф Нулин» уступает в «вольности» сказкам Дмитриева и Богдановича; «шутливые оды Державина» были, пожалуй, еще более откровенны. Если же мы заглянем дальше, в глубь восемнадцатого века, мы найдем у Сумарокова песни и эклоги, на которые не решился бы Дмитриев. Притом это была не потаенная литература, а известная публике по журналам и печатным сборникам. «Душенька» и сказки Дмитриева принесли славу своим творцам. Если бы они были созданы в середине двадцатых годов, они тоже подверглись бы обвинению в безнравственности, — и более того, — почти наверное были бы запрещены цензурой. Но как классические произведения они читались повсеместно, в том числе, конечно, и «дамами»; знание их было обязательно для культурного человека.

Мы не напрасно начали со слова «этикет». Этикет — общепринятые формы внешнего поведения, разные для каждой эпохи и социальной среды. Эти формы связаны с глубинными слоями общественного сознания, — но связаны не прямо, а опосредованно, и они всегда — некоторая общественно значимая система условностей. С такой системой условностей мы имеем дело и в нашем случае. Пределы этически допустимого в литературе определяются в конечном счете нравственными нормами общества, — но мы не рискуем бы утверждать, что русское общество 1830-х годов, проповедовавшее мораль в литературе, было «нравственнее», чем зачитывавшаяся эклогами Сумарокова культурная элита 1770-х годов. Мы знаем разительные примеры разрыва между этикетом и реальной практикой общест-

венного поведения, — вспомним нападки Лермонтова на «ледяной, беспощадный свет». Не в меньшей мере ощущается этот разрыв в индивидуальных судьбах и индивидуальном творчестве. Ни Богданович, ни Сумароков, ни Державин не навлекли на себя обвинений в излишнем гедонизме; Дмитриев вообще чуждался женщин и умер холостяком, — между тем моралист Бестужев-Марлинский вел жизнь довольно бурную, и по иронии судьбы строгий критик «Графа Нулина» Н. И. Надеждин был обвинен именно в нарушении моральных норм сословного общества. И здесь не было никакого лицемерия, — потому что творчество подчинено закону этикета в большей мере, нежели единичная биография.

Так рисуется проблема в ее «вертикальном», хронологическом разрезе.

Но для литературы существует еще «горизонтальный», синхронный разрез, — и здесь нам приходится говорить не только об общественном, но и о специфически литературном этикете. В начале XIX века действовали законы жанра. То, что Сумароков свободно вводил в эклогу, он никогда не позволил бы себе в элегии. Дмитриев, автор эротических сказок, осуждал за «чувственность» «Руслана и Людмилу», — все же поэму, хотя и шуточную. В анакреонтических, антологических стихах действовали иные этические законы, нежели в элегии или даже в романсе: они освящались вековой традицией<sup>13</sup>.

Автор прочитанных нами только что эротических стихов «из антологии» был моралистом настолько последовательным, что его постоянно упрекали в слащавости. Герои и героини его идиллий — пастушки столь невинные, что поцелуй для них — душевное потрясение. Конечно, здесь уже действует жанровый этический закон идиллии, — но Панаев писал и новеллы, и повести, и послания, везде выдерживая моралистический и дидактический тон. В сороковые годы он сожалел, что литераторы перестали интересоваться «нравственными сюжетами»<sup>14</sup>.

«Сюжеты», вписанные им в альбом Пономаревой, не были «безнравственными»: они были санкционированы законами времени и жанра. Как мы уже сказали, стихи эти и не были ей адресованы, — и, может быть, она сама захотела иметь в альбоме последние произведения своего знакомца. Уже по одному этому в них нельзя прочесть никакого намека на какую-либо интимность. Впрочем, такой намек был бы и невозможен в альбоме, в который все пишут и который все читают.

Но даже при всех этих поправках стихи были знаком устанавливающей короткости отношений. И в этой короткости была своя демонстрация.

Вспомним, что до сих пор все писали Пономаревой только галантные мадригалы, — все, исключая Баратынского, о котором речь еще впереди. Даже Измайлов не решился внести в альбом любовные стихи. Панаев сделал это — и притом с гласного или молчаливого одобрения хозяйки, которая становилась, пусть и косвенно, — их адресатом. Здесь был элемент игры, которую так любила Софья Дмитриевна: безотносительно к адресату это была просто «антология»; стоило подставить его — она приобретала пряный вкус запретного плода. И эта вторая функция их не ускользнула от зоркого взгляда прочих поклонников Пономаревой.

30 мая Панаев записывает в альбом Пономаревой свою идиллию «Ревность», — идиллию старую, сочиненную еще в 1819 году и перепечатанную в только что вышедшей книжке<sup>15</sup>.

О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ

31 мая 1821

Я знаю, что мне не следовало бы больше писать вам, сударыня! может быть, я и виноват перед вами; но вы, сударыня, вы, божество по облику, по уму, по сердцу, — вы должны были бы обладать и божественной добротой, вы должны были бы простить человеку, у которого голова идет кругом, помрачен разум, чье сердце больно, и больно без надежды на исцеление. Я просил вас как о милости, как о жизни написать мне собственной рукой приглашение на понедельник; записка сказала бы мне, что я еще не совсем пал в вашем мнении, что я не презрен, не изгнан. Я напрасно прождал день, записка не пришла, и я в смертельном беспокойстве, которое не утихло и посейчас.

Да, сударыня, все укрепляет мои подозрения; вы не захотели подтвердить мне их прямо только из человечности, чтобы не ввести в отчаяние того, чьи чувства вам хорошо известны. Сказать ли вам, сударыня? ведь я нарочно, когда в мой последний визит остался наедине с вами, позволил себе слово ласки: это был пробный камень, своего рода проверка. Вы поспешили ответить мне с суровым видом и холодным тоном: «Какая ласка?» Тогда-то мне и стала ясна моя участь; я был совершенно растерян, как вы могли понять по нескольким бессвязным словам, которые я пролепетал вам в ответ. Будьте же хотя бы раз искренни со мною, сударыня! скажите, что я неприятен, докучен вам: такое признание станет с этого времени направлять мое поведение.

Что за необъяснимая вещь сердце! несмотря на попытки, которым я подвергаюсь, несмотря на печальную уверенность, что мне больше не рады, оно бьется только для вас; мое воображение полно вами; прогуливаясь, я встречаю даму с вашей фигурой, и мне кажется, что это вы; пишу за столом, поворачиваю голову — и вижу рядом вас. Это какая-то белая горячка, я брежу, сударыня, не сердитесь, пожалейте меня. Ах! как я завидую... не смею окончить: мой небесный отец разгневался бы... покоряюсь ему.

Несчастный! и я смею еще повергнуться к вашим ногам, сударыня!

Ваш покорнейший и  
преданнейший слуга  
О. Сомов.

## ДНЕВНИК О. СОМОВА

Я заплатил бы жизнью, если бы мог быть хоть раз счастлив с нею; клянусь, что даже сейчас, когда хочу забыть ее, если бы мне сказали: твое желание будет исполнено, но через час ты погибнешь в страшных муках, — я не поколебался бы. Напрасно она декламировала против чувственной любви и в пользу платонической; она не создана для последней. Эти соблазняющие взгляды, это дыхание, источающее наслаждение, эти позы и произвольные жесты, столь сладострастные, способные вдохновить и довести до исступления пылкого любовника, эти полуслова, приоткрывающие рай, — все это никак не соответствует сладостному и монотонному томлению платонической любви.

В последнее время она совершенно изменила свое поведение со мною. Она дулась на меня, она упрекала меня даже за желание быть счастливым во время этого рокового свидания. Я видел тогда же ее победу и мое поражение, я видел, что потерял в ее мнении и что она хотела бы торжествовать полностью, отняв у меня и ту тень счастья, которую она однажды согласилась мне дать. Она рассчитывала уязвить, оскорбить меня, отдавая на моих глазах предпочтение то тому, то другому. Бесперывно разговаривая в стороне с другими, она не оставляла мне возможности перемолвиться с ней двумя словами; если же я оставался наедине с ней, она принимала недоступный и какой-то презрительный вид, которым она, без сомнения, хотела подавить меня. Она ошибается: я лучше, чем кто-либо, знаю, насколько скромны мои достоинства, и в особенности знаю свою внешность — внешность человека ординарного и мягкого, которую никогда не трудился исправить. И в последний раз, зная, что я пришел, она специально звала свою горничную то взять книгу, то принести подушку, недвусмысленно говоря этим: я знаю, что ты здесь, но я хочу тебя обидеть, оскорбить... И зачем? по пустому капризу... О, этому нет имени... Я решил твердо: прощайте, сударыня! Мне двадцать восемь лет, и я устал быть игрушкой ваших фантазий; пора и отдохнуть.

31 мая 1821, в три часа пополудни.

Она не хочет больше меня видеть! Да, это доказательство, что она презирает меня, — но почему сюда примешивается еще и злая насмешка? Она прислала свою горничную сказать, что мне стыдно уходить и что если у меня есть для нее записка, то я могу передать ее через горничную. Итак, нужны письма, а не их автор, они доставят приятное чтение кому-то более счастливому, чем я. Тем не менее я покорился этому новому унижению, передал письма и изречение, которое я приготовил для нее, ничего не сказал горничной и вышел. Сердце мое разрывалось, голова разламывалась, в висках стучало как никогда в жизни; я был близок к обмороку. Я все время шел, забыв,

что на Неве есть лодки, так что, когда я пришел в себя от моих мечтаний, я находился уже у Троицкого моста. Я проскользнул вдоль сада, никем не замеченный; к несчастью, меня узнали Плетнев с женой, и я принужден был пройти с ними. Проходя мимо одной скамейки, я увидел ее отца, и как ни был я мало расположен встречаться с теми, кто мне о ней напомнит, я почтительно приветствовал доброго старика.

Вернувшись к себе, я непроизвольно, не отдавая себе отчета, достал свои пистолеты, которых не брал со случая с С... Конечно, я не собирался пустить себе пулю в лоб, — но к чему эти пистолеты, порох и пули? Еще минута, — и при моем характере, склонном к мгновенным вспышкам, я бы, может быть, сделал это. Но добрый старик Шубников принес мои платки, которые прачка ему оставила в мое отсутствие; он увидел пистолеты, мой угрюмый вид и, кажется, перепугался. Я успокоил его, сказав, что мы сейчас отправляемся на дачу и, может быть, они мне пригодятся для большей безопасности во время уединенных прогулок по лесу; кажется, он этим удовлетворился. Через полчаса я пришел в себя.

В 5 часов.

За обедом князь, поскольку был вторник, спросил меня, почему я не обедаю у своих знакомых. Мадам Гол... бросила на меня испытующий взгляд. Я смешался, мне было не по себе, я что-то пробормотал князю, и это что-то было бессмыслицей.

Бедный Архип! умереть в 26 лет! такой славный, такой превосходный малый; как он служил нам — по пути, в Париже, и как был ко мне привязан! Князь очень плакал; я проливал слезы, вспоминая скорее о друге, чем о преданном слуге, — ибо участие, какое он мне выказывал, было более нежным и сердечным, нежели заботливость слуги. Князь не мог уснуть всю ночь; он наградил сиделку бедного Архипа. Как он был прилежен, изучая французские и немецкие слова во время путешествия, этот бедняга! как он по-своему рассыпался в любезностях перед маленькой женовкой в Париже. И умереть в 26 лет, в самом расцвете сил! Но я завидую тебе, добрый Архип: тебя больше не будут мучать. Покойся в мире.

1 июня 1821, в 6 часов утра.

Вчера в 7 часов я пошел в общество Соревнователей. Придя, я не застал никого, ни единой души; двери были еще заперты. Я зашел к Меньшенину, но он ушел еще до полудня. Я постучал к Булгарину, к Яковлеву, к Сенковскому, — никого. Яковлев, как сказали, обедает у нее; может быть, она расскажет ему о моей мнимой невежливости: она возводит подобные обвинения на тех своих знакомых, с которыми поступает несправедливо. Однако, что делать? Отправиться обратно? путь слишком долог, и к тому же в половине девятого нужно



снова возвращаться. Что ж, станем бродить без цели и надобности. И вот я у Большого театра. Дают «Двух Фигаро»<sup>16</sup>. Зайдем, чтобы убить время. Я занял место князя; аплодировал репликам против женщин, которые напоминали мне мое собственное положение. О, как я зол! зол на весь этот пол! Я погрузился в долгие размышления, перебирая в памяти все, что я вытерпел от этого вероломного пола. Я пробегал в воспоминании те обещания, которые я получал от моей очаровательной кузины, ветреной Нанины; потом вспомнил легкомысленную Аннету Л...вич, потом Антуанетту Т...ржевскую и задержался лишь на воспоминании о милой Жозефине. Эта не хотела меня обманывать, она не подавала мне никаких надежд, но любила меня любовью друга. Добрая, милая Жозефина, ты плакала, уезжая из В...тена, ты говорила мне: если вы будете когда-нибудь во Франции, навестите меня. И я был в Яселлоне, в шести лье от Сен-Дьеза и не мог повидать тебя. Прими мой вздох, добрая Д...

Я мечтал, я переносился то в имение моего дяди, то в Харьков, к прелестной Катишь Стр..., то в В...но, то в Польшу; часы летели. Но вот я пробужден от моих мыслей голосом, который здоровается со мной; я оборачиваюсь и вижу г-на Флери; спрашиваю у него, который час. Было девять, говорит он. Я поднимаюсь и спешу в общество, чтобы попасть во-время. Меня очень дружески встречают Глинка, Булгарин, Баратынский, Дельвиг и пр. Я заставляю себя смеяться вместе с ними и неплохо играю свою роль. Я предложил полковника Норова в члены общества; в понедельник, в восемь часов, его будут принимать; в четверг предупрежу его.

В полночь я снова зашел к Яковлеву и застал у него Бахтина. Мы коснулись в разговоре некоторых высокопоставленных лиц и смеялись от чистого сердца. Общество этих молодых людей для меня чрезвычайно приятно, особенно когда мы троим. Ум без претензий, истина в наблюдениях, верный такт — вот их характерные черты; все вместе приятно и поучительно.

Она ничего не сказала Яковлеву на мой счет. Она дует на него.

Я вернулся в два часа и лег спать; против моего обыкновения я не мог ничего читать, потому что не имел духа для чтения.

Сегодня проснулся в шесть часов, с тяжелой головой и пустым сердцем.

Думал о том, что предпринять. Не появляться там больше — самое спасительное средство для моего успокоения, но оно нарушило бы приличия и возбудило бы подозрения у мужа. Зачем же я стану компрометировать ее? Лучше всего было бы убедить князя как можно скорее отправиться в деревню, — это послужило бы достаточным извинением и избавило бы меня от унижения быть и дальше игрушкой ее капризов.

Мой Шидловский должен приехать через несколько дней. Княгиня Варвара много рассказывала мне о нем. Вот друг, на груди кото-

рого я успокоюсь от мук, которым я подвергался в его отсутствие. В самом деле, если бы он был здесь все это время, я был бы с ним и с его любезной супругой, и я бы не стал слушать Яковлева, который непременно хотел познакомить меня с домом г-жи Пономаревой. Он убеждал меня, что меня хотят видеть в доме; я ожидал удовольствия от знакомства с совершенной женщиной, у которой обширные знакомства и обилие талантов, которая любезна, весела и т. п. Ее муж был два раза на вечерах у Измайлова, мы познакомились, он пригласил меня к себе и я принял приглашение, вовсе не имея в виду им воспользоваться. Однажды вечером я зашел к Яковлеву, у которого был молодой португалец и Бахтин; мы беседовали, и вдруг в передней послышался женский голос. Я уже собирался сказать комплимент Яковлеву, когда он произнес: «Это С... Д...». Я увидел, что вошла молодая дама; в ее спутнике я узнал г-на П...рева; мне кажется, что я узнал и другого, которого где-то видел; мне смутно помнится, что это г-н Т...нов, которого я встречал в Харькове.

Эта первая встреча не произвела на меня большого впечатления: я нашел в ней очень любезную даму, мило щебечущую; я старался, насколько мог, быть при ней веселым и светским; мне казалось поначалу, что мне не угрожает никакая опасность. Это придало мне, может быть, излишнюю свободу и болтливость в тот вечер. Я не люблю принуждения, но в этот раз я сел за партию виста, который я ненавижу, что делал и впоследствии множество раз. Я говорил себе, что это уже слишком, и тем не менее продолжал, все время давая почувствовать, что не люблю ни принуждать себя, ни прятать свои небольшие достоинства за личиной ложной сдержанности; не знаю, понравился ли я этим или нет. Случайно мне выпала честь дважды подряд сыграть робер вместе с Мадам; г-н Бахтин, старший брат Николая, захотел блеснуть своим острословием, заметив, что мы неразлучны; вежливость требовала, чтобы я ответил комплиментом, и я сказал, что это для меня счастье. Дама вскоре прервала партию; мне показалось, что она слегка задета. Минутой позже я услышал, как она говорит Ивану Бахтину: что означает этот комплимент? Мне показалось, что речь идет о моем комплименте, но я сделал вид, что не обратил внимания, и настроение мое не изменилось на протяжении всего вечера. Уходя дама наговорила мне кучу любезностей, например, что она была бы польщена видеть меня у себя и т. д. и т. п. Я кое-как отвечал, и мы расстались.

В первый же раз, что я был у нее, я был очарован: в ней прелестная веселость, много ума, естественная живость, иногда чувство. Я никогда больше не видел ее в таком настроении. Я могу похвастаться, что вначале она была ко мне внимательнее, нежели к Панаеву или кому-либо еще из моих знакомых, с которыми она просто ребячилась; последующие сравнения должны были льстить моему мелкому тщеславию. Однако я всегда держался твердо, сохраняя вежли-

вость и безнадежную сдержанность, и даже потом, посвящая ей весьма нежные стихи, я всегда был осторожен и даже холоден в своем внешнем обращении. Однажды даже, при прощании, когда она спросила, когда я появлюсь снова, и я ответил, что мое единственное счастье — видеть ее как можно чаще, она заметила, что меня не поймешь, что я пылок на словах и холоден в сердце. Это уже было предупреждением: кто-нибудь более благоразумный и более недоверчивый, чем я, понял бы, что за эту мнимую холодность не замедлит последовать отпущение, — но я не хотел принимать меры предосторожности и дал поймать себя в сети.

Конечно же, мстя за мое равнодушие, она удержала меня у изголовья своей постели 24 апреля. Она сумела отослать всех, но из предосторожности оставила дверь спальни открытой. Она говорила мне о доверенности, какую ко мне питает, о том, что предпочитает меня всем остальным; все это сопровождалось взглядом столь нежным, столь ласковым выражением, что я забыл свои благие намерения быть бесстрастным. Ее плечо обнажилось, потом перед моими глазами открылась грудь. Я потерял власть над собой, я покрывал, пожирал поцелуями эту прекрасную грудь, которая, казалось, создана только для любви и наслаждения, моя дерзкая рука ласкала эту алябастровую шею; я дрожал, я переносил пытку; именно с того момента я посвятил себя ей, — и, безумец! дал ей в этом клятву. Она сказала мне, что я хочу ее погубить, — и бог весть, чем бы это кончилось, если бы не вошел Яковлев под предлогом, что он хочет принести ей извинения. В эту самую минуту губы мои были прижаты к ее губам, она даровала мне поцелуи, которые проникали все мое существо, в глаза ее была истема, еще момент — и может быть, я испил бы чашу блаженства... Но нет! все это было лишь притворством; она видела, что оно — единственное средство приковать меня к своей победной колеснице, и она решила пренебречь некоторыми условностями, чтоб достигнуть своей цели... Безжалостный Яковлев увлек меня из ее комнаты; смущенный, вне себя, я не сопротивлялся; я вошел в кабинет г-на П...рева и оставался там довольно долго, прежде чем опомнился; я дрожал от головы до ног, трепетал от наслаждения, вспоминая эту сцену, которая до сих пор остается для меня самым сладостным воспоминанием и потрясением, подобным электрической искре, которая прошла через все мое существо.

2 июня, 11 часов утра.

В эту минуту хоронят бедного Архипа; я видел мельком его бледное, искаженное лицо и чувствовал спокойствие смерти, царствовавшее у изголовья его гроба. Вечная память, добрый, любезный Архип!

Г. А. Туманский прислал сообщить, что мой милый Василий возвращается из путешествия и уже в дороге; какие-то новости он привезет из Парижа?

Флери мне недавно сказал, что тоже получил письмо от г. Руссо. Так как я тоже получил письмо от Мадам, через молодого мещанина, и так как эти письма не содержат ничего интересного, а разве семейные новости, я даже не буду просить г. Флери дать мне прочитать последнее письмо. NB<sup>1</sup>.

Нужно зайти также к княгине Голицыной, чтобы узнать, нет ли новостей о князе Алексее, и справиться, нет ли там записочки для меня. Я очень боюсь последствий дуэли, которая предполагается у него с графом Меллером. Итак, все знакомые, которых я узнал у княгини Полины, рассеяны по лицу земли!

Мар<ье> в Лайбахе, другой собирается стреляться, остальные отправились на войну бог знает с кем!

Половина второго.

Утром читал «Иерусалим» Тассо. Не знаю, почему, но как только я нахожу что-то красивое, привлекательное, чарующее, я всегда ищу сходства с нею, намека на нее. Всегда она! Она владеет всеми моими мыслями, и все же я решился забыть ее или по крайней мере не думать о ней. Описание Армиды, явившейся в лагерь Готфреда, показалось мне ее портретом; я искал в нем улыбку, взгляд моей обольстительницы, но вот место, которое меня особенно привлекло:

E in tal modo comparte i detti suoi,  
E il guardo lusinghiero e in dolce riso,  
Ch'alcun non è che non invidii altrui,  
Nè il timor dalla speme è in lor diviso.  
La folle turba degli amanti, a cui  
Stimolo è l'arte d'un fallace viso,  
Senza fren corre, e non li tien vergogna  
и т. д.

Вчера, возвращаясь от г. Остолопова, я нарочно пошел по Стремянной (?) улице, чтобы испытать удовольствие пройтись по той же мостовой, по которой я столько раз ходил к ней. Мне казалось, что я иду из ее дома в самой середине апреля месяца, когда еще голова моя была полна мечтами о воображаемом счастье; при этой мысли непонятное удовольствие вдруг охватило мою душу, — но вскоре я спустился с облаков и мысленно вздохнул о печальной действительности, которая осталась мне в удел.

---

Нам стоит задержаться несколько на этой интереснейшей записи. Не пройдет и полутора месяцев, как в пономаревском кружке возникнет специальная тема «Армада», — и ее, без сомнения, предложит сама хозяйка.

<sup>1</sup>NB. Тем не менее надо не забыть написать ответ г-же Руссо отдать Леклерку или Лабинскому для передачи ей.

Она будет поручена Измайлову, — и, кажется, Измайлов не справится с этим поэтическим заданием. Он не представит нужных стихов, — а в специальном послании к Софье Дмитриевне будет оправдываться:

Все думаю теперь я об Армиде.  
 Что мне сказать об ней, когда сказал все Тасс?  
 Мне представляется она, но в вашем виде.  
 Есть, правда, разница меж вас:  
 Она блондинка — вы брюнетка;  
 Шалунья вы — она кокетка;  
 Армида так томна — София весела;  
 Армида хороша — София же мила<sup>18</sup>.

Измайлов предлагал в своей обычной манере образчик «легкой поэзии», лукаво-иронически отказываясь от сколько-нибудь глубинных параллелей. Сомов — первооткрыватель темы, которому вовсе не до шуток, нащупывает именно их. Он погружен в психологические наблюдения и самонаблюдения и в хрестоматийном образе обольстительницы из рыцарской поэмы ищет психологического содержания. Едва ли не единственный из многочисленных русских почитателей Тассо, он обращает внимание на те места в обширной поэме, где описывается техника любовной игры, столь знакомая ему по собственному его неудачному роману:

...И каждому вид кажется особливый,  
 Ни одного душою не любя...

Когда же чувствует угасание любви в поклоннике, она стремится вновь пробудить его страсть ободряющим взглядом или улыбкой, пока не растопит лед, рассказывает Тассо в строфе LXXXVIII четвертой песни, и поражает гневом тех, кто слепо предается своему влечению (строфа LXXXIX), — но и здесь не вовсе лишает его надежды.

Но если кто уныл, в надеждах зыбок,  
 Чуть намекнет о муках ей, — тогда  
 Как бы в любви невинная, являет  
 Вдруг вид такой, что слов не понимает.

#### XCIV

И, вдруг смутясь, потупя взор с гордыней,  
 В лице вся вспыхнет, с гневом на устах...

Все это Сомов описывал в своих собственных письмах. Последние же записи его как будто развертывали XCV строфу той же песни Тассовой поэмы:

Когда ж поймет из чьих-нибудь движений,  
 Что ей открыть он страсть свою спешит, —  
 Того бежит, иль высказать ей пени  
 Ему даст повод, иль опять лишит.  
 Так проведя весь день, средь заблуждений  
 Он без надежд измученный стоит...<sup>19</sup>

Сумрачный безумец, которому легенда приписывала безнадежную романтическую страсть, заключил в этих строках любовный опыт, почти не изменившийся за двести сорок лет. Он подверг этот опыт осмыслению, рефлексии, отделив его от собственной личности и воплотив в художественном образе. Армида была портретом, в котором дышала человеческая жизнь. Ее можно было узнавать в живых людях, — и Сомов сделал это. Облик старинной обольстительницы сквозил в его письмах; в дневнике он нашел самое слово и произнес его.

Ни в лирике, ни в повестях Сомова мы не найдем, однако, ни подобного образа, ни подобного анализа. Он остается достоянием писем и дневников. Русская проза двадцатых и даже тридцатых годов — еще не психологическая проза. Почти через двадцать лет Лермонтову придется полемически уравнивать в правах историю общества и «души человеческой»; сейчас последняя — еще частное дело, область эмпирического быта, еще не вызванная к жизни литературным сознанием. Но процессы тайного взаимопроникновения, диффузии идут неуклонно — и Орест Сомов берет в руки рыцарскую поэму, ища в ней современного жизненного содержания.

И, конечно же, Пономарева делает то же самое. Вероятно, Сомов обмолвился о сходстве ее с героиней Тассо, и мы вряд ли ошибемся, предположив, что она раскрыла четвертую песнь «Освобожденного Иерусалима». Она должна была узнать модель своего собственного поведения, но, в отличие от Сомова, посмотреть на него не извне, а изнутри, отдав себе отчет в своих тайных стимулах и побуждениях. И тогда она задала Измайлову тему для рассуждения, в котором ему предстояло раскрыть психологию Армиды, то есть сказать то, чего «Тасс» «не сказал». Измаилов отшутился: выполнить задание он не хотел — или не мог.

Когда метод историко-психологических параллелей из салонной игры перейдет в область эстетического сознания, в русской литературе появятся «Египетские ночи».

## ДНЕВНИК О. СОМОВА

3 июня, в 7 часов утра.

Вчера в 7 часов я отправился на заседание общества в Михайловском дворце. Застал там Греча. Мы говорили (то есть мы с ним) о нынешних событиях во Франции и в нашем отечестве. Он рассказал мне о многом, что есть в либеральных журналах, между прочим, о голосовании ультра за то, чтобы дети протестантов воспитывались в католической вере. Они что, с ума сошли, эти молодчики? они принимают французов за избирателей?

На заседании единогласно избрали Булгарина, которого предложил я; это дало Гречу повод для замечания о плодах цивилизации и о просвещении века, — ибо литературный противник предлагает своего врага и оба нежничают друг с другом, как истинные друзья, и т. п.

Измайлов спрашивал у меня новости о Мадам. Я ничего не мог ему ответить, так как не видел ее уже шесть дней.

Греч разрешил мне написать к Каченовскому, чтобы предупредить его о злой и очень низкой пародии, которую Воейков собирается напечатать на него в «Сыне отечества». Греч даже просил меня написать ему об этом; у него были большие баталии с Воейковым по этому предмету, — и так как он не мог воспрепятствовать помещению этой статьи, он оставил своего милого приятеля поступать по своему усмотрению до 1 января 1822 г., а потом они расстанутся.

Булгарин намерен прочесть жестокою диатрибу против Воейкова под названием «Печать отвержения».

Мы вышли с Гречем около 9 часов, чтобы идти к Булгарину. По пути говорили о Мадам. Я с большим жаром говорил о ее прелести, уме и талантах. Греч заметил: жаль, что она этого не осознает.

Булгарина мы не застали; я потом пошел к Яковлеву и к Бахтину, но тоже не застал ни того, ни другого. В половине одиннадцатого я вернулся домой, хотел сесть писать, и в этот момент постучали. Я открыл дверь и увидел входящего Яковлева; спросил его о новостях о Мадам, но он тоже ее не видел со вторника. Мы решили отправиться к ней завтра (т. е. сегодня). Посмотрим, что она мне скажет. Не знаю, но после вторника мне бывает у нее не радостно, а неприятно. Думаю, что вид у меня будет печальный, но я постараюсь сдерживаться и казаться веселым, безразличным, насколько это удастся.

Пришли передать мне приглашение от князя на чашку чаю. Прерываю мой дневник, чтобы вновь приняться за него завтра или сегодня вечером.

Здесь нам вновь нужно остановиться. Запись выводит нас за пределы интимного мира Ореста Сомова. В ней слышатся дальние отзвуки литературных сражений, которые вскоре дадут себя знать в литературном салоне Пономаревой.

Мы помним, что без малого год назад Сомов обещал Измайлову, что начнет атаку против Жуковского и «новой школы». Журнальная война уже шла с января 1821 года. На стороне Сомова был Цертелев; против — Греч, Булгарин, Воейков, Бестужев. Но баталии не были окончены; напротив того, они только начинались, и в полемику втягивались все новые имена. Князь Цертелев еще в начале прошлого года ратовал в «Благонамеренном» против Дельвига, ученика Жуковского, как и он, предающегося «тайнственным мечтаниям» по образцу немецких поэтов<sup>20</sup>, — а в скором времени к нападкам на «мистицизм» добавились и другие. Стихи всей этой молодежи прославляли вино и чувственные утехы; они были безнравственны.

Всегда тверди сто раз одно:  
Звон чаши золотой, пенистое вино,  
Восторг любви, конец желаний  
Есть — сладострастие!

Так значились в пародийных «Правилах нынешних молодых поэтов», опубликованных в журнале Измайлова еще в начале 1821 года<sup>21</sup>.

Цертелев писал 25 марта 1821 года графу Хвостову о харьковских дарованиях, «не зараженных еще духом новой школы: пиитическим буйством и мистицизмом», о чем он не может вспомнить «без досады». «Скажите, ради бога! долго ли будут потчевать нас бесстыдством и таинственностью? долго ли самозванцы *небожители* будут говорить языком, которого смертные не понимают, а боги не хотят слушать? что будет с нашею литературою, если этот вкус еще несколько лет процарствует?»<sup>22</sup>

Итак, «бесстыдство» и «таинственность». Любовные стихи Дельвига и Баратынского, сцены в «Руслане и Людмиле» оскорбляли в критике чувство нравственного, но антологические стихи Панаева он готов был принять, и сам, случалось, писал в анакреонтическом духе.

Такова условность литературной этики.

В тот день, когда произошло описанное Сомовым заседание, чтений в обществе не было. Это было публичное собрание, где обсуждали вопрос о программе торжественных чтений, назначенных на 15 июля, день юбилея общества<sup>23</sup>. Но за неделю до этого, 26 мая, когда Сомов также присутствовал и даже читал свою «Песнь о Богдане Хмельницком, освободителе Малороссии», элегик А. А. Крылов выступил вдруг со стихотворным памфлетом. Он назывался «Вакхические поэты» и был направлен против прежних друзей Крылова — Дельвига, Баратынского; именно их поэтический венок, «обрызганный вином», должна была, по мнению Крылова, поглотить река забвения. Эти стихи были вызовом — и на них Баратынский готовил ядовитый ответ, который и был напечатан несколько месяцев спустя<sup>24</sup>.

Однако вернемся к дневнику Сомова.

4 июня 1821 в 7 часов утра.

Я был у нее. Я провел у нее весь вчерашний день. Яковлев не пришел; я застал у нее Панаева и этого вечного Лопеса, впрочем, славного малого: он много раз приглашал меня к себе, и, поскольку я намерен изменить теперь мое поведение с нею, я с удовольствием посещу его в одно из воскресений.

Какой холодный прием она мне оказала! У нее был немного недовольный вид, когда она справлялась о моем здоровье; я ответил, что чувствую себя *прекрасно*. Минутой позже Лопес попросил разрешения откланяться под предлогом поездки на охоту или чего-то в этом роде. Она побежала за ним, якобы для того, чтобы остановить увязавшуюся за ним собаку. Я видел эту уловку и остался в комнатах. Через четверть часа я вышел подышать воздухом и заметил ее у дальнего угла канатной фабрики. Так как они с Лопесом наверняка меня видели, я решил присоединиться к ним. Он ушел, и я проводил Мадам в комнаты. Там произошел короткий разговор наедине, во время которого она упрекала меня, что я не дождался ее во вторник и уехал не повидавшись; как и следовало ожидать, она еще раз произнесла обычную длинную проповедь относительно моих претензий и т. д. и т. п. Ее супруг и Панаев вышли к нам, и переговоры окончи-



лись. Я хотел тотчас же уйти, но она принудила меня остаться. Меня подогревало любопытство, и я отпустил моего кучера. После завтрака она села за пианино, и я стал просить ее спеть «*Ragazze <1 нрзб.>*», что она исполняет прелестно. Панаев напомнил ей о моем романсе «Ты мне велишь пылать» и т. д.<sup>25</sup>, она спела и его. Это мне было неприятно; я хотел бы никогда не сочинять этого проклятого романса, ибо он был пробным камнем моих чувств. Поэтому я быстро взял трость и шляпу и вышел прогуляться до дачи графини Безбородко.

Возвращаясь, я встретил Мадам с Панаевым, которые тоже вышли на прогулку. Вежливость требовала, чтобы я присоединился к ним, что я и не преминул сделать. Во время разговора зашла речь о Яковлеве; я сказал ей, что она плохо с ним обошлась, и тем самым дал простор ее выпадам против претензий и т. д. и т. п. Он хочет, сказала Мадам, чтобы все занимались исключительно им, он думает, что им пренебрегают... (NB. Он тут не при чем, это сказал ей я в одном из моих писем, так что я прекрасно понял, кому это косвенно было адресовано). Вернувшись, я сильно насмешил ее за обедом, так что в результате у нее начался нервный припадок. Как жаль, что такая прекрасная телесная организация подвержена истерическим припадкам! У нее, которая должна была бы быть воплощением здоровья, исчислять всю жизнь моментами наслаждений, — у нее слишком слабые нервы: сколько-нибудь сильная радость, сколько-нибудь чувствительное огорчение выбивают ее из колеи и стоят ей часов страданий.

Все время этого посещения я, однако, чувствовал, что она хочет меня огорчить. Несколько раз она принималась оскорбительно смеяться, стремилась дать Панаеву выделиться на моем фоне и т. д. и т. д. Один раз Панаев сказал какую-то глупость, опрометчивость на мой счет, причем совершенно того не желая; она смеялась до колик. Она думает меня задеть, и ошибается: я разгадал ее намерение и смеялся вместе с ней. Чтобы привести меня в замешательство, требуется совершенно другое. Она не знает моего характера: ей неизвестно, что я снесу все от женщины, в особенности прелестной, но не стану ничего терпеть от мужчины, что я умею в словесных стычках отвечать на выпад выпадом и не однажды уже показывал и твердость, и умение владеть достаточно грозным оружием.

Я ушел в половине двенадцатого, сказать правду, не очень довольный проведенным днем.

---

Наступал звездный час Владимира Панаева.

В этот день — 3 июня — он вписывает в альбом «*Madame*» элегию «К родине», написанную в 1820 году в Тетюшах, в родовом поместье Панаевых под Казанью, с воспоминаниями о детстве, о волжских ландшафтах и о певце их — Державине. Эти стихи были Панаеву дороги — через много

лет он собирался включить их в свои мемуары <sup>26</sup>, в те самые, в которых он нашел место для хозяйки альбома.

Он вспоминал в них, как мы уже знаем, о своем триумфе и об удалении Поджио и Лопеса. О Сомове он не помнил, — или не счел нужным упомянуть.

«Я остался ближайшим к ней из прочих ее обожателей, — читаем здесь далее, — и вполне дорожил счастливым своим положением. Я очень любил ее, любил нежно, с заботливостью мужа или отца (ей было 22 года, а мне уже 29 лет), остерегал, удерживал ее от излишних шалостей, советовал, как и с кем должна она держать себя, потому что не всякий мог оценить ее милые детские дурачества; надеялся во многом ее исправить, требовал, чтобы она была внимательнее к мужу, почтительнее к отцу своему, человеку достойному и умному. Дело шло недурно: она во многом слушалась меня, в ином нет; нередко прерывала наставления и выговоры мои то выражением ребяческой досады, впрочем, мимолетной, то смехом, прыжками вокруг меня, или поцелуем, зажмурив, однако, узенькие свои глазки. Но вдруг в дом их, чрез Александра же Ефимовича, тоже литератор, Яковлев...» <sup>27</sup>

О Яковлеве речь впереди. Пока же Орест Сомов должен испытать чашу до конца.

Воскресенье, 5 июня 1821

Вчерашний вечер, который я провел у Измайлова, не знаю, почему, был не слишком наполнен. Было человек пятнадцать, почти все мне знакомые. Г-жа Измайлова несколько умерила свою сухость и холодный тон, который она с некоторого времени приняла со мной, потому что я однажды в ее присутствии произнес похвалу прелестной Г-же По...вой. Это было еще в начале моего знакомства с этой милой дамой. Мне показалось, что г-н Княжевич-старший был задет совершенно невинной шуткой. Я никоим образом не собирался обидеть его. Его брат вернулся из Лайбаха и рассказывал мне о своем путешествии в Венецию. Мы разговаривали с Норовым и Остолоповым об итальянской, русской и французской литературе. Я обещал Норову зайти к нему утром в понедельник. Мне очень нравится этот храбрый воин; деревянная нога, этот благородный знак его доблести, есть в глазах соотечественников лучшее ему свидетельство. Я вернулся в половине двенадцатого и у самых дверей встретил Яковлева; он зашел пожелать мне доброй ночи. Мы поговорили полчаса; о Мадам тоже зашла речь; мы говорили о ее любезности, и оба желали ей чуть меньше переменчивости в характере, а также чтобы она не обходилась сурово с людьми, которые ей искренно преданы.

Понедельник, 6 июня, 7 часов вечера.

Вчерашний день полностью примирил меня с ней. Я думал провести этот день совсем иным образом, и в восторге от того, что пого-

ворка «Homo proponit, Deus disponit» (человек предполагает, а бог располагает) послужила на этот раз в мою пользу. Днем я собирался к Гречу на дачу (Отрадное); я встретил его на петербургской набережной, мы поговорили немного и затем расстались. Так как я уже вышел из дому, а обед был еще нескоро, и я не хотел вернуться не сделав кое-каких дел, я и решил заглянуть к Madame. Я уже проходил по Выборгскому мосту, отчаянно хромя по милости калош, которые мне жали, когда заметил г-на Воейкова, ехавшего в двухместных дрожках. Я поздоровался с ним, он остановился и пригласил меня сесть в дрожки; хотя я был бы рад отказаться, но не стал кривляться и воспользовался его любезным приглашением, — и вот мы разговариваем и о плохой погоде, и о непостоянстве петербургского климата, и о лондонских туманах, и о 93-ступенчатой лестнице у Греча, и о болезни г-жи Воейковой, и о талантах и любезности г-на Норова, — одним словом, болтали и сплетничали напрапую от моста до Медико-хирургической академии. Там я попросил его остановиться, сказав, что должен зайти в академию. Мы обменялись множеством комплиментов, и я был счастлив, что избежал более длительного разговора.

Прихожу к Madame, нахожу там Яковлева и Кушинникова, который явился минутой позже. Madame вначале принимает меня довольно сухо. Она хочет удержать Яковлева, который уходит. Собираются на прогулку вместе с г-жой Гоффар и детьми; и в самом деле, она отправляется с ними. Я догоняю ее и подшучиваю, что у нее вид надзирательницы в пансионе; она возвращается домой. Мы обедаем, разговариваем, и неожиданно она дарит мне платок, чтобы носить на рубашке под жилетом. Мы опять собираемся в путь, чтобы идти на дачу, где живут дети г-жи Гоффар: наша компания состоит из г-на Пономарева, Madame, г-на Кушинникова, г-жи Гоффар, Александрины и меня. Madame дает мне руку; мы добираемся до дачи г-на Дурнова и берем лодку, которая довозит нас прямо к даче Безбородко; идем через сад; Madame все время дает мне руку, чтобы вести ее; в конце сада находим полуобрушившийся крытый мост, всего две балки, соединенные посредине моста. Я веду Madame со всеми предосторожностями и вниманием. Гектор остается на середине моста, не смея перейти на вторую балку. Madame в затруднении, как заставить его это сделать; она зовет его, он визжит и остается в нерешительности. Я бросаюсь на мост, беру собаку на руки, всю перепачкавшуюся, переносу на другой берег, — и получаю любезную, даже нежную фразу Madame: «Какая милая попинька. Кто бы поступил, как он!» Эта малость меня совершенно пленила и вновь подчинила ее власти; я не чувствовал под собою ног, я внутренне поклялся навсегда принадлежать ей. В этот момент она показалась мне прекрасна как никогда; и если бы я мог, я бы задушил ее поцелуями; я был готов тысячу раз обнимать ее собаку; но я боялся скомпрометировать ее перед свидетелями. Звук ее голоса, когда она произносит любезные, полные бла-

годарности слова, проникает до самого моего сердца и возбуждает в нем новое пламя; я чувствую себя на седьмом небе и так смущен, так счастлив, что не знаю, что ответить; не хватает ни слов, ни дыхания; я лишаюсь чувств от радости. Нет! никогда ранее я не был так влюблен; тогда я был моложе и чувства еще не были столь глубоки, столь определенны.

Остаток дня прошел для меня довольно приятно. Пообедав, мы отправились на лодке на Крестовский; там я отлучился на некоторое время, присоединился к ним уже в лодке, придумав причины и извинения. Однако она упрекнула с горечью: «Вечно вы устраиваете эти фарсы! очень хорошо!» К несчастью, она промочила ноги; я тоже промок до колен и молчал. Она жаловалась, что на лодке холодно, и я за нее боялся. Добравшись до дома, она по нашим неоднократным и настоятельным просьбам велела растереть себе ноги ромом и потом легла. Она хотела силой удержать г-жу Гоффар, Кушинникова и меня, чтобы мы провели ночь на даче, но затем согласилась нас отпустить. Я приблизился к ней, чтоб попрощаться... Смущенный, я опять увидел эту прекрасную грудь, которая составляет мое мучение; я сделал усилие, чтобы не выдать себя, я почти уже не владел собой. Я напечатлел поцелуй на ее руке и вырвался с этого острова Калипсо.

Я забыл заметить, что она ругала меня неизвестно за какие претензии, когда я попросил у нее прощения неизвестно за какие прегрешения. Потом она смягчилась; она выразила сожаление, что я ей больше не пишу, а я возобновил просьбу позволить мне писать, что мне и было разрешено.

Вторник, 11 часов утра.

7 июня

Я писал почти все утро в понедельник; сердце и голова все время полны ею. В половине первого я вышел, чтобы идти к Норову, которого я не застал дома; затем зашел от нечего делать к Сленину и там нашел моего полковника на деревянной ноге. Он просматривал несколько итальянских изданий. Мы пошли обедать к Талону; затем поднялись к Плюшару, где еще перелистали нескольких из наших любимых итальянцев в ожидании дрожек полковника. Когда дрожки приехали, мы заехали к нему, чтобы захватить стихотворение, которое я буду читать за него в Обществе. Я все больше очаровываюсь этим любезным полковником: ни тени военного чванства, много предупредительности и вежливости; разговор разнообразный и поучительный; он не выглядит столь ученым, каков он есть на самом деле. Вот люди, которых я люблю, — потому что я люблю бывать с теми, кто стоит больше, чем я. Это род эгоизма, я признаю, — я здесь выигрываю, в то время как в обществе тех, кто глупее меня, я теряю

слова и время. Я убежден, что так же поступают и по отношению ко мне, потому что это всеобщее *primo mihi*<sup>1</sup>.

В 7 часов я зашел к Яковлеву; мы еще поговорили о ней; именно она делает разговор приятным. Но я стараюсь всячески скрыть мои истинные чувства от Яковлева, который, при всей своей пронизательности, ни о чем не подозревает. Я думаю, что мы друг друга обманываем.

8 часов. Я пошел в Общество; настаивал, чтобы избрали Норова действительным членом; когда проголосовали, оказалось, что за принятие подано 15 голосов, а против — один; таким образом, он избран почти единогласно. Я передал Глинке послание Норова к Панаеву, где он говорит ему, что человеческая природа портится все более и более; хорошие стихи, только есть несколько неисправностей в стиле. Глинка читал их на том же заседании, и все их одобрили.

7 июня 1821

Вы прощаете меня, сударыня! вы возвращаете мне ваши милости! Нет! я обманываюсь: большая часть вашего существа имеет в себе нечто божественное, и эта прелесть, эта доброта, — все это — небесного происхождения. Ах! достоин ли я единого вашего взгляда, — одного из тех взглядов, которые наполняют таким блаженством всякого, на ком вам заблагорассудится его остановить! О, если бы вы видели, сколько я перестрадал, пытаюсь победить, преодолеть страсть, которая сделалась для моей души тем, чем жизненный дух является для тела, — неотделимой от моего существа. Я думал уже, что потерял навсегда сладостные мечты о счастье, мечты неосуществимые, но тем не менее драгоценные для меня, ибо они представляют образ счастья более совершенного, более осязаемого, которому я смел предаваться только в мечтаниях.

И все же мне кажется, что вы иногда словно сомневались в искренности моей любви. Увы! я ли виноват в том, что это лицо без выражения, эти глаза, лишённые огня, столь слабо выражали то, что я чувствую? Весь пламень, который не одушевлял ни моих глаз, ни моих черт, сосредоточился в моем сердце; в нем ваш алтарь, где вы окружены беспредельным обожанием. Нет! пламень столь сильный не может умереть, даже вместе с моим существом; он переживет его, он будет жить за пределами гроба и станет для моей души прекраснейшим залогом бессмертия. Я увижу там вас, сударыня, вы будете ангелом добра, который приобщит меня к вечному блаженству; без вас я впал бы там лишь в бесконечную тоску.

И вы больше не сердитесь, сударыня? вы искренне простили меня? вы не оттолкнете более сердца, которое бьется только ради вас? Ах! если бы не было свидетелей, я бы тысячекратно расцеловал тогда

---

<sup>1</sup> Сперва мне (выражение, характеризующее эгоиста, — *лат.*).

вашего Гектора, который заставил вас произнести те сладостные слова, которые навсегда запечатлелись в моей памяти; именно он сумел убедить вас хотя бы немного в той любви, которую я к вам пламенею. Судите же сами, сударыня, как я должен ласкать его и могу ли я смотреть равнодушно на создание, которое в некотором роде явилось моим благодетелем? и сколь драгоценную ношу я находил в нем! Я держал на руках создание, которое вы любите, сударыня, а то, что дорого вам, тем более дорого мне, ибо все ваши привязанности передаются моей душе, усиливаются и умножаются в ней!

Для меня нет большего удовольствия, чем испытывать одни с вами чувства! Если бы я мог надеяться на взаимность... но я не смею рассчитывать на это; это было бы счастьем, которого мне не дано в удел.

Итак, мне довольно моих собственных чувств, мне довольно единого преимущества, которое мне предоставлено, — осмелиться высказать их вам.

Как ваши слова, дышащие дружбой и добротой, отозвались сладким теплом во всем моем существе: «*Какая милая попинька! ну кто бы поступил подобно ему!*» — эти любезные слова беспрестанно звучат в моих ушах и текут по моим жилам волнами несказанного счастья. Ах! повторяйте мне чаще такие слова; их так легко сказать, — и счастлив тот, кто может столь малой ценой доставлять другим неоплатное счастье! Тот, кто делится счастьем, счастлив и сам: он счастлив сам по себе.

Вновь, сударыня, повергаю к ногам вашим свое сердечное почтение, которое вместе со всем моим существованием принадлежит вам навеки.

Среда, 8 июня, в полдень.

Вчерашнее утро прошло довольно спокойно. Я написал Мадам первое письмо после возобновления отношений, где описал мою страсть. Оно было очень длинным, это письмо, и я боюсь, что оно ее утомило; наскучить же очаровательному существу есть прегрешение против природы. Я должен был обедать с князем и предполагал идти к ней сразу же после обеда, как вдруг княгиня просит меня найти в библиотеке книги, которые она сама не может отыскать. Я скрыл досаду, которую произвело во мне столь несвоевременное поручение, поискал книги и нашел их почти сразу же. Княгиня была со мной очень любезна; я принес ей в кабинет книги, которые она просила, и она заговорила со мной об удовольствиях, которые ждут нас в деревне. Чтобы закончить разговор, я ответил, что не возражал бы остаться в городе, так как лето не обещает быть хорошим. К пяти часам я отправился на дачу г-жи П...вой. Я застал там Лопеса, который почти сразу ушел, и полковника Слатвинского. Мадам была нездорова; на качелях она получила приступ ревматизма. Почувствовав не-

домогание, она легла, а я вышел прогуляться. Встретил обоих Кочубеев, которые возвращались в город от княгини Лобановой; приветствовал их мимоходом. Около дачи г-на Дурнова встретил его двоих сыновей и г-на Дугольца (?), поболтал с ними, и адъютант осыпал меня знаками уважения; все они звали меня наперебой зайти к ним, но я отговорился, извинившись. Вернувшись, я застал Измайлова; Madame была еще в постели; немного спустя пришел Андреев, и она позвала его в комнату, потом захотела встать и вскрикнула от боли. Я побежал, чтобы по возможности помочь ей; вдвоем с г. Слатвинским мы ее подняли. Она была очень любезна со всеми; остальные ушли, только мы с Измайловым остались ужинать. Она была очаровательно весела. После ужина я зашел в ее спальню и видел, как она ласкала собаку Лопеса. Как я завидовал этой собаке! Я сказал ей об этом несколько раз, наконец, подошел, с жаром поцеловал несколько раз руку, а прощаясь, напечатлел поцелуй на ее губах, и она меня тоже поцеловала. Она хотела оставить меня ночевать на даче, но я извинился невозможностью, зная, что нужен князю. Несмотря на это, она велела приготовить мне постель в гостиной и сама поправила подушки. Я не мог этого выдержать, я не ушел бы отсюда до конца дней моих, я покорился, целуя ей руку... Увы? неужели я должен буду ограничиться этим? Я спал не более двух часов; когда пробило четыре, ее собака, которая поранилась днем, подошла к моей постели и разбудила меня. Она страдала, а я не могу видеть страдающее существо, не говорю уже об ее собаке. Я поднялся, взял собаку на руки и уложил ее, уступив ей мое ложе; чтобы не коснуться ее и не причинить ей боли, я оделся и отправился домой. Этот вчерашний день — один из тех, о которых я сохраню самое приятное воспоминание. Какую цену имеет в моих глазах самая ничтожная ее ласка, доброе слово, маленький знак заботливости! О, если бы я действительно был любим, как бы я умел чувствовать всю бесконечность моего счастья!

Четверг, 9 июня 1821.

Вчера утром я получил от Остолопова пригласительный билет на вечер. Билет был написан по-итальянски, и я должен был как умел отвечать на этом языке. Потом я пошел к Булгарину, чтобы пригласить и его от имени Остолопова, после чего пошел к Никитину. Я внушал ему мысль об объединении двух обществ и мог убедиться, что она ему вовсе не по вкусу.

Булгарин не пустил меня в спальню. Я видел, как по его приказанию туда внесли портрет, и мне кажется, заметил фигуру живописца-миниатюриста. Слуга поляк по оплошности уронил завесу с портрета, и я узнал черты г-жи Воейковой. Э, г-н Булгарин! поздравляю вас; но я не сказал ему о том, что видел.

Пятница, 10 июня, 1821.

Вчера я ждал полковника Норова, чтобы в полдень идти вместе познакомиться его с Пономаревыми, но он пришел только к двум часам, так что все утро у меня было потеряно. Мы разговаривали о г-же Пономаревой, я внушил ему желание познакомиться с ней, и так как он считает неудобным приходить к обеду при первом визите, он обещал мне придти туда завтра к 6 часам. Затем мы беседовали о русской и иностранной литературе. Я дал ему почитать 4 тома Парни. Не забыть бы сообщить ему справку о лучшем комментарии Данте. Вот он: «La Divina Commedia» di Dante Alighieri, col commento di G. Bignioti; 2 toms. Parigi, 1818, in 8. Preste Dondey Duprè in via S. Luigi, 10 с. 4 С. Он мне обещал заказать экземпляр в Париже. К трем часам полковник ушел.

После 7 часов я был в Обществе любителей словесности, наук и художеств в Михайловском дворце. Булгарин читал нам свои воспоминания о войне в Испании, очень интересные. Он описывает с большим жаром прекрасный пол этой страны, климат, природу. После него Остолопов читал рассуждение о трагедии, которое он хочет поместить в Словарь древней и новой поэзии. Хорошая компиляция, но немного подробна для статьи в большом сочинении. К десяти часам я предложил Измайлову зайти вместе к Панаеву, которого мы нашли страдающим еще сильнее, чем раньше. Я остался до полуночи и вернулся к себе к половине первого ночи.

10 июня 1821.

Как я благодарен дурной погоде, которая меня держит в городе, сударыня! Я еще испытываю потребность в приятном предвкушении увидеть вас два или три раза до моего отъезда на дачу. Время от времени мне приходят мысли, противоречащие здравому смыслу: я иногда хочу, чтобы ненастное время года длилось постоянно, так чтобы вы скорее переехали окончательно в город и чтобы я имел счастье видеть вас каждый день. Сердитесь на меня, если хотите, сударыня, но в этом отношении я эгоист и сверх-эгоист, — и не совсем без оснований. Мне кажется, что, когда я рядом с вами, мое существование более полно, более цельно, в то время как вдали от вас я ощущаю, что лишен большей части себя самого, — и это правда: мое сердце, моя душа, мои мысли, мое воображение постоянно следуют за вами и, кажется, витают вокруг вашего обожаемого образа. Все, что составляет лучшую часть меня самого, поглощено вашими совершенствами, — и что осталось мне? лед вместо сердца, постоянная пус-

---

\* «Божественная комедия» Данте Алигьери, с комментариями Г. Биньоти; в 2-х томах. Париж, 1818, в осьмушку. Напечатано в типографии Донде Дюпре по ул. св. Луи (*ит.*).



тота в уме и в душе и грубая оболочка, принадлежащая моему земному существу.

Ах! сударыня! не отнимайте у меня единственного утешения, на которое я уповаю в отдалении от вас! пишите мне так часто, как только сможете, пишите длинные письма, чтобы я мог упиться наслаждением видеть нечто, исходящее от вас. Я знаю, что моя мольба дерзка, но я обращаю ее к ангелу, а ангел никогда не отказывает в утешении бедным смертным. Как сильно будет биться мое сердце, когда я буду ждать известия от вас! О! я их буду носить у сердца, ваши письма, и они вновь возродят в нем тот сладкий пыл, который ослабеет в вашем отсутствии, — или вернее, который будет отражаться в ваших глазах.

Каждый раз, как я вижу вас, сударыня, я влюбляюсь все больше. В последний раз в особенности... о! этот вечер запечатлется в моей памяти среди самых счастливых минут моей жизни. Я видел, как вы собственными руками раскладывали подушки на постели, предназначенной для меня; ах! с каким восторгом я напечатлел поцелуи на этих несравненных руках! Осмелюсь ли я сказать... но нет! мое сердце еще слишком полно этим счастьем, и самые красивые слова были бы холодны и несовершенны.

Ах, если бы вы могли, сударыня, хоть в малейшей степени чувствовать то, что я чувствую по отношению к вам! я был бы самым счастливым из людей, как сейчас я самый любящий из них.

Ваш навеки О. Сомов.

Суббота, 11 июня 1821

7 часов вечера.

Нет, довольно! за всю мою любовь, за всю мою преданность — только презрение, оскорбления, обиды! Вчера она показала себя в черном цвете: она преследовала меня, терзала... и за что? За безделицу, пустяк, о котором не стоит даже говорить.

Я был очень занят все утро, и все же нашел время написать ей очень нежное письмо, где изобразил мои чувства. Около двух я вышел; было туманно и печально, и на сердце тоже было слегка печально; им владели какие-то смутные предчувствия. Я захожу к ней и застаю мужа в гостиной; мне говорят, что Madame за туалетом. Дул сильный ветер, время от времени начинался дождь; все словно соединилось, чтобы вывести меня из равновесия. Наконец через полчаса дождь прекратился и погода стала налаживаться. Я сказал г-ну П...ву, что собираюсь пойти прогуляться, и в самом деле отправился. Вернувшись, я увидел, как на балкон всходят Измайлов, Остолопов и двое Княжевичей. Через минуту я постучал в дверь, за которой одевалась Madame, и передал ей письмо. Она говорила со мной из-за двери, не позволяя мне войти, потому что, сказала она, она в рубашке. Когда

же она появилась, я заметил в ней какую-то холодность и раздражительность ко мне и уже предчувствовал все неприятности, которые ожидали меня в дальнейшем. Она послала меня за своим дневником, желая показать этим господам свой рисунок; а затем притворилась, что не находит писем Панаева, которые, как она сказала, были в этом дневнике; смеясь, она обвиняла всех, что они взяли записки; я в это не верил, потому что был уже знаком с этими женскими уловками. Однако до конца обеда все еще было ничего, если не считать, что она больше не обращалась ко мне и отвечала мне раздраженно. Когда пришел Лопес, она вышла поговорить с ним в спальню и оставалась там около получаса. Мне это надоело, и я собрался уже взять шляпу и пойти еще раз прогуляться, хотя дождь лил во все время обеда. Она спросила меня, куда я собрался, и я ответил в сердцах: «Я ухожу, сударыня», что и повторил несколько раз. Она рассердилась немного, но я все же отправился. Она смотрела в окно и позвала Гектора, который хотел идти за мной. Я сказал, чтобы она была спокойна и что я не собираюсь уводить ее собаку. На это она состроила мне гримасу, которая заставила бы меня рассмеяться, если бы я не уловил в ней злости. Я побродил без цели на даче Безбородко и на обратном пути застал даму на качелях, подошел и приветствовал ее. Она спросила резко: «Что вы хотите мне сказать?» Я ответил на это, что ничего, и не потерял самообладания. Немного спустя я последовал за ней и спросил о причине ее недовольства; она ответила, что я недостойн того, чтобы со мной разговаривать, и что она относится ко мне так же, как к Яковлеву. «В таком случае, сударыня, — ответил я, — мне придется более к вам не приходить». За ужином она пользовалась любым случаем расстроить меня, придиралась ко всему, что я говорил, и часто смешным образом. Я обращал все в шутку не подавая виду, что замечаю ее враждебность. Я отвечал на ее обиды и часто их опровергал; кажется, это задевало ее из-за присутствия окружающих и как раз в тот момент, когда она хотела за мой счет продемонстрировать свое остроумие. После ужина я подошел к ней и пожелал ей доброй ночи, прибавив, что, может быть, не скоро буду иметь счастье ее увидеть, потому что намерен вскоре отправиться на дачу. Она вначале протянула мне руку, отвернув лицо, потом подозвала меня знаком руки и спросила, не хочу ли я остаться. Я ответил отрицательно, и она сказала: «Поцелуйте же мне руку». Мне показалось, что она улыбнулась. Я удалился, довольный собой, но очень недовольный проведенным днем.

Воскресенье, 12 июня 1821.

Я работал все утро и выбрал время только для того, чтобы совершить маленькую прогулку по саду. Я думал о постигшей меня немилости; мне было грустно, и я искал уединения. Однако после обеда я решил идти к Измайлову, чтобы он не подумал, что я все еще сохраняю настроение вчерашнего вечера. Так как я должен был прохо-

дить мимо дома Панаева, я зашел к нему, чтобы поздороваться. Он меня принял довольно холодно; у него был Рихтер, перелистывавший какие-то бумаги. Панаев сказал, что он слышал от г-на Остолопова, Княжевича и Измайлова, которые заходили его навестить, что Madame дурно обошлась со мною вчера вечером. Я рассказал ему все, и он протянул мне записку Madame, очень резкую и оскорбительную, где она обвиняла меня в похищении писем Панаева. Я никогда не ожидал такой выходки. Панаев передал мне, что она ему также писала, уведомляя об этой предполагаемой краже.

В 11 часов утра

Ее бывший человек, Владимир, пришел ко мне просить помочь ему получить место. Я был обрадован возможностью оказать услугу тому, кто ей служил. На этот счет у меня слабость: если я люблю кого-нибудь, я люблю все, что до него касается, что с ним связано, даже тех, кого он просто знает. Я считаю своей приятной обязанностью помочь ее прежнему слуге и поговорю о нем с князем.

В половине пятого пополудни.

Князь просил меня привести к нему Владимира, и, поскольку слуга сказал мне, что можно его выкупить, князь согласился тем более, что один из его лакеев умер, а второй заболел. Князь сказал мне любезность, что-де моей рекомендации достаточно; что я всегда советовал ему только хорошее. Это правда, я рекомендовал ему прекрасного человека: г-на Коломийцева в качестве управляющего в Институте глухонемых; поэтому князь полностью доверяет моим рекомендациям. Я буду счастлив, если мне удастся освободить Владимира из когтей его нынешнего хозяина.

12 июня 1821.

Сударыня!

В последний раз, когда я имел честь провести день у вас, я имел возможность заметить, что вы ищете любого случая и средства меня огорчить, унижить и поставить в смешное положение, хотя я не дал вам к тому ни малейшего повода. Будучи совершенно спокоен в отношении вас, — ибо все мое поведение отличалось постоянной почтительностью, — и, привыкнув к доброжелательству, с которым вы меня принимали ранее, я, соглашаюсь, может быть, и не остерегся так, как мне бы следовало. Так, когда вам было угодно спросить меня, что я намерен делать, я имел честь отвечать вам, что собираюсь прогуляться, как делаю обычно за неимением лучших занятий. Ответом мне была угрожающая мина, но я убедил себя, что в дальнейшем вы будете судить обо мне лучше. В самом деле, сударыня, не ясно ли,

что, когда у вас собирается общество или когда вы приглашаете меня на званый обед, я присутствую у вас как один из тех китайских уродцев, которых ставят на камин, просто чтобы занять место. Если я осмеливаюсь обратиться к вам, предложить вам мои услуги, вы принимаете это с отвращением, которое очевидно для всякого из присутствующих; в остальное же время у вас такой вид, словно вы не замечаете, здесь я или нет. Зачем же приглашать к себе человека, к которому выказываешь презрение или которого хочется оставить в забвении? Не стоит ли оставить в покое того, кто вас вовсе не интересуется? В пятницу, например, вы старались развлечь каждого из присутствующих — и один я удостоился только гримас и оскорблений.

Со своей стороны, я приемлю смелость заметить, сударыня, что так легко меня не смутить. Я еще был принужден принять на себя роль, менее всего соответствующую моему характеру, — роль наглеца, и эта роль, как вы сами видели, не так уж плохо мне удалась. Я притворялся беззаботным и даже веселым, хотя это было прямо противоположно тому, что я чувствовал в последний раз.

Вы сказали мне, сударыня, что не хотите больше со мной разговаривать, как не хотите больше говорить с Яковлевым. Сделайте мне милость, скажите, есть ли это ваше искреннее намерение. Я должен знать это, чтобы в дальнейшем определить свое поведение. Я не забыл чина унтер-офицера, который показался вам столь низким. Эта маленькая выходка может послужить объяснением другой в том же роде, которая была сделана в адрес людей бедных. Я прекрасно знаю, что я беден и не чиновен, но я имею преимущество знать много людей чрезвычайно богатых и по положению гораздо высших, чем я, и которые тем не менее не считают для себя зазорным обращаться со мной дружески. Сам я никогда не ищу новых знакомств; я нахожу их либо случайно, либо склоняясь на предложения, которые мне делают; отчасти и это поселило в моей душе довольно гордости, чтобы оценивать по достоинству несправедливости, мне причиняемые.

Разрешите мне, сударыня, вернуться к предмету «претензий», — слово, которое постоянно на ваших устах и которое имеет у вас несколько значений. Какие претензии вы приписываете мне, сударыня? Я никогда не претендовал, чтобы занимались исключительно моей ничтожной персоной, но я тем не менее не хочу служить мишенью для оскорблений, когда вам заблагорассудится дуться на кого-либо. Все мои претензии сводятся к тому, что я хочу, чтобы со мной обращались так же, как с другими и как со мной обращаются повсюду; если же нет — нет.

Приняв на себя смелость высказать вам предмет и причины моей уязвленности, я осмелюсь еще умолять вас, сударыня, не лишать меня вашей доброты и милостей, единственного счастья, к которому я стремлюсь, — и соблаговолить верить чувствам самого глубокого

почтения, с которыми имею честь быть, сударыня, вашим покорнейшим слугой

О. Сомов.

Этот жест оскорбленной гордости стоил писавшему труда: он искал слов, вычеркивая, исправляя, перемарывая. Но рядом на странице мы находим другое письмо, без даты, написанное почти без помарок. Может быть, он не решился отправить его и заменил вторым, уже в который раз покорившись судьбе, бороться с которой он не имел силы?

Достойно ли вашего характера, сударыня, поступать со мной таким образом? Можно ли называть именем вора человека, которого принимают у себя и который не запятнал ни одним низким поступком доброго мнения, которое, кажется, у вас о нем сложилось? Чужая собственность священна для меня настолько, что для меня тягостно быть подозреваемым даже в том, что я рылся в чужих бумагах; всем, кто удостоивал меня своим знакомством, я всегда давал основания для слепой доверенности. И разве вы когда-либо замечали за мной нечто подобное? заставляли меня за чтением или просмотром писем на вашем столе? Ах, сударыня, вы плохо изучили мой характер, если вы полагаете меня способным на такую низость! Если же это подозрение мнимое, и за ним стоит намерение совсем иного рода, то я сожалею, сударыня, что вы не избрали какого-нибудь другого предлога, потому что г-н Панаев хорошо знает мои принципы и совершенно во мне уверен.

Понедельник, 13 июня 1821.

Завтра мы отправляемся на дачу. Я очень рад: это послужит мне в глазах г-на Пономарева извинением в том, что я перестану у них бывать столь часто.

Вчера в час пополудни я сам отнес мой ответ Madame. Я выбрал именно это время, чтобы показать ей, что слишком ценю ее, чтобы оправдываться перед ней лично, и что настолько уверен в моей невиновности, что не собираюсь избегать встречи; я знал в то же время, что их не будет дома; хозяин сказал мне еще в пятницу, что в воскресенье они не будут обедать у себя. Таким образом я сумел согласить долг почтительности по отношению к Madame с моим намерением избежать тягостного свидания, во время которого я мог вспылить и наговорить ей неприятностей, — а я не хочу пренебречь почтением, которое к ней сохраняю. Письмо скажет все; я передал его в конверте, запечатанном домашней печатью, единственному слуге, которого я отыскал. Лучше было бы переслать его с горничной, но ее не было.

После обеда я пошел к Измайлову, который накануне обещал повести меня к знаменитому Ганину, у которого по воскресеньям музыка и т. п. Измайлов, однако, нарушил обещание: он не обедал дома

и еще не вернулся. На обратном пути я зашел к Панаеву, которому лучше, и пил с ним чай. Он принял меня дружелюбнее, чем накануне. Мы говорили о Madame, и за разговорами о том о сем я пробыл у него до одиннадцати часов. К нему зашел и Яковлев. Он рассказывал много о священнике Мансветове, и я укрепился в хорошем мнении, которое о нем составил.

Возвращаясь от Панаева, я провел часок у Амелии, которая тщетно рвалась ко мне три последних месяца. Я посмеиваюсь над собой: я каждый раз мщу самому себе за несправедливости, которые мне достаются. На Украине, в Польше, после неудач с женщинами хорошего общества, я бросался в объятия куртизанок, словно для того, чтобы отомстить за свои собственные чувства. Амелия, однако, исключение: она хороша собой, скромна, даже чувствительна, как хочет показать; ее личико, хорошенькое на немецкий лад, ее фигура, тоненькая и грациозная, хорошие волосы, красивая грудь могут внушить иллюзии за неимением лучшего. Она была очень рада меня видеть, но заметила, что я очень рассеян.

Я был слишком благоразумен в последние три месяца; я пожертвовал своими удовольствиями, укрощал свой бешеный темперамент в угоду человеку, который над этим смеялся. Теперь поговорим о глупостях, попытаемся забыть, вкусив из чаши легких наслаждений, и оставить соблазнительные мечты о воображаемом счастье. На этих страницах, где я рисую себя таким, каков я есть на самом деле, и которые никто не прочтет, по крайней мере, до моей смерти, мне нет надобности притворяться.

Вторник, 14 июня 1821.

Все утро вчера я писал. Около двух часов, однако, вышел подышать воздухом в саду. Там я встретил графа Хвостова, который морил и мучал меня переводом своего послания; он угрожал мне приехать в деревню к князю и привезти мне несколько экземпляров перевода Сен-Мора.

К 7 часам я пошел в общество Соревнователей, чтобы до открытия зайти к Булгарину и Яковлеву: мне нужно было поговорить и с тем, и с другим. На Большой Мещанской встретил полковника Норова на дрожках; он ехал ко мне или, если не застанет, к Измайлову, чтобы вместе ехать на акт его принятия у Соревнователей. Я сказал ему, что он прибыл слишком рано, так как заседание начнется лишь в 8 часов, и пригласил его с собой к Булгарину, которого мы нашли в обществе двух поляков-литераторов. Немного спустя к нему пришли Воейков, Греч, Гнедич и Николай Бестужев, и мы вместе отправились в общество. На лестнице бедный полковник упал, поскользнувшись деревянной ногой на отполированном камне. На заседании Гнедич прочел нам превосходную речь, очень патетическую, где благодарил общество за принятие его в действительные члены. Он произносил ее с боль-

шим жаром и с тем искусством декламации, какое никто не может в нем оспорить. Все были как наэлектризованы, я был весь внимание. Речь длилась довольно долго, но я хотел бы, чтоб она была вдвое длиннее. Его выбрали вице-президентом Общества.

После того, как заседание окончилось и были избраны члены правления на наступающий семестр, общество прервало свою деятельность на полтора месяца. Гнедич, Греч, Баратынский, Глинка, Дельвиг, Лобанов и я пошли на чай к Булгарину. Собрание было очень оживленным; болтали, рассказывали анекдоты и т. п. Гнедич спросил меня, не обедал ли я сегодня у его тетушки? Я отвечал, что нет. — Но там же званый обед. — Я заранее знал, что не буду приглашен. — Почему? — Madame сердита на меня. — Она успокоится со временем; это у нее долго не длится. — Согласен; но у меня тоже есть причины являться туда как можно реже.

Лобанов был на этом обеде. Он говорил, что был только он с женой и толстяк Крылов.

Когда все разошлись, мы остались втроем: Булгарин, Глинка и я. Я читал им мои стансы на Свободу; они нашли их хорошими, но советовали никому не давать списывать.

Вернулся я домой после двух часов.

<.....>

15 июня 1821.

Первая ночь, которую я провел на даче, была очень приятна. Вчера я приехал сюда с княжнами около 9 часов. Проезжая мимо дверей Яковлева, я велел остановить экипаж и на минуту зашел к нему извиниться, что не мог ждать его днем. Я спросил, нет ли чего нового о г-же П...вой. Никаких следов жизни: *кажется, что нас обоих намерены забыть*. Правда, мое письмо было немножко резкое, — но я был оскорблен несправедливостью, мне сделанной. Можно ли думать, что я позволю себе недостойный поступок, и писать мне об этом в таком тоне, как если бы это было установленной истиной? И какая мне надобность читать эти проклятые бумажки? Какой мне в них интерес?

Приехав, мы совершили прогулку по даче. Г-жа Головина приняла меня со своей обычной любезностью. Немного спустя пришли обе княжны. Мы все вместе еще прогулялись до большого канала. Я передал г-же Головиной приветы от молодых Дурновых, а она не упустила случая осведомиться о г-же Пономаревой; в вопросе звучала легкая насмешка. Я сказал только, что давно ее не видел и не рассчитываю скоро увидеться. Она дала мне понять, что размовки только укрепляют узы, привязывающие к предмету любви, — в чем я сильно сомневаюсь, хорошо зная свой характер.

Мы можем теперь ненадолго оставить Сомова, пропустив несколько страниц его дневника. Он побывал на карусели, устроенной князем по об-

разу тивольских; он проводил вечера в обществе молодых княжен и г-жи Головиной, как видно, несколько заинтересованной его сердечными делами — из чисто женского любопытства, потому что у них установились приятельские отношения без тени интимности... Обо всем этом он писал отчеты в дневнике, — отчеты подробные, но не разнообразные. Он пробыл на даче четыре дня: с 15 по 19 июня; двадцатого, в понедельник, он вернулся в город. В эти дни в доме Пономаревых происходили события весьма примечательные, — и то, что Сомов ни словом не упомянул о них, кажется на первый взгляд немного странным. Дело в том, что 10 июня, — в то самое время, когда он переходил от надежд к отчаянию и обратно, разрывал отношения, принимал вид холодности и на коленях умолял о прощении, — в этот самый день некий учредительный комитет образовал у Пономаревых дружеское литературное общество.

По своему положению в петербургской литературе и в пономаревском кружке Сомов должен был войти в общество сразу же по его возникновении. Но обстоятельства сложились так, что он не только не был среди учредителей, но, скорее всего, ничего не знал и о самом замысле. Десятого июня он был у Пономаревых в последний раз и ушел рано, а затем предпринимал тщетные попытки рассеяться. Он приехал за два дня до первого объявленного заседания новорожденного литературного объединения, которому предстояло сыграть в истории русской словесности если не выдающуюся, то во всяком случае заметную роль.



## Глава V

### «СОСЛОВИЕ ДРУЗЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

*...Новый год собственно для нас должен отныне  
счисляться с 22 июня, яко со дня открытия  
нашего Общества.*

Этот кружок, получивший поначалу название «Вольное общество любителей Премудрости и Словесности», — по образцу уже действовавших в Петербурге обществ, — довольно хорошо известен; история его рассказана в нескольких специальных статьях; о нем постоянно упоминают биографы Кюхельбекера, Дельвига и Баратынского. Опубликован и первый из сохранившихся его документов: «Представление» «госпоже попечительнице», подписанное Измайловым, двумя Княжевичами, Остолоповым и Панаевым: полубуффонское-полусерьезное обращение, в котором собравшиеся члены ссылаются на «постановление комитета» от 10 июня, в силу которого они обязаны представить для чтения свои труды к 22-му текущего месяца, — и подтверждают свое обещание, замечая, однако, что просят не посягать на их «законную свободу», — словечко, весьма популярное в политической жизни начала 1820-х годов. Члены умоляли «не чинить им ни малейшего принуждения, а колыми паче насилия, как то: не отбирать у них шляп, сертуков и прочих вещей, необходимо нужных для возвратного путешествия, и не запирать самих членов как преступников: в противном случае столь благонамеренное сословие, каковым должно быть Вольное общество любителей Премудрости и Словесности, непременно разрушится при самом своем учреждении»<sup>1</sup>.

Общество начиналось с шутки, проказы, салонной игры. Так начинался и «Арзамас», — но «Арзамас» уже при самом возникновении своем знал, что решает литературные задачи, лишь облакавшись в форму буффонады. Здесь же литература занимала положение подчиненное; она не поднималась над бытом и не выростала из него, а как бы снисходила; так известный поэт по неотступным просьбам пишет в альбом знакомой барышне незначущий мадригал. Мы можем представить себе, что капризная «попечительница» арестовала на своей даче учредительный комитет, запретив шляпы членов в дождливую ночь, и требовала немедленного литературного собрания, что гостям показалось уже слишком. Среди измайлов-

ских мадригалов есть один, несомненно относящийся к этому эпизоду, происшедшему, нужно думать, как раз 10 июня:

Пародия

С. Д. П.

Мы тебя любим сердечно,  
 Любим — любить будем вечно.  
 Наши зажгла ты сердца —  
 Ах! ты достойна венца!  
 Ходим к тебе в непогоду —  
 Молви — и бросимся в воду.  
 Этот с тобою нам край  
 Кажется рай, рай, рай!..  
 Только нам шляпы отдай!!!<sup>2</sup>

Обо всем этом нет никаких упоминаний в дневнике и письмах Сомова. Конечно, его не собирались отстранять от участия в обществе, — оно предполагалось само собой. О нем просто забыли на этот раз, — забыли невольно, а может быть, намеренно. Он был докучным вздыхателем и вызывал досаду. Он подлежал временному отлучению.

Длился звездный час Владимира Панаева.

Он должен был написать по требованию хозяйки акrostих «Китайский урод» — на статуэтку, стоявшую в гостиной. Здесь, конечно, был особый смысл, отчасти угадываемый из писем Сомова: он обижается, что его третируют, как «китайского уродца», — прекрасно, она заставит его соперника воспевать уродца стихами. Панаев, со своей стороны, может быть, видел в заказе и некий намек: немногим более двух недель назад он хвалил в альбоме Софии ее слегка монголоидную красоту, «маленькие китайские глаза», чьи взоры равно опасны и юношам, и старикам. Но он не стал развивать далее эту тему. Он написал:

Как я соскучился по вас!  
 И можно ль иначе? Чем более вас знаю,  
 Тем, право, более люблю и почитаю.  
 Ах, видно, в добрый час  
 Идиллии писать, потом предать тисненью  
 Со страхом пополам решился робкий я.  
 Коль многим одолжен я музы вдохновенью!  
 Они и на Парнас, и к вам ввели меня.  
 Умею ль вашу приязню ценить?  
 Решит, докажет время.  
 От доброго на свет произошел я племя:  
 Долг благодарности старались мне внушить.

Извините, если дурно: что путного сделаешь из Китайского урода?<sup>3</sup>

Под стихами дата: «14 июня 1821». Мы помним по письмам Сомова, что как раз в эти дни на него обрушился гнев хозяйки, подозревавшей его в похищении каких-то панаевских писем. Итак, «роман в стихах», гласный, публичный, альбомный, но с тем самым вторым смыслом, о котором нам уже приходилось упоминать, совершенно естественно сопровождался перепиской, не предназначенной для посторонних глаз. И здесь не было никакого криминала, — лишь этика салона 1820-х годов, с ее своеобразным «domneі», культом дамы и любовного чувства. Мадригал Панаева отвечал всем правилам «служения»: он был декларацией почтительной благодарности и потому мог при желании служить уроком Сомову и другим, например Яковлеву.

Впрочем, это были не единственные стихи, написанные Панаевым Пономаревой в те же июньские дни.

Второе его стихотворение — «Элегия», посвященная всему Обществу любителей Словесности и Премудрости, — было прямо связано с той самой болезнью, о которой упоминал Сомов в своих июньских записях. Болезнь была не опасна, но мучительна. Почувствовав облегчение, Панаев уже мог подшучивать над нею в стихах:

Напрасно изливал я миро пред богами,  
Обильный возжигал бессмертным фимиам:  
Дым жертвы не достиг ко гневным небесам...

Увы, бессмертные покарали несчастливца прозаическим недугом:

И я, отверженный, я мучусь все — зубами!

Он рассказывал в стихах о трехдневных страданиях, о бессонных ночах, о единственной пище своей — чае и о бесполезных окуриваниях ромашкой и камфорой; он предупреждал против неумеренности и неосторожности любителей сладкого и охотников беспечно гулять по садам и дачам в холодную погоду<sup>4</sup>. Все это было не более чем шуткой, но вот что не было шуткой: Софья Дмитриевна была весьма обеспокоена его состоянием. Мы знаем об этом потому, что через пять с лишним лет он напечатал другое стихотворение, поставив под ним дату «1821» и назвав «К \*\*\*», вылечившей меня от жестокой зубной боли»:

Напрасно я искал страданьям облегченья  
У щедрости аптек, у мудрости врачей —  
Ты, ты одна была виною исцеленья!  
Твоей — решительно ничьей —  
Я помощи обязан!  
Взгляни: по-прежнему и весел я и жив,  
В речах, в движениях развязан;  
По-прежнему в моих желаньях прихотлив...  
Но как понять твое чудесное искусство?  
Что кажется простей лекарства твоего?

«Ах, недогадливый! как не понять того?  
Я в эту скляночку мое вдохнула чувство!»<sup>5</sup>

Это уже стихи не о зубной боли, а о силе симпатии, привязанности, «чувстве» — любовном чувстве, в котором автор стихов, кажется, уже не сомневается.

Тем временем Сомов появляется в Петербурге.

### ДНЕВНИК О. СОМОВА

21 июня. Вторник, 11 часов утра.

Я вернулся в город в понедельник в 11 часов и сразу же отправился к Норову, но он уже ушел. Затем я пошел в амортизационный банк и провел там больше часа с г. Головиным. Выходя из банка, я зашел посмотреть, что делается у Сленина. Ничего нового. Я пообедал у Головина; мы были только вдвоем.

Сразу же после обеда я пошел к г-же Пономаревой, чтобы посмотреть, как она меня примет. Она готовилась сесть за стол с мужем, братом и Панаевым. Вначале она встретила меня холодно, но потом мы помирились. Я все же упрекнул ее за записку, которую она мне написала; она попросила эту записку и разорвала ее. Я бросился перед ней на колени, прося у нее прощения за письмо, которое написал по этому поводу, умоляя разорвать и его, но она ответила мне, что сохранит его, как и все, которые получала от меня. Я больше не настаивал, но сказал ей, что очень огорчен потерей ее записки, потому что она была единственной, которую я имел счастье получить от нее. Она ответила, чтобы я не терял надежды получить другие. Я был очень весел, даже слишком весел, — и по этому поводу ее брат заметил, что в жизни не видел более беззаботного малого. Так как это был день обручения ее сестры с г-ном Андреевым, Madame предупредила меня, что должна идти к ним, и я, видя, что Панаев тоже приглашен, ушел рано. Я собирался нанести визит адъютанту Дурново, но не застал дома ни его самого, ни его брата. Таким образом я принужден был вернуться домой по сильному дождю, который промочил меня до костей. Неважно, у меня было несколько приятных минут. Не знаю, смогу ли я сдержать обещание, данное Madame, провести среду у нее; я сделаю это с удовольствием, если ничто не помешает.

На среду 22 июня было назначено заседание общества.

Сомов, кажется, не придавал значения этому приглашению и не пришел. Вероятно, с самым замыслом его познакомили лишь в общих чертах, — а может быть, он был настолько поглощен перипетиями своих отношений с хозяйкой, что не мог думать и писать ни о чем другом. Как бы то ни было, первое заседание прошло без него, и хозяйка была уязвлена; в протоколах значится, что Измайлов отсутствует «по болезни», а Сомов — «по неизвестной причине». Присутствовали Панаев и оба Княжевича.

В этом заседании члены впервые были записаны под шуточными псевдонимами. Здесь также скрывалось подражание «Арзамасу», — и также обозначалась разница. Новый дружеский кружок не обладал арзамасской способностью к «галиматье» вдохновенной, артистической, перехлестывающей через край, когда Уварова именовали «Старушкой», а Дашкова — «Чу». Здесь прозвища были благопристойны, галантно значащи, — в духе XVIII столетия. Пономарева именовалась Мотыльковым, Аким Иванович — Бесединым, Измайлов — Басниным, Панаев — Аркадиным, как идиллик. Остолопов, работавший над словарем древней и новой поэзии, получил псевдоним Словарев; Д. Княжевич, собиравший синонимы («сословы») для своего словаря, — Сословин или Сословов, братья его были Софьиным и Юлиным. Когда из Бухары приехал П. Л. Яковлев, он стал подписываться Узбек. Сомова обозначили Стрункиным, но псевдоним требовал большей поэтичности, — и он стал Арфиным. Самое же название общества должно было заключать в себе имя хозяйки салона, и потому в нем было слово «Премудрость» (София); окончательное же название — «Сословие Друзей Просвещения» — давало в аббревиатуре ее инициалы: «С. Д. П.».

В добропорядочности этих продуманных домашних шуток было что-то коллежско-ассессорское.

На первом заседании было читано вышеупомянутое «Представление», а затем речь «попечителя» по случаю открытия общества. Текст этот сохранился, и мы прочтем его: это одно из немногих дошедших до нас сочинений Софьи Дмитриевны Пономаревой.

### НОВЫЙ ГОД РЕЧЬ ПО СЛУЧАЮ ОТКРЫТИЯ ОБЩЕСТВА

Извините меня, почтенные члены общества Любителей Премудрости и Словесности, естли вступая на поприще литературы, буду оспаривать общее мнение, что Новый год счисляться должен не с 1-го Генваря.

Будучи совершенно с сим несогласен и следуя правилам тех Обществ, которые вопреки истин, принятых целым светом, проповедают свои собственные — я беру смелость утверждать не токмо пред лицом ученых, полуученых и неученых, но даже лицом Вашим, милостивые Государи, что Новый год собственно для нас должен отныне счисляться с 22 июня, яко со дня открытия нашего общества.

Такова воля моя — да увенчает ее Ваше согласие!

Попечитель Мотыльков <sup>6</sup>.

Потом читался акростих Аркадина — Панаева и его же «Элегия», посвященная обществу, и сочинения и переводы Остолопова и Княжевичей. Почти все они — кроме акростиха, конечно, — были напечатаны затем в 11—12-й книжках журнала Измайлова «Благонамеренный».

Сочинения было определено хранить в архиве общества. «На будущее заседание назначено: г. Попечителю избрать предмет по собственному его произволению; господам членам: [Стрункину] Арфину — «Судьба», Баснину — «Армида», Сословину — «Молва», Софиину — «Сон», Аркадину — «Анекдот», Словареву — «Выбор любезной». Собрание назначалось на середину июля. Общество решило обзавестись и собственной печатью — с изображением семи звезд с Минервиным — Софииным — шишаком посредине<sup>7</sup>.

На следующий день прочитанные сочинения были препровождены к больному Баснину — Измайлову, вместе с журналом, «с тем, чтобы оные по миновании надобности возвращены были для хранения при делах означенного общества». «При сем нужным почитаю сообщить вам, — писал «секретарь общества Беседин» — А. И. Пономарев, — что Общество приняло за правило заданные предметы непременно обрабатывать к назначенному времени, в случае же болезни или непредвидимых других обстоятельств сообщать труды свои не позже следующего заседания на имя секретаря Общества, которо<му> сверх того предоставлено право в случае отсутствия какого-либо члена за одного задавать темы и вынимать билеты»<sup>8</sup>.

Это письмо очень интересно: оно показывает, как салонный быт становится на грань литературно-профессионального.

«Билеты», заранее назначенные темы, — все это принадлежит салонной «игре». Но уже из списка тем совершенно ясно, что не только «г. Попечитель», но и другие члены выбирали иной раз темы «по своему произволению», — так, «Анекдот» Панаева, прочитанный в следующем заседании, был «анекдотом» «из английской истории X века»; конечно, ему было известно заранее, что именно он намерен читать. Другие темы были, действительно, заданы. Мы говорили уже, что Измайлову не удалось справиться с темой «Армида», а Сомов, помимо «юмористического рассуждения» «Судьба», представил еще и другую статью, которая впоследствии и была напечатана, в то время как «Судьбе» — весьма посредственному нравоописательному сатирическому рассуждению — суждено было остаться среди бумаг общества. Литературная продукция домашнего кружка не могла переходить на страницы журнала без отбора и в своем первоизданном виде, и «заказанные» темы, подобно буриме или стихам на заданные слова, должны были остаться достоянием домашних альбомов. И вместе с тем несомненно одно: Общество предполагало давать материал для Измайловского журнала.

Вероятно, это и было решено в том заседании, когда Софья Дмитриевна отобрала у участников шляпы.

Отсюда и требование — обрабатывать материалы непременно к назначенному времени, за чем должен был следить секретарь. Отсюда и специальное извещение, посланное Измайлову вместе с материалами вплоть до «минования надобности». Все это было уже серьезно.

«Благонамеренному» не хватало сотрудников. В Петербурге было два литературных общества и два журнала — «Соревнователь просвещения и благотворения» и «Сын отечества», и уже намечались первые признаки

конкуренции, которой вскоре предстояло перерасти в настоящую журнальную войну.

Почти все участники пономаревского кружка, — собственно все, кроме самой хозяйки и ее мужа, — входили в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств, а некоторые — и в общество «соревнователей»: и печатались в трех журналах. Сейчас создавался маленький обособленный литераторский мир, помогавший только Измайлову. Здесь не было заранее продуманного плана: все устраивалось само собой.

О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ

7 июля 1821. На даче.

Семнадцать дней не видеть вас, сударыня! Судите же, как должно быть растерзано мое бедное сердце. Тысячу раз я уже готов был идти, бежать, лететь к вашим ногам, но враждебный гений каждый раз изобретал какие-то досадные помехи, какие-то обстоятельства, которые тут же являлись, чтобы расстроить мои намерения. В довершение всех несчастий князь подвернул ногу и не мог выходить из комнаты, а я, его компаньон в делах и несчастьях, должен был оставаться прикованным к изголовью его постели. Наконец я пользуюсь первым благоприятным случаем, я бегу, я лечу, чтобы упасть ниц перед моей повелительницей и принести ей клятвы в верности и почтении — столь многократные и искренние.

Не подумайте, однако, сударыня, чтобы это прискорбное отсутствие уменьшило, ослабило чувства к вам, которые наполняют мою душу! Вдали от вас, быть может, забытый, изглаженный из вашей памяти, я посвящал вам самые драгоценные свои мысли, такие, которые я больше всего лелею в своем воображении: я жил, я дышал только будущим, только надеждой однажды сообщить их вам. Удаленному от вас, мне всегда сопутствовал ваш образ: я читал только те книги, о которых мы говорили с вами, только те, которые вы были добры мне дать. Я стал более благочестив, я горячо молюсь два раза в день — и все для того, чтобы чаще повторять ваше имя, которое я помещаю в своих молитвах. Вы угадаете без труда, что ваш образ теперь витает надо мною как ангел-хранитель, и если бы я захотел когда-либо увидеть того ангела, которого милосердный бог дал мне при моем рождении, я бы хотел, чтобы он явился мне в вашем облике: к нему бы я обращался, его бы особенно любил. Мне нравится здешнее уединение, потому что я здесь наедине с вами. Я воображаю еще себя подле той, кого обожаю, восхищаюсь ее прелестью, талантами, любезностью; я представляю ее себе в разных видах и формах, во всем разнообразии настроений, которое ей свойственно. То мне кажется, что я вижу, как она смеется, я слушаю ее милый оживленный лепет, где ум просвечивает сквозь покров веселости, которым она хочет его скрыть, — то слушаю, как она поет арии, которые я так люблю и ко-

торым она придает своим голосом еще большее очарование; я весь превращаюсь в слух, я не смею дышать, боясь упустить малейший звук, малейшую модуляцию голоса. По временам я слышу, как она рассуждает о литературе, обнаруживая тот чистый вкус, точность и такт в суждениях, какие ей свойственны. Иногда я поглощен созерцанием ее внешних совершенств, — и ничто тогда от меня не ускользает: благородное одухотворенное лицо, черты, которые для меня есть воплощение идеальной гармонии, счастливое сочетание красоты и прелести, чарующая улыбка, глаза, которые огнем охватывают смельчака, посмотревшего в них, сверкающая белизна кожи, кожи столь нежной и тонкой, прелестная маленькая ножка, настолько изящная, что, кажется, сами грации слепили ее по своему образу и подобию, прекрасная грудь, престол любви и сладострастия... глаза мои блуждают, ласкают все изгибы этого обольстительного тела, мое воображение увлекает меня, я теряю голову, я пылаю, горю, я уничтожен порывом жгучей страсти, моими столь соблазнительными мечтами!..

Увы! сколь печальна та действительность, которую я вижу вокруг себя, как только я решаюсь спуститься на землю, покинув эти прекрасные области фантазии, куда занесло меня мое воображение! Я один, в пустыне; красоты природы не впечатляют меня, красоты искусства еще менее!

Я говорил вам однажды, сударыня, что меня часто посещают идеи, не имеющие, кажется, ничего общего со здравым смыслом. Здесь, вдали от вас, и еще того хуже. Вот одно из тех заблуждений необузданного воображения, которое пытается работать, когда действительность не предоставляет ничего лучшего. Я упрекаю природу и мою несчастную звезду теперь уже не за то, что они не создали меня красивым и одаренным, но за то, что они не наделили меня безобразием и уродством. И вот почему: вначале бы вас оттолкнула моя внешность; затем вы стали бы сравнивать свое совершенство с моим уродством; вас поразил бы контраст; вы сказали бы: почему это существо столь безобразно, в то время как я столь прекрасна? почему ему суждено отвращать от себя всех, а мне только привлекать... и вы пожалели бы меня, — а в вашем сожалении заключается во всяком случае больше счастья, нежели в вашем равнодушии... Вы, может быть, захотели бы утешить меня в моей несчастной судьбе, — и уже это принесло бы мне радость!.. Ах, утешьте же меня хотя бы видимостью надежды, загляните в мое сердце, прочтите в нем любовь к вам и облегчите бремя, которое его тяготит! Мои страдания могут обратиться в счастье, как только вы решитесь поверить в искренность моих чувств, — тех чувств, которые я не умею изобразить лучше, как беспрестанно твердя вам о них.

Ваш навеки  
О. Сомов.



15 июля он явился на второе заседание общества и привез с собой «Судьбу» — уже упомянутое нами рассуждение о том, что всякий сам виноват в своих несчастиях. По-видимому, эта довольно холодная шутка не вызвала особого одобрения; в делах общества против нее сделана запись: «Требуют продолжения». Второе же читанное им произведение было много интереснее. Оно называлось «Журналист. Прогулка жителя Галерной гавани» — и представляло собою литературный памфлет.

«Смотри, — сказал он (Звонкин. — В. В.) мне, показывая одного человека средних лет, смуглого, с очками на носу, с беспорядочно разбросанными на голове волосами, — смотри, вот известный журналист Ужимкин: не правда ли, что эта рожа с первого взгляду не располагает в свою пользу? Если справедливо, что лицо есть зеркало души, то можешь судить об этом человеке по первому взгляду: кажется, печать отвержения положена на нем, как на челе Каина; кажется, природа хотела сказать людям при самом его сотворении: «берегитесь!» Всмотрись в эту улыбку: она как будто шепчет каждому: «я тебя ненавижу!» Он смеется надо всем, смеется над логикой, усиливаясь доказать, что черное бело; смеется над языком и грамматикой, делая против них, как бы умышленно, непростительные ошибки; смеется над красноречием и стихотворством, называя в них превосходным то, что другие едва признают за посредственное; наконец, смеется над своими друзьями, которых хвалит наоборот, выказывая их публике с невыгодной стороны. Зато гораздо лучше и полезнее иметь его неприятелем, нежели другом: ибо, желая вредить явно, он имеет оплошность открывать слабую свою сторону, в которую противник его может смело наносить ему удары... Смотри, смотри, как он рассыпается в учтивостях перед сим мужчиною, который имеет такую благородную наружность! Бьюсь об заклад, что он в душе своей не терпит этого человека...»<sup>10</sup>.

Описание было портретно. Уже один внешний облик журналиста Ужимкина безошибочно указывал на Александра Федоровича Воейкова, тогда сотрудника Греча по «Сыну отечества», уже бывшего с ним на грани разрыва. Памфлет был настолько прозрачен, что напечатать его было невозможно.

Литературные споры и ссоры проникали в маленький кружок любителей премудрости.

Измайлов читал «Описание сада Ганина», много позже, уже после его смерти, напечатанное в Собрании его сочинений, и «Губу» — «на заданные слова». «Губу» он поместил все же в «Благонамеренном», — и на печатных страницах отпечатлелась та «домашняя шутка», о которой мы уже упоминали в начале нашего рассказа.

«Слушай, Иван! Ты выводишь меня из терпения. Спрашиваю тебя в последний раз: хочешь ли ты жениться на Губиной?»

— *Не хочу! не хочу! не хочу!*

«Любимая поговорка г-жи Мот...ой, — гласит примечание, — председательницы дружеского литературного общества, в котором читались, между прочим, и сочинения на заданные слова»<sup>11</sup>.

Сочинения «Армида», как мы уже говорили, он не представил.

Одно произведение — сказка Словарева (Остолопова) «Выбор любезной» — не было одобрено.

Но едва ли не интереснее всего, что сама «г-жа Мотылькова» выступила на этот раз в роли автора, — точнее, переводчика. Первой главы «Вакфильдского семейства», переведенного ею начала знаменитого романа Гольдсмита, в бумагах общества нет; однако, судя по тому, что ей было рекомендовано продолжать перевод, оно было прочитано. Нам известно уже, что Пономарева владела английским языком, что отнюдь не было обычным в те годы, — и, конечно, переводила с подлинника.

Измайлов писал в Москву И. И. Дмитриеву о литературных занятиях Пономаревой:

«Она <...> имеет необыкновенные таланты и получила отличное воспитание: знает прекрасно немецкий, французский и итальянский языки, даже отчасти латинский; переводит на русский прозою лучше многих записных литераторов; пишет весьма недурно стихи; рисует, танцует, поет и играет на фортепиано превосходно. Жаль только, что очень мало занимается и ведет слишком рассеянную жизнь»<sup>12</sup>.

«Рассеянная жизнь» и «необыкновенные таланты» — в этом были одновременно и драма и способ существования. Иная жизнь для нее была бы невозможна, но именно рассеяние, праздность, сознание нереализованных возможностей становилось постоянным источником внутренней неудовлетворенности. Литературные занятия были выходом или иллюзией выхода, — но на систематический литературный труд она была неспособна.

И она схватилась, как за якорь спасения, за литературное общество, общество-салон, где она могла быть не то членом, не то хозяйкой.

О. М. СОМОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ

Август 1821.

Вот я снова приближаюсь, сударыня, к местам, где вы обитаете; я оставил блестящее общество, чтобы вновь поселиться под скромной крышей, которая служит моим кровом в Петербурге. Сколько радости, сколько рассеяний обещало пребывание в городе! Мои друзья, Шидловский и Туманский, вернулись, С.-Тома здесь, чтобы рассказывать мне о своих приключениях в Италии и в Испании, чтобы напоминать мне о своей прекрасной родине и время от времени докучать мне градом остроумия и каламбуров. Нежная дружба вновь готова раскрыть мне свои объятия; раскроет ли их любовь? Нет, — это говорит мне мое сердце, а этот прорицатель, хотя и неутешительный, никогда еще меня не обманывал. Печальная вещь надежда, когда ее испытывают бесконечно: постоянно предаешься тщетным иллюзиям, которые исчезают при малейшем дуновении действительности, и тогда сердце стонет, видя, как разрушаются сладкие заблуждения, которые оно лелеяло.

Ваше мнение, сударыня, должно быть во всех случаях моим компасом. В последующих моих письмах я осмелюсь начать с вами разговор о русской литературе; о литературе на нашем родном языке; этот предмет не может показаться вам скучным, сударыня, — вам, которая любит творения наших поэтов и прозаиков. Итак, я обещаю выразить в них мои чувства по отношению к каждому, кто добился в наше время какой-то известности. Но умоляю, сударыня, просветите меня своими наблюдениями, помогите мне вашими познаниями; я все время буду опираться на ваши суждения, столь здравые, ваш столь безукоризненный такт, ваш столь чистый вкус. Надеюсь заранее на вашу снисходительность, я почтительно приношу к вашим ногам слова любви и обожания, переполняющих мое сердце, — любви и обожания к вам, которая для меня — идеал всего прекрасного, всего возвышенного.

Навеки ваш  
Орест Сомов.

Сомов не осуществил своего намерения систематически образовать Софью Дмитриевну в области русской словесности, — то ли оно было отвергнуто, то ли письма его до нас не дошли. Но, может быть, просто в них не оказалось надобности.

Литературное общество начинало функционировать.

Оно приобрело нового члена: «по предложению Баснина и Узбека» был принят «г. Юльин» — Александр Княжевич. Так гласит запись в протоколе, — но в записи этой имя рекомендующего важнее имени вновь вступившего.

Узбеком именовался П. Л. Яковлев, приехавший из Бухары.

Среди участников первого заседания Яковлев не был упомянут. Вероятно, это случайность: он уже свой человек в дружеском кружке, о нем постоянно говорится и в письмах Сомова. В середине июля мы видим его уже полноправным и действующим сочленом; он получает и задание — тему «Журналистика».

Нам предстоит теперь вернуться к прерванному чтению поздних мемуаров Панаева.

Мы остановились на описании любовной идиллии и сердечного согласия его и хозяйки салона, — согласия, нарушенного появлением Яковлева, который «вторся» в дом.

«Говорю "вторся", — читаем далее, — потому что, приглашенный однажды за темнотою ночи остаться ночевать на даче, что бывало со мною и с другими, остался совсем жить у радушных хозяев»<sup>13</sup>.

У Панаева были причины хорошо помнить детали этого эпизода. «Темнота ночи» — датирующий признак. До конца июня в Петербурге стоят белые ночи; в июньских письмах и Сомов говорит о «квартире Яковлева». Трудно представить себе, чтобы водворение его в доме Пономаревых ни-

как не отразилось бы в сомовских письмах и дневниках; очевидно, это произошло тогда, когда в записях его стали чаще многодневные перерывы. Все указывает нам на вторую половину июля или август 1821 года.

«При всем своем безобразии, бросавшемся в глаза, — продолжает Панаев, — он был очень занимателен: играл на фортепьяно, пел, хорошо рисовал карикатуры. Тем и другим забавлял он ребенка-хозяйку, а с хозяином пил на сон грядущий мадеру. Конечно, приехавши в Петербург за несколько перед тем месяцев, он не имел собственной квартиры и жил у какого-то знакомого, но все-таки такая назойливость была наглою».

Нотки посмертной вражды к сопернику звучат в мемуарах, написанных через тридцать с лишним лет. След неизглаженного конфликта ощущается и в современной переписке:

«Яковлев напрасно совестится передо мною, — писал Панаев Измайлову 21 января 1825 года, и Измайлов спешил передать племяннику этот отзыв. — Я с удовольствием принял его рекомендацию г. Роуде; старался и стараюсь быть для него полезным. Узнав же от вас, что Павел Лукьянович в Вятке, я с нынешнею же почтою пишу к нему и прошу не церемониться со мною в подобных случаях. Что бы ни случилось с нами в свое известное время, а я, право, люблю его за прекрасный его талант, беспристрастие в суждениях и постоянную к вам приверженность»<sup>14</sup>.

Об этом же «известном времени» напоминал Яковлеву и сам Измайлов:

«Не раздружились мы и за ...vous m'entendez, je vous entends\*, а за журнальные пиэсы, не только чужие, но и мои собственные, верно, не раздружимся»<sup>15</sup>.

Панаеву было известно, что «победоносное внимание» хозяйки обращается едва ли не на каждое примечательное новое лицо, — а примечательность Яковлева даже для него была вне сомнений. Но в начале августа у них нет еще оснований для прямой ссоры.

В альбоме Яковлева сохранилась запись рукой Софьи Дмитриевны:

«Il y a peu d'idées nouvelles et les idées nouvelles ne frappent que l'homme d'esprit — l'homme médiocre a tout vu, tout entendu».

(Мало новых идей, и новые идеи поражают только умного: посредственность все видела, все слышала.)<sup>16</sup>

Под записью помета: «St. P. Août 1821».

Выше этих строк располагаются стихи Панаева, вписанные его рукой. Это те самые стихи на заданные слова «Любовь» и «Дружба», которые ему предлагалось сочинить к заседанию 12 августа. Они были потом напечатаны и известны под заглавием «К Кальпурнию»:

Ты говоришь, Кальпурний милый,  
Что наше счастье на земли  
Есть только призрак легкокрылый,  
Едва мелькающий вдали?

\* Мы понимаем друг друга (фр.).

Мой друг! мы слишком прихотливы:  
Желаньям нашим нет конца;  
Но всех ли замыслы кичливы  
Ведут от плуга до венца?

Я сам, ты знаешь, от Фортуны  
Умел немного сыскать,  
Одно — искусство лирны струны  
Моей игрой одушевлять.

Я сам равно знаком с нуждою;  
Далек от славы и честей;  
Живу под кровлею простою  
Отшельником мирских затей.

Но я обрел всему замену  
В *Любви* и *Дружестве* святом;  
Постигнул ими жизни цену;  
Теперь у Счастья под крылом

Ищу того ж — увидишь вскоре,  
Что ропот твой несправедлив.  
Не веришь мне — читай во взоре  
У Делии, сколь я счастлив!<sup>17</sup>

Мы уже читали у Панаева такие стихи с двойным коммуникативным назначением и двойной семантикой: одна — для читателя журнала, улавливавшего в них гораціанский культ дружбы и любовных радостей; вторая — для тех или той, кто задавал тему «любовь и дружба» и ждал ответа. Ответ заключался в последней строфе.

Самый факт появления этих стихов в альбоме Яковлева был, конечно, жестом неосознанным. Панаев записывал в его альбом последние стихи, не имея других, — стихи, читанные в обществе и, может быть, понравившиеся владельцу альбома.

Кроме Панаева в заседании 12 августа читали Яковлев — «Путешествие в дилижансе» — повесть на заданные слова (в бумагах есть также отрывок из его комедии «Оставьте мужа и с женою говорите»), Измайлов — прозаический отрывок сатирического содержания «Дарю тебя» (напечатать его было невозможно, и в рукописи стоит помета: «не будет напечатано»), Князевичи представили переводы. В списке произведений значится вторая глава «Вакефильдского семейства» — перевод Пономаревой-Мотыльковой — но, как и в прошлый раз, текст отсутствует. «Не доставлены» были сочинения Сомова — «Ветреность», заказанная ему в прошедшем заседании, и «Отрывок из трагедии "Мафан"».

Однако самым интересным в этом заседании были вовсе не сочинения — читанные или нечитанные. Исследователи — собственно, один А. А. Веселовский — обратили внимание на предложенные в нем проекты

устава общества, но опубликовали из них только один, и не совсем точно. К этим проектам следует присмотреться внимательнее.

Один из них, названный «Предложение 1-е», был внесен самой попечительницей.

Мм. Гг.

Общество, удостоившее меня избранием в звание Попечителя, возложило на меня обязанность стараться всеми силами достигнуть предполагаемой нами цели. Основываясь на сем предложении, долго поставляю себе не выпускать сего из виду доколе буду пользоваться вашею доверенностию, по поводу чего излагая мои предположения, прошу вас рассмотреть оные и подать свои мнения по сему предмету. Оные мнения заключаются в нижеследующем.

1-е. Сделать постановление о приеме в члены Общества, стараясь как можно более ограничить число оных.

2-е. На каком основании принимать оных.

3-е. Каждому члену предоставляется избрать предмет трудов по его произволению.

4-е. В собрании Общества никогда не говорить и не читать того, что может быть противно правительству, религии, нравственности или относиться до каких-либо личностей.

5-е. Сделать постановление, на каком основании могут печататься труды членов, читанные в Обществе.

6-е. Могут ли быть принимаемы во время собрания особы, не принадлежащие оному.

7-е. Как поступать с тем членом, который не выполнит своей обязанности?

Мотыльков<sup>18</sup>.

На полях этого «предложения» жирно, с нажимом поставлена резолюция: «Утверждено». Это шутка, — кажется, единственная в прочитанном нами документе. Все остальное необычно серьезно, — гораздо серьезнее всего, что было в Обществе до сих пор.

Два первых запроса показывают, что «Сословие Друзей Просвещения» — так стал называться кружок с третьего заседания — стояло на пороге расширения. Интимный салон готов был допустить новых членов, «стараясь» — стараясь! — возможно ограничить их число и изыскивая формальные основания для такого ограничения. По прямому смыслу этих пунктов, речь должна была идти не о приеме в дом двух-трех новых посетителей, но о некоей группе, довольно многочисленной, стоявшей у порога и, видимо, грозившей изменить самое течение литературных игр. Почему-то просто не допустить их было нельзя; можно было лишь попытаться сдержать отчасти этот напор.

Третий пункт должен был изменить тематику чтений, придав им подлинно творческий, а не галантно-мадригальный характер. Отныне буриме,

альбомные похвалы, прециозные аллегории и этюды на заданные слова уступали свое место иным жанрам, более серьезным.

Четвертое «предложение» — о внутренней цензуре — было еще более важным. Итак, опасность услышать нечто противное «правительству, религии, нравственности» была реальной, и, вероятно, в дом Пономаревых уже проникало что-то, напоенное духом политического и религиозного вольномыслия, который был в двадцать первом году духом времени. Если бы это было иначе, оговорка в уставе не могла бы возникнуть.

В сочетании с другими пунктами устава оговорка эта значила и иное: салон готов был утратить свою интимную узость и приобрести черты литературного объединения, систематически печатающего свои труды. Об этом говорило следующее «предложение».

И он — вспомним шестой пункт — даже готов был подумать о том, чтобы сделать свои собрания публичными.

Все это, вместе взятое, свидетельствовало, что дилетантский дружеский кружок перерождается в Общество.

Проект этого перерождения был предложен Софьей Дмитриевной Пономаревой. И здесь есть повод для размышлений.

Кокетка, обольстительница, очаровательница, чуть что не дама полусвета, с высокомерной снисходительностью описанная Свербеевым и Панаевым, и на этот раз оказалась тоньше и пронизательнее своих поклонников. Она знала цену мадригалам, на которые вызывала их сама, и сбросила мишуру салонных пустяков, как только они начали ее тяготить. Новые, не изведенные еще интеллектуальные наслаждения влекли ее к себе, и она готова была открыть для них двери; быть может, славная судьба ее предшественниц, хозяйек французских салонов, уже ставших историческими, рисовалась ее мысленному взору. Здесь было самоутверждение, здесь было творчество.

И с тем же женским, капризным нетерпением, которое отличало все ее предприятия, — будь то проказы со Свербеевым, победа над Сомовым или арестование дружеских шляп, — она спешила воплотить свои планы в жизнь. Общество должно быть создано немедленно, — и даже крепнущее чувство к Панаеву не могло помешать его возникновению. Яковлев — «Узбек» рад этому содействовать — тем лучше. Она пережила короткий, но, видимо, острый интерес к личности этого человека, — интерес, за который потом заплатила дорого; но увлечение ее было, конечно, интеллектуально, хотя, может быть, слегка тронуто чувственным началом. Так произошло и с Сомовым, — что делать, она не знала иных средств. Нам неизвестно, были ли здесь «роман» или легкий флирт, — скорее последнее, — но его было достаточно, чтобы Панаев почувствовал соперника. Что же касается Яковлева, то никаких следов ответного его увлечения не осталось в его сочинениях и рисунках; он принял правила игры и начал с того, что сочинил проект приема новых членов, — проект, как справедливо заметил его первый исследователь, пародировавший масонские ритуалы и напоминавший арзамасские шуточные посвящения. Это было «Предложение 2-е», читанное

на том же памятном третьем заседании 12 августа. Оно называлось «Церемониал принятия в члены Общества словесности, деятельности и премудрости». Это название в протоколах было исправлено рукой Софьи Дмитриевны: «Церемониал принятия в сословие друзей просвещения. Хранить в архиве общества и дать огласку». Ниже, карандашом: «Общество приняло название "Сословие друзей просвещения". Внести в прошедший журнал».

Мы приведем текст «Церемониала», уже однажды печатавшийся, но с некоторыми неточностями.

§ 1. По занятии мест господами членами, секретарь встает с своего места и говорит: *София распространяется! и новый обожатель ее явился в преддверии ее храма.*

§ 2. Попечитель: «Да подвергнется испытанию!»

§ 3. Секретарь: «Друг NN нашел его, скитающегося во мраке».

§ 4. Попечитель: «Да просветится!»

§ 5. Секретарь садится на свое место.

§ 6. Предложивший выходит из комнаты.

§ 7. Предложивший накрывает Кандидата черным покрывалом и подводит к дверям.

§ 8. Предложивший ударяет в дверь четыре раза.

§ 9. Секретарь: «Кто нарушает спокойствие наше?»

§ 10. Кандидат: «Слепотствующий искатель мудрости».

§ 11. Секретарь: *Имя твое?*

§ 12. Кандидат: *Такой-то.*

§ 13. Секретарь: *Любишь ли ты мудрость?*

§ 14. Кандидат: *Люблю ее, ищу ее, поклоняюсь ей!*

§ 15. Секретарь: *Любишь ли ты дружбу?*

§ 16. Кандидат: *Ей посвящаю дни мои.*

§ 17. Секр<етарь>: *Отрицаешься ли славянизма?*

§ 18. Канд<идат>: *Отрицаюсь.*

§ 19. Секре<тарь>: *Отрицаешься ли алмазных, бисерных, кристальных, жемчужных слез?*

§ 20. Канд<идат>: *Отрицаюсь, отрицаюсь, отрицаюсь!*

§ 21. С<екретарь>: *Отрицаешься ли Шишкова и братии его?*

§ 22. К<андидат>: *Отрицаюсь!*

§ 23. С<екретарь>: *Отрицаешься ли злоязычия Воейкова?*

§ 24. К<андидат>: *Отрицаюсь!*

§ 25. С<екретарь>: *Отрицаешься ли гр<афа> Хвостова, подражателей и почитателей его?*

§ 26. Кандидат: *Отрицаюсь!*

§ 27. Попечитель ударяет по столу четыре раза.

§ 28. Предложивший вводит Кандидата.

§ 29. С Кандидата снимают черное покрывало и надевают белое.

§ 30. Кандидата ставят на возвышение, составленное из Тилематиды, Рассуждения о старом и новом слоге русского языка, Садов Воейкова, Петриады Грузинцева, Эсфири Катенина.



§ 31. Предложивший говорит: «Я люблю Словесность, деятельность и премудрость!»

§ 32. Сии слова повторяет громко кандидат.

§ 32 (sic). Предложивший: *Клянусь любить словес<ность>, деят<ельность> и премудрость.*

§ 33. Кандидат повторяет клятву.

§ 34. Предлож<ивший>: *Дружба к членам!*

§ 35. Канд<идат>: повторяет.

§ 36. Члены встают с места, снимают с к<андидата> покрывало, окружают его, и каждый подает ему руку.

§ 36. (sic). Попечитель прикасается указательным пальцем до глаз, ушей и губ кандидата!..

§ 37. Кандидат кладет указательный палец на губы.

§ 38. Члены: София! София! София!

§ 39. Попеч<итель> и члены садятся.

§ 40. Новый член садится на назначенное ему место, на котором написана данная ему фамилия.

§ 41. Новый член говорит благодарственную речь.

---

Следующее «предложение» поступило от Н. Ф. Остолопова.

В Сословие Друзей просвещения

От члена Словарева.

Ум хорошо, а два лучше.

Общество наше, уже при самом начале своем оказавшее столь блистательные успехи, не обратило еще внимания своего не только на сочинение полного устава, которым бы могло оно руководствоваться, но даже упускает из вида порядок, какой надлежит иметь в принятии новых членов, ибо некоторые известные талантами и произведениями своими писатели оказывают желание разделять с нами труды свои. Конечно, делается сие не по иному чему, как следуя русской пословице *тише едешь, дальше будешь*, и однако ж не худо вспомнить и другую пословицу — не откладывай до завтра, что можно сегодня, — не худо вспомнить и приняться за сочинение устава.

Но как *Улита едет, когда-то будет*, то в ожидании сего столь нужного, полезного и без всякого сомнения многотрудного предприятия осмеливаюсь представить Почтеннейшему Обществу мнение мое касательно одного только порядка (*чем богат, тем и рад*), какой непременно должен сохранять желающий быть членом нашего сословия, и наконец, каким образом долженствует происходить самое принятие. Общество благоволит рассмотреть сие мнение: *больше голов, больше умов.*

Главнейшим же правилом в принятии членов я полагаю не отыскивать желающих, а предоставить им нас отыскивать; ибо *не вода по кувшин ходит, а кувшин за водой*.

Теперь приступаю к показанию статей:

О принятии в члены

[Общества любителей Премудрости и Словесности]

Сословия Друзей Просвещения.

1. Желающий обязан написать письмо к Попечителю или кому-либо из членов, либо к секретарю с просьбою о причислении его в наше Общество.

2. Письмо сие предлагается к слушанию в первое заседание. Для заседания на таковой предмет достаточно трех членов, полагая в то число попечителя и секретаря.

3. Каждый член может подавать при сем случае свое мнение; но решительное удостоверение или неодостоение к принятию зависит от неперменного нашего Попечителя, несмотря ни на какое большинство голосов.

4. От решительного удостоверения Попечителем желающий называется уже кандидатом.

5. Получивший от него письмо уведомляет его сам или посредством Секретаря о намерении Общества принять его в члены и назначает, по общему предварительному соглашению, время, в которое должен он явиться, с объяснением при том нижеследующей принадлежащей к тому статьи:

6. Кандидат обязан при начале заседания сказать речь приветственную.

7. После сего Попечитель объявляет ему, что он принят в Общество и есть уже член оного.

8. Потом члены приветствуют нового своего сотоварища.

За сим начинается заседание обыкновенным порядком.

Член Словарев.

12 Августа 1821.

Предложить <к> рассмотрению общему собранию членов.

Попечитель Мотыльков.

Итак, «некоторые известные талантами и произведениями писатели» готовы принять участие в обществе, — и им-то нужно было предложить добиваться избрания. Эта мысль начинает становиться лейтмотивом всех проектов устава, — и едва ли не подлинной причиной их появления. Внимательно читая «предложения», мы, кажется, можем почувствовать, что авторы их пишут с оглядкой на «попечителя» и, повинувшись ее высказанному или угаданному желанию, готовы открыть двери для приема пришельцев, дос-

тоинств которых они не отрицают. Они озабочены лишь тем, чтобы их не было слишком много и чтобы они явились как просители, а не победители.

Сомов был, кажется, единственным, кого беспокоили вовсе другие вопросы. Его предложение касалось деятельности общества в целом. Единственный из всех он был не дилетант, а профессиональный литератор, — и был затронут уже либеральными веяниями. Он решился на маленький бунт против правил салонной игры и почтительнейше провозгласил свободу профессионального литературного творчества. Он намерен был читать на заседаниях не мадригалы, а вещи более серьезные и печатать их без всякого контроля там, где ему «заблагорассудится», например в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения». И в его «предложении» уже ясно ощущались следы либеральной политической фразеологии, проникавшей и в его стихи и статьи.

В свыше утвержденное Сословие Друзей Просвещения  
От члена оного Артия Арфина

#### Предложение

Свобода, милостивые государи! есть то божество, к которому я обращаю повседневные мольбы мои, которое есть предмет моего служения с тех пор, как чувствую цель и благо бытия моего. Я чтил ее в существе высочайшем, потому что оно свободно правит подлунным миром и зажгло священную искру свободы в душе человека, при самом его рождении; я чтил ее в любви возвышенной, в любви нравственной, потому что выбор сердца зависит от свободного идеала, душою порожденного. [Слабое мое усилие могло бы мне открыть дорогу к почестям и отличиям, но я пренебрег ими, ибо не хотел променять на них драгоценную мою свободу]<sup>19</sup>. Свобода, драгоценная свобода сделалась для меня необходимостью существовою, как воздух, которым мы дышим, как пища, которою мы питаемся. По моим чувствам, по сим понятиям вы легко убедитесь, что всякое иго — есть для меня смерть в нравственном отношении. Я прошу вас, почтеннейшие мои сочлены, обратить внимание на следующие статьи, мною излагаемые.

1-е. Выбор предметов для сочинения и занятия членов должен быть предоставлен на собственную их волю; ибо сочинение, написанное не по своему изобретению, слабо одушевляется воображением и от того бывает холодно и как бы связано.

2-е. Каждый член должен заниматься: но не обязан поставлять на срок сочинений; Общество ограничивает свои требования только тем, что спрашивает у него отчета в его занятиях, кои по важности и обширности предмета могут быть весьма продолжительны.

3-е. Обстоятельства могут попрепятствовать кому-нибудь из членов присутствовать в одном или нескольких заседаниях общества. В таком случае Общество не вправе требовать от него объяснения;

ибо оно основалось и собирается по собственной воле, следовательно каждый член есть полный властелин своих действий.

4-е. Каждый член вправе печатать труды свои, читанные в Обществе, где он за благо рассудит, или даже вовсе их не печатать.

Надеюсь, милостивые государи, что сие мое предложение будет вами принято в уважение и удостоится лестного одобрения несравненного нашего Попечителя, который сам, как благое божество, мысля и действуя в духе законной свободы, конечно же, не пожелает возложить скучный ярем обязанностей на обожающих его членов Общества.

Член Артий Арфин

Августа 12 дня 1821.

На обороте: Предложить на рассмотрение полному собранию членов Общества.

Попечитель Мотыльков.

«Члену Общества г-ну Баснину» — Измайлову — было поручено составить правила Общества по четырем предложениям. Он выполнил свою почетную обязанность — и 16 августа в чрезвычайном собрании членов составлен протокол, гласивший:

«По предложению Г. Попечителя и прочих членов постановлено, до сочинения впредь полного Устава для сего Сословия, руководствоваться нижеследующими правилами:

#### I. СОСТАВ ОБЩЕСТВА.

1. Прежнее название: «Общество любителей Словесности и Премудрости» переменяется на «Сословие Друзей Просвещения».
2. Число членов не ограничивается.
3. В члены предлагает один только Попечитель.
4. Выбор кандидата в члены происходит посредством баллотирования, и если хотя один шар будет не в пользу кандидата, то он не может быть принят членом.

#### II. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ.

1. При вступлении в Сословие нового Члена обязывается он следовать сделанным до него постановлениям и дает в том подписку.
2. Каждый Член обязан в течение месяца представить в Сословие по крайней мере одно свое сочинение или перевод.
3. Предоставляется каждому Члену избирать предмет для своих трудов по его собственному произволению.
4. Если Член три раза сряду не исполнит своей очереди и не представит в извинение уважительных причин, — то, по предложению Попечителя и по большинству голосов, исключается навсегда из Сословия.

## III. ПОРЯДОК ЗАСЕДАНИЙ.

1. Сословие собирается однажды в месяц по назначению Попечителя.
2. Заседания начинаются обыкновенно в семь часов вечера и продолжаются не более двух часов.
3. Постановляется неперемennым правилом не только не читать в Сословии того, что может быть противно Религии, Правительству или относиться до каких-либо личностей, но даже и говорить о таких предметах.
4. Читанные в Сословии сочинения и переводы могут быть печатаемы в периодических изданиях, но только с согласия целого Сословия и под теми именами, которые приняты членами в сем Обществе.
5. Не принадлежащие к Сословию особы допускаются в собрания оногo по взаимному согласию Попечителя и членов.
6. Торжественное собрание «Сословия Друзей Просвещения» бывает обыкновенно в день учреждения оногo, 22 июня».

Протокол был писан рукою Измайлова; под ним стоят подписи его самого, Пономаревой, трех Княжевичей, Остолопова, Яковлева и Сомова. «Скрепил», как всегда, Аким Иванович Пономарев.

Измайлов постарался учесть все пожелания членов. Он несколько ограничил, правда, требования Сомова, — оставив пункт о контроле общества над печатаемыми сочинениями. Вопрос о приеме новых членов был решен с дипломатической двусмысленностью. Предлагать их могла только Софья Дмитриевна — в конце концов это был ее дом, и самое общество собиралось под ее эгидой. Но каждый член имел право вето, которое действовало при тайном голосовании. Окончательное решение тем самым зависело от них.

На этом заседании не присутствовал один член — но самый влиятельный и, быть может, самый заинтересованный в точном определении своих прав — «Аркадин»: Панаев.

Именно его воспоминания раскрывают нам подоплеку тайных споров и подспудной дипломатической работы, шедшей в недрах общества.

Панаев был бы готов еще примириться с появлением Яковлева, — но его ждало другое, более серьезное испытание.

«Подружившись с Дельвигом, Кюхельбекером, Баратынским (тогда еще унтер-офицером, — после разжалования из пажей в солдаты за воровство), он вздумал ввести их в гостеприимный дом Пономаревых, где могли бы они, хоть каждый день, хорошо с ним пообедать, выпить лишнюю рюмку хорошего вина, и стал просить о том Софью Дмитриевну. Она потребовала моего мнения. Я отвечал, что не советую, что эти господа не поймут ее, не оценят; что они могут употребить во зло, не без вреда для ее

имени, ее излишнюю откровенность, ее неудержимую шаловливость. Пока дружеский этот совет, которого она, по-видимому, послушалась, оставался между нами, он ни для кого не был оскорбителен, но коль скоро, по легкомыслию своему, она не могла скрыть того от Яковлева — естественно, что приятели его сильно на меня вознегодовали».

В этом рассказе Панаева, вероятно, довольно точном фактически, есть несколько неточностей в акцентах, — весьма любопытных и частью преднамеренных.

Несколькими строками ранее он рассказывал, что лицеисты насаждали «литературное партизанство». Они, как вспоминал Панаев, «оставляя в стороне гениального Пушкина», были «по большей части люди с дарованиями, но и с непомерным самолюбием». «Ухватясь за Пушкина», они «окружили <...> некоторых литературных корифеев, льстили им, а те, с своей стороны, за это ласкали их, баловали. Напрасно некоторые из них: Дельвиг, Кюхельбекер, Баратынский, продолжал он, старались войти со мной в короткие отношения; мне не нравилась их самонадеянность, решительный тон в суждениях, пристрастие и не очень похвальное поведение: моя разборчивость не допускала сближения с такими молодыми людьми; я старался уклониться от их короткости, даже не заплатил им визитов. Они на меня прогневались и очень ко мне не благоволили. Впоследствии они прогневались на меня еще более, вместе с Пушкиным, за то, что я не советовал одной молодой опрометчивой женщине с ними знакомиться...» И далее шел уже известный нам рассказ о его предостережении Пономаревой.

Одну деталь в этом рассказе мы должны сразу же поставить под сомнение. Пушкин не мог «гневаться» на Панаева за его совет, потому что с мая 1820 года его не было в Петербурге. Но дело даже не в этом.

Панаев писал свои мемуары, сохраняя эмоциональную память о жесточайших литературных полемиках, развернувшихся в 1821—1823 годах, о памфлетах и эпиграммах «лицеистов» против «измайловцев», жертвой которых пришлось стать и ему самому. Его литературная репутация получила тогда чувствительные удары; самолюбие его было задето на много лет. В конце 1850-х годов он отвечал своим литературным и личным противникам и не мог удержаться от соблазна выиграть посмертно эту литературную битву. Он смещал акценты и хронологию, — то вольно, то невольно. Ординарный академик по отделению русского языка и словесности, кавалер нескольких орденов, почетный член Академии художеств и весьма видный деятель высшей бюрократии говорил о своих антагонистах с той высокомерной снисходительностью, с какой он привык — с высоты своего положения — поучать новых «самонадеянных» литераторов — хотя бы своего племянника И. И. Панаева.

В пятидесятые годы он уже не мог мыслить категориями начала двадцатых годов, когда он был начальником исполнительного стола в Комиссии духовных училищ, титулярным советником, лишь в 1823 году получившим чин коллежского асессора, и недостижимой начальственной величиной для него был А. И. Тургенев, приятельствовавший с молодыми «ли-

цейстами». Он уже не мог — да и не должен был — помнить, что Карамзин, Дмитриев и Жуковский, сдержанно-поощрительно отнесшиеся к его первым опытам, и были теми «корифеями», которые баловали молодых людей не очень похвального поведения. И они вряд ли тогда нуждались в его особой приязни и тем более покровительстве.

Здесь была какая-то психологическая аберрация, очень понятная в его положении. Но и это еще не все.

Знал ли Панаев, что Софья Дмитриевна Пономарева, урожденная Позняк, была знакома с лицеистами через своего брата ранее, чем познакомилась с ним? И помнил ли он, когда писал свои воспоминания, что П. Л. Яковлев, брат лицеиста первого, пушкинского выпуска, вовсе не «подружился» с Кюхельбекером и Дельвигом, а был дружен с ними еще до своего отъезда в Бухару, что он в 1818 году жил вместе с Дельвигом на одной квартире и тогда же узнал Пушкина, а немного позднее — Баратынского? И что «унтер-офицер, разжалованный в солдаты за воровство», привлек к себе внимание хозяйки салона ранее, чем он сам, «русский Геснер», Владимир Панаев?

Осмысляя события через тридцать лет, он не мог сознаться себе, что летом 1821 года он уже не контролировал положения. Новые литературные силы уже стояли у порога, и хозяйка, при всей своей любви к Панаеву, собиралась открыть для них дверь. Удержать ее не мог даже его авторитет. Панаев предпочел считать все происшедшее случайностью.

«Случилось, что в это самое время, пользуясь летнею порою, отлучился я на месяц в одно из загородных дворцовых мест. Приезжаю назад — и что ж узнаю? Приятели Яковлева введены им в дом...»<sup>20</sup>

Что значит «в это самое время»?

12 августа он присутствует на заседании общества. Накануне, 11 августа, было заседание Общества любителей словесности, наук и художеств, которое он также посетил и слушал там «лицеистов»: Кюхельбекер читал «Отрывок из путешествия во Францию», Илличевский — «Хлою и мотылька» и «Домового (подражание Лессингу)», Дельвиг — «К ресторатору Талону» Баратынского, — стихи, нам неизвестные<sup>21</sup>. Следующее заседание — чрезвычайное собрание 16 августа, как мы знаем, проходит уже без него. Он пропускает еще два заседания — 25 августа (его стихи «К Кальпурнию» читает Измайлов) и 1 сентября — и появляется только 22 сентября. Между 16 августа и 26 сентября имя его ни разу не упоминается и в дневнике Княжевича, — зато 26-го он является к Княжевичу с Остолоповым, Измайловым и другими, а 27-го с Княжевичем же проводит вечер у Деларю<sup>22</sup>.

Нет сомнения, что его не было в городе в течение месяца — со второй половины августа до второй половины сентября 1821 года.

## Глава VI

### ДЕЛИЯ

*Мало новых идей, и новые идеи поражают только умного:  
посредственность все видела, все слышала*

Летом 1821 года Нейшлотский полк, в котором служил унтер-офицер Евгений Баратынский, был назначен нести караульную службу в столице.

Баратынский радовался, как ребенок. Служба в Петербурге создавала иллюзию освобождения.

16 мая в обществе «соревнователей» читались его стихи «Водопад» и «Элегия», — и он спешит записать «Водопад» в альбом Пономаревой.

В августе месяце вернулся из-за границы Кюхельбекер. Он видел Германию, Италию, охваченную революционными настроениями; из Парижа он следил, как разворачивались события в Пьемонте, где была свергнута королевская власть и провозглашена конституция. Он сочувствовал восставшим и писал стихи о «ненавистных тудееках» — австрийских войсках, подавивших затем пьемонтскую революцию. В Германии он разговаривал с Гете и Тиком, в Париже — с Бенжаменом Констаном. Констан был автором знаменитого «Адольфа» и вождем либеральной партии; он устроил выступления Кюхельбекера в парижском «Атене», и тот читал о свободе и деспотизме так, что старые якобинцы покачивали головой, опасаясь за судьбу молодого человека. Эти лекции действительно испортили отношения Кюхельбекера с патроном его, Нарышкиным, а русский посланник потребовал его выезда. Кюхельбекер вернулся с репутацией отчаянного либерала.

Осторожность была не в его характере. Он читал в обществе «михайловцев» свои отрывки из путевого дневника и адресовал друзьям эллинофильские стихи.

Разрозненное «святое братство» вновь собирается вместе. Кюхельбекер, Яковлев, Баратынский являются к Дельвигу. Он пишет в честь этой встречи «Дифирамб (на приезд трех друзей)»:

О радость, радость, я жизнью бывалою

Снова дышу! <...>

Пришли три гостя в обитель поэтову

С дальних сторон:

От финнов бледных,



Ледяноволосых,  
 От Рейна-старца  
 От моря сыпучего  
 Азийских песков.  
 Три гостя, с детства товарищи, спутники,  
 Братья мои!

Баратынскому Дельви́г тогда же посвящает особое послание:

Ты в Петербурге, ты со мной,  
 В объятьях друга и поэта!

В этом послании он упоминает и о литературных недругах «союза поэтов»: о Цертелеве — «жителе Острова», «невеже злом и своевольном», и об Оресте Сомове:

Пускай Орестов уверяет,  
 Наш антикварий, наш мудрец,  
 Почерпнувший свои познания  
 В мадам Жанлис, что твой певец  
 И спит и пьет из подражанья...<sup>1</sup>

В 1819—1820 годах Сомов печатал в «Благонамеренном» свой перевод сочинения Жанлис «О надписях»<sup>2</sup>.

В августе 1821 года «союз поэтов» чувствует себя в кружке «Благонамеренного» чуть что не во враждебном окружении. И именно в это время он почти в полном своем составе входит в дом Пономаревой.

У Панаева были все основания рассматривать его появление здесь как маленькую революцию, чреватую большими опасностями. Его не было в Петербурге, — и он не мог ничему помешать, а Измайлов, кажется, был слишком послушным рыцарем дамы и слишком родственно относился к своему племяннику.

Мог ли Панаев предотвратить вторжение, если бы вовремя узнал о нем? Трудно гадать об этом, — но слишком велик был соблазн общения с этой богемой, талантливой, образованной и артистичной. Она умела то, что не умел никто более. Сомов, вернувшись из Парижа, не мог бы рассказать и десятой доли того, что знал Кюхельбекер.

В августе 1821 года листы альбомов начинают заполняться записями не вполне обычного содержания. Они сохраняют следы бесед — непринужденных, иногда шуточных, чаще серьезных; вспышек неподдельного остроумия или мгновенных характерологических наблюдений. В этих застольных беседах слышится голос и Софьи Дмитриевны.

Августом помечена запись ее в яковлевском альбоме об уме и посредственности, и с ней словно перекликается рассуждение Кюхельбекера о собственном его характере, также записанное для Яковлева.

«Кюхельбекер странная задача для самого себя — глуп и умен, легковрен и подозрителен: во многих отношениях слишком молод, в других — слишком стар, ленив и прилежен. Главный порок его — самолюбие: он



«Шампанское похоже на хвастуна, в нем часто более пены, чем вина».

Да, она действительно была остроумна в самом точном смысле слова. Как-то она заметила о Крылове: «...писал как Лафонтень, а превзойти его ему мешала лень».

«Яковлев, — сказала Софья Дмитриевна, — расположился жить в свете, как будто у себя дома, и позабыл, что жизнь есть одно мечтание пустое».

Она знала Державина и иронически перефразировала строку из «Водопада».

«Бог так милосерд, что всякому дает по куску говядины. 10 октября».

«Говоря об Аркадине, на слова, что он молод, С. Д. возразила тем, что зато он идиллиями своими равняется Геснеру — по времени»<sup>6</sup>.

Геснер выпустил первую книгу идиллий в возрасте 26 лет. Софья Дмитриевна помнила и это.

Удивительны эти записи, — читая их, словно слышишь обрывки разговоров стосемидесятилетней давности, видишь возбужденные слегка лица собеседников, — но до слуха доносятся лишь отдельные фразы, а память запечатлевает мгновенные снимки:

«*Quelqu'un ayant dit un bon mot, Ma-me se mit à rire pour le faire sentir, on sent que la rire était fort éloquent*».

«Некто сострил, и г-жа П. принялась смеяться, чтобы это стало понятным; понятно было, что смех очень красноречив...»

На ваших ужинах веселых,  
Где любят смех и даже шум,  
Где не кладут оков тяжелых  
Ни на уменье, ни на ум...

— так будет писать Баратынский, — вероятно, по свежим следам этих вечеров.

Где для холопа иль невежды  
Не притворяясь, часто мы  
Браним указы и псалмы...

Среди записей яковлевского альбома — «*Bon mot de M. Baratinsky*»: «*Quelqu'un parlant du despotisme du gouvernement Russe. Monsieur dit qu'il planait au dessus de toutes les lois*».

«Остроумное замечание г-на Баратынского. Некто говорил о деспотизме русского правительства. Г. Баратынский заметил, что оно парит выше всех законов»<sup>7</sup>.

Дух времени, заставлявший умы клокотать, властно врывается в дружеский кружок Пономаревой. Вспомним Ореста Сомова, писавшего стихи на свободу, которые ему советовали не давать списывать.

Старшее поколение не напрасно пыталось поставить границы разговорам против правительства и не доверяло «баловням-поэтам», в которых видело рассадников «либерального духа».

Ни в чем не следуя пристрастью,  
Даете цену вы всему:  
Рассудку, живости, уму,  
И удовольствию, и счастью;  
Свет пренебрегши в добрый час  
И утеснительную моду,  
Всему и всем забавить вас  
Вы дали полную свободу;  
И потому далеко прочь  
От вас бежит причудниц мука,  
Жеманства пасмурная дочь,  
Всегда зевающая Скука...<sup>8</sup>

Салон перерастал в литературный кружок. Таких стихов не писали, вероятно, никому из многочисленных хозяек петербургских и московских салонов.

Эпоха неуклюжих полушуточных, полуканцелярских протоколов, надуманных прозвищ, архаических мадригалов оканчивалась для дома Пономаревой.

Наступала эпоха дружеских посланий.

Послания, однако, были обращены к «Калипсо», «Хлое», «Дориде». Два года назад Баратынский обронил в одном из мадригалов галантное замечание, что дружба с прекрасной девушкой «всегда похожа на любовь». Теперь он мог поверить свое юношеское глубокомыслие собственным зрелым опытом. Дружеские послания были как нельзя более похожи на любовные циклы.

Если бы Баратынский имел обыкновение выставлять даты под своими стихами, мы могли бы по ним восстановить некий абрис его внутренних взаимоотношений с Пономаревой и выстроить своего рода естественно сложившийся любовный «цикл». Но мы не знаем точно даже последовательности обращенных к Пономаревой посланий Баратынского и должны датировать их по шатким и косвенным признакам.

Мы знаем, однако, что два первых послания — «В альбом» («Вы слишком многими любимы...») и, что особенно важно, — «К...о» — существовали уже к марту 1821 года, — в первый приезд Баратынского в Петербург.

Когда написаны два следующих стихотворения, о которых пойдет речь ниже, — мы не знаем. Они были записаны в альбоме Пономаревой и были опубликованы впервые через пятьдесят лет после смерти поэта<sup>9</sup>. Их датируют условно, как и большинство записей альбома, — 1821 годом, иногда 1822-м. Это стихи «В альбом» («Когда б вы менее прекрасной...») и «Слепой поклонник красоты...».

Лирическая тема этих стихов уже несколько иная.

Полгода назад Баратынский в изящных мадригальных строчках выражал недоверие искренности чувства красавицы, привыкшей к легким победам. Сейчас он не доверяет себе. Его лирический герой разочарован; отвергнутый «молодыми волшебницами» в дни юности, он заменил любовь поэзией:

Огонь утих в моей крови;  
Покинув знамя Купидона,  
Я променял альков любви  
На верх бесплодный Геликона:  
Но светлый мир уныл и пуст,  
Когда душе ничто не мило.  
Руки пожатые заменило  
Мне поцелуй волшебных уст! <sup>10</sup>

Эта тема любовного успокоения, купленного прошлыми страданиями, проходит по нескольким стихотворениям Баратынского начала 1820-х годов, и, конечно, ее нельзя понимать как буквальное автопризнание. Но нечто подобное Баратынский полусуто говорил и самой Пономаревой: когда волосы его побелеют, он станет в ряды ее поклонников. Любовный поединок продолжался, и в нем поэт надевал на себя маску элегического героя.

Второе стихотворение еще более интересно, и нам следует прочесть его целиком.

#### В АЛЬБОМ

Когда б вы менее прекрасной  
Случайно слыли у молвы;  
Когда бы прелестью опасной  
Не столь опасны были вы...  
Тогда б еще сей голос нежный  
И томный пламень сих очей  
Любовью менее мятежной  
Могли грозить душе моей;  
Когда бы больше мне на долю  
Даров послал Цитерский бог, —  
Тогда я дал бы сердцу волю,  
Тогда любить я вас бы мог.  
Предаться нежному участию  
Мне тайный голос не велит...  
И удивление, по счастью,  
От стрел любви меня хранит <sup>11</sup>.

Баратынский привык анализировать чувство. Он делал в стихах то, что Сомов — в своих письмах. Он открывал для литературы психологическую элегию, и наблюдения над самим собой давали ему неоценимый материал. Это делало его стихи несколько холодными, — недаром он был выученик французских моралистов, расчленявших и рационализировавших душевную жизнь и как бы отчуждавших ее от ее носителя. Как и в первом стихотворении, «верить» ему здесь было бы наивно, — но поворота темы нельзя не заметить. Лирический герой колеблется; он потерял прежнюю психологическую устойчивость и определенность. Он увлечен.

И сам поэт увлечен тоже.

Было бы соблазнительно угадать в этих строках следы устных бесед. «Предаться нежному участию...» Вспомним строчки послания к Коншину: «Счастливы мнимые! способны ль вы понять Участья нежного сердечную услугу?» Что это? Элегическая формула, поэтическое клише, нередкое в стихах пушкинской поры, — или отсылка к своему прежнему стихотворению, и как раз к тому его месту, которое должно было особенно затронуть тонкую и глубоко чувствующую женщину? Мы не знаем и никогда не узнаем этого, — но не случайно эта формула повторится еще раз, уже не у Баратынского, а у Дельвига в стихах, обращенных к Пономаревой.

Но, быть может, еще любопытнее, что на эти стихи существует лукавый и своеобразный современный отклик.

В собрании Пушкинского дома сохранился альбом, состоящий полностью из шаржированных изображений. Он вышел из недр измайловского кружка; подписями под рисунками в нем служат стихи Баратынского и Измайлова, причем последние — иногда в допечатных редакциях. Сюжеты, избранные анонимным рисовальщиком, — те же самые, что были в пародиях и сатирических баснях Измайлова.

Среди этих шаржей есть один, который должен остановить наше внимание. На нем изображен молодой франт, галантно изогнувшийся перед темноволосой красавицей. Справа от его фигуры, дышащей какой-то комической важностью, записаны стихи: «Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет» — и далее, до конца.

Это были те самые стихи из антологии, которые, как мы помним, записал Панаев в альбом Пономаревой 28 марта 1821 года и которые теперь (повидимому, в 1824 году) были прочитаны как прямое любовное послание.

Красавица не смотрит на франта; она сложила руки на животе и всем своим видом демонстрирует равнодушие. Над ней надпись: «Предаться нежному участию Мне тайный голос не велит И удивление по щастью От стрел любви меня хранит».

Это слегка искаженные стихи Баратынского, только что прочитанные нами. Они попали сюда из альбома Пономаревой, ибо в печати не были известны.

Автором карикатур был Яковлев.

Мы можем утверждать это, почти не рискуя ошибиться, потому что на одном из соседних листов есть шаржированные акварельные портреты Кюхельбекера и Дельвига и тот же рисунок с легкими изменениями повторен на дошедшем до нас листе из утраченного альбома Пономаревой. Этот последний рисунок принадлежал Яковлеву, как и несколько других, например изображение корзины, наполненной пылающими сердцами. Подпись гласила: «Игрушки Софьи Дмитриевны»<sup>12</sup>.

Яковлеву было отлично известно, чьими сердцами играла Софья Дмитриевна, ибо в их числе было, кажется, и его собственное. Но рисуя свою злую карикатуру, он, быть может, с умыслом, лишил действующих лиц прямого портретного сходства. Красавица на ней крупна и мужеподобна и не слишком похожа на известный нам миниатюрный портрет Пономаре-

вой, а в ее поклоннике при желании можно узнать черты и Панаева, и Баратынского, и, возможно, еще третьих и четвертых лиц, нам неизвестных.

И подписи под шаржами сделаны не Яковлевым, а кем-то другим, чей почерк не совпадает полностью ни с одним известным нам почерком посетителей кружка.

Этот кто-то, однако, близко знал его внутреннюю жизнь и прояснил адрес яковлевской карикатуры или дал ей свое истолкование. Нет сомнения, что он намеренно выбрал стихи двух соперников — Панаева и Баратынского, — обращенные к Софье Дмитриевне, и сконструировал из них диалог, представляя отношения Панаева и Пономаревой как историю отвергнутых домогательств.

Звездный час Владимира Панаева шел на убыль.

Он вернулся, как нам уже известно, в конце сентября и, по-видимому, уже не застал Баратынского: Нейшлотский полк возвращался на зимние квартиры в Финляндию. Баратынский уезжал, вспоминал Коншин, «с сердцем, разбитым и тоской, и чувствами»<sup>13</sup>.

---

Тем временем новые рыцари являлись на ристалище, чтобы принять участие в поэтическом турнире за благосклонность дамы.

Осенью 1821 года в альбоме Пономаревой появляются записи Дельвига.

Нам неизвестно точно, когда он впервые вошел в пономаревский салон, и датировки его стихов почти столь же неопределенны, как и стихов Баратынского. Нужно думать, однако, что Пономарева слышала о нем еще до знакомства с ближайшим его другом; вспомним, что брат ее учился в Царскосельском лицее, — да и в измайловское, «михайловское», общество Дельвиг вступил давно, еще в январе 1818 года, а затем жил на одной квартире с П. Л. Яковлевым. Может быть, даже вполне вероятно, что он был знаком с Пономаревыми, как был знаком между собою почти весь узкий петербургский литературный круг.

Тем не менее у нас есть только одна твердая дата: 22 ноября 1821 года в обществе «соревнователей» читается стихотворение Дельвига «На смерть собаки Мальвины» и, вероятно, несколько ранее вписывается в альбом Пономаревой.

Когда были написаны эти стихи?

В «сказке» «Вор и собака» Измайлов упоминал «Гектора и Мальвину», «имена собак г-жи П-ой», которые, «конечно, с радостью умрут за госпожу» (в первой редакции было: «едва ль умрут за госпожу», но, видимо, сомнение было сочтено неуместным). В автографе означено время написания: «нач. <ато> 6 авг. 1820, оконч.<ено> 14 и 17 апр. 1821»<sup>14</sup>. Стало быть, еще в середине апреля эпитафия Мальвине не могла появиться.

Не была ли Мальвина той самой раненой собакой, которой Орест Сомов вечером 7 июня уступил свое ложе? Если это было так и бедное животное погибло в середине июня, то сомнительно, что поэтическое воспоминание о нем писалось в конце ноября. Скорее всего, оно относится к концу

лета, когда горесть хозяйки уже притупилась, а память о преданном спутнике еще не исчезла. Как раз в это время, как мы помним, молодые поэты входят в дом Пономаревой.

Много позже, печатая эти стихи в «Северных цветах» с заменой «Мальвины» на «Амику», а Софии — на Лидию, — Дельвиг снабдил их примечанием: «Эта шутка была написана в угодность одной даме, которая желала, чтобы я сочинил на смерть ее собачки подражание известной оде Катулла "На смерть воробья Лесбии", прекрасно переведенной Востоковым».

Итак, стихи были заказаны, — совершенно так же, как заказывались они Сомову, Панаеву или Измайлову, — они должны были включиться в длинную цепь литературных шуток, мадригалов на дни рождения, куплетов на заданные слова. Разница была в одном: Дельвигу предлагалось создать стилизацию, «подражание древним». Хозяйка салона явно следила за его творчеством и знала его поэтические вкусы. Она не ошиблась.

По прошествии ста шестидесяти лет мы не можем уже оценить в полной мере грациозность дельвиговской «шутки». Но мы в состоянии оценить то обстоятельство, что она дожила до нашего времени как литературное произведение, а не как факт массовой салонной поэзии. И вместе с тем она была порождением именно этой последней.

Смысл шутки заключался в том, что «подражание», стилизация была преднамеренной, подчеркнутой — и вместе с тем слегка тронутой иронией. Комнатная собачка, с лаем кидавшаяся на гостей, была памятна всем посетителям дома, но ее нехитрая жизнь вдруг неожиданно облеклась в одежды поэтические и мифологические; она заняла место подле псов Дианы и заливалась лаем на Марса и Зевса. То, что для похвал ее шелковистой шерсти и привязанности к хозяйке был мобилизован весь реквизит поэзии века Августа, — было забавно, как забавны были и античные эвфемизмы. «А она и пол-люстра, невинная! Не была утешением Софии». Неизбежное жеманство салонной поэзии здесь даже не преодолевалось; оно стало органическим элементом художественной шутки; оно превратилось в слегка пародийную стилизацию. Но поэту было этого мало: он приуготавливал своим читателям новый эффект. В конце своей «унылой песни» он вдруг вернулся к подлинному тексту Катулла:

Уж Мальвина ушла за Меркурием  
За Коцит и за Лету печальную,  
Невозвратно в обитель Аидову...

Так птенчик Лесбии, некогда живой и резвый, бредет мрачной стезей — «per iter tenebricosum» — туда, откуда никто не возвращается. Это почти цитата, где сквозь общий шуточный тон пробивается грустная интонация древнего поэта.

...В те сады, где воробушек Лесбии  
На руках у Катулла чирикает<sup>15</sup>.

Вот где заключалось подлинное искусство! В двух завершающих строках полупародийного стихотворения вдруг с полной неожиданностью раз-



вертывался образ, излюбленный Батюшковым и его молодыми учениками: образ вечно продолжающейся жизни в античном Элизее, где живой Катулл держит на руках живого же, воспетого им некогда воробышка. «Подражание Катуллу» было окончено, — и оно далеко оставило за собой свой образец — восточковский перевод.

Салонная поэзия становилась поэзией в точном и высоком смысле этого слова.

Рядом с элегией на смерть Мальвины в рабочей тетради Дельвига поместилось еще одно стихотворение — «О сила чудной красоты!», оканчивающееся словами:

...Ты

Явилась, душу мне для муки пробудила,  
И лира про любовь опять заговорила<sup>16</sup>.

Эти стихи были написаны приблизительно тогда же, когда и элегия, и также вписаны в альбом Пономаревой.

Итак, в конце 1821 года Дельвиг также оказывается в числе поклонников «Калипсо». Но будем осторожны; не станем искать в первом же мадригальном посвящении следов реального и глубокого чувства. Стихи Дельвига искусны и слегка холодны; в них — след не индивидуального, но общего эмоционального опыта, какой уже накопила элегическая поэзия. Разочарованный герой, пробуждающийся к новой жизни «мощной властью красоты», как скажет потом Пушкин, — для стихов 1820-х годов — уже общее место; большой поэт может силой таланта придать ему индивидуальное обличье, но при сравнении с другими подобными же героями иллюзия рассеется или, во всяком случае, поколеблется. Современный читатель, знающий биографию Пушкина, вычитывает в его стихах к Керн («Я помню чудное мгновенье...») историю пылкой и трогательной любви, — но в них этой истории нет; они — лишь мадригал, написанный рукой гениального мастера, и, если сравнить их с другими, выстраданными пушкинскими стихами, такими, как «Храни меня, мой талисман...» например, — сразу видно, что в них меньше лирического напряжения, что они — мастерская аранжировка общего лирического сюжета, — кстати, того же самого, что в интересующих нас сейчас стихах Дельвига.

Дельвигу предстоит еще пережить увлечение и написать о нем совсем иные стихи, — но это произойдет несколько позже.

Между тем Нейшлотский полк, в котором служит унтер-офицер Баратынский, вновь прибывает в Петербург.

Дельвиг приветствовал товарища стихотворением «Музам»:

Придите, девы, воскресить  
В нем прежний пламень вдохновений  
И лиру к звукам пробудить:  
Друг ваш и друг его Евгений  
Да будет глас ее хвалить<sup>17</sup>.

Это стихи зимы 1821/22 года: в них есть упоминание о «вьюгах и морозах».

16 января 1822 года Баратынский явился на заседание Вольного общества любителей российской словесности и читал там стихотворение «К другу». Это было, конечно, то стихотворение, которое мы знаем сейчас как послание «К Дельвигу»:

Ты помнишь ли, в какой печальный срок  
 На дружбу мне ты руку дал впервые —  
 И думая: по сердцу мы родные —  
 Стал навещать мой скромный уголок?  
 Ты помнишь ли, с какой судьбой суровой  
 Боролся я, почти лишенный сил?  
 Не ты ль тогда мне бодрость возвратил?  
 Не ты ль душе повеял жизнью новой?  
 Ты ввел меня в семейство добрых Муз...<sup>18</sup>

Да, это было правдой. Многие годы спустя Баратынский не мог говорить спокойно о том волнении, с каким он увидел свои первые напечатанные стихи, — стихи, отданные в «Благонамеренный» Дельвигом без его ведома.

«Союз поэтов» собирался вместе.

Может быть, в этот свой приезд Баратынский пишет уже знакомые нам стихи «О своенравная София...» — о веселых ужинах, где смеются над указами и псалмами. На них-то поэт «основал свои надежды И счастье нынешней зимы». Это могла быть, конечно, и зима 1822/23 года, когда Баратынский задержался в Петербурге на четыре месяца, — но, как мы увидим, за год произошли события, несколько изменившие и характер отношений, и самую тональность посвящений Баратынского. Сейчас же все сложности еще впереди, а в настоящем — радость встречи, легкое кокетство, *amitié amoureuse* — полудружба-полулюбовь — и те же темы, те же сюжеты, которые начинались в стихах, написанных до пятимесячной разлуки:

О своенравная София!  
 От всей души я вас люблю,  
 Хотя и реже, чем другие,  
 И неискусней вас хвалю...  
 Иной порою, знаю сам,  
 Я вас браню по пустякам.  
 Простите мне мои укоры:  
 Не ум один дивится вам,  
 Опасны сердцу ваши взоры:  
 Они лукавы, я слышал,  
 И, все предвидя осторожно,  
 От власти их, когда возможно,  
 Спасти рассудок я желал.

Я в нем теперъ едва ли волен,  
И часто, пасмурный душой,  
За то я вами недоволен,  
Что недоволен сам собой <sup>19</sup>.

Шестнадцатого января, как сказано, он присутствует на заседании «современователей». Далее имя его из протоколов исчезает. Он не появляется ни на одном заседании, вплоть до середины апреля.

Он болен.

Сохранилась его записка, без даты, обращенная к Гнедичу: «Почтеннейший Николай Иванович, больной Боратынский довольно еще здоров душою, чтоб ему глубоко быть тронутым вашей дружбою. Он благодарит вас за одну из приятнейших минут его жизни, за одну из тех минут, которые действуют на сердце, как кометы на землю, каким-то электрическим воскресением обновляя его от времени до времени.

Благодарю за рыбаков, благодарю за прокаженного, Вы сделали, что все письмо состоит из одних благодарностей.

Еще более буду вам благодарным, ежели сдержите слово и навестите преданного вам Боратынского.

Назначьте день, а мы во всякое время будем рады и готовы» <sup>20</sup>.

В этой записке идет речь о двух произведениях: «Рыбаках» Гнедича и «Прокаженном города Аосты», переведенном Баратынским из Ксавье де Местра.

«Рыбаки» были напечатаны в восьмой книжке «Сына отечества» за 1822 год; при следующей, девятой книжке подписчикам раздавался пятый номер литературных приложений — «Библиотеки для чтения», где был перевод Баратынского. Вероятно, Гнедич прислал больному книжки со своим и его сочинением, что могло произойти после 13 марта, когда «прибавления» с «Прокаженным...» вышли из типографии.

Письмо, стало быть, относится к середине марта 1822 года. Оно объясняет, почему Баратынский исчез на время из литературных кружков <sup>21</sup>.

И оно говорит нам о крепнущих дружеских отношениях с Гнедичем, о чем в свое время еще будет речь.

---

В начале марта болезнь Баратынского, впрочем, уже идет на убыль. Он уже может выходить и даже обедает у Пушкиных, где приехавший И. П. Липранди рассказывает об Александре. Пьют шампанское за здоровье изгнанника <sup>22</sup>. А девятого марта в «михайловском» обществе Измайлов читает три его стихотворения: «Догадка», «Возвращение» и «Поцелуй» <sup>23</sup>.

Сей поцелуй, дарованный тобой,  
Преследует мое воображенье;  
И в шуме дня, и в тишине ночной  
Я чувствую его напечатленье.  
Случайным сном забудусь ли порой, —

Мне снишься ты, мне снится наслажденье;  
 Блаженствую, обманутый мечтой,  
 Но в тот же миг встречаю пробужденье, —  
 Обман исчез, один я, и со мной  
 Одна любовь, одно изнеможенье.

Все стихи были напечатаны в одиннадцатом номере «Благонамеренного», получившем билет на выпуск 16 марта. «Поцелуй» носил подзаголовок: «К Дориде».

Никому из биографов Баратынского не приходило в голову комментировать это стихотворение, — и нельзя не признать, что само по себе оно не предмет для толкований. Стоит ли за ним какой-то реальный эпизод или нет, — для понимания его, в сущности, безразлично. Мы вправе предположить здесь мотив чисто литературный, тем более, что концовка «Поцелуя» явно перефразирует строчки очень известной элегии Парни — одиннадцатой в четвертой книге его «Любвных стихотворений»; той самой, которую когда-то перевел Батюшков:

На свете все я потерял,  
 Цвет юности моей увял:  
 Любовь, что счастьем мне мечталась,  
 Любовь одна во мне осталась!  
 (Элегия, 1804 или 1805).

Все это так, — и вместе с тем в «Поцелуе» есть некая любовная тайнопись, которую сам Баратынский слегка приоткрыл. Она заключается в подзаголовке «К Дориде». «Дорида» — имя литературное, условное, означающее «прелестницу», «возлюбленную», реальную или вымышленную. Им можно было обозначить и Пономареву, наряду с другими именами, столь же условными: «Климена», «Хлоя», «Лидия», — но на короткий срок в посланиях 1822—1823 годов Баратынский и Дельвиг, как мы увидим далее, закрепят за Пономаревой два условных имени — «Дорида» и «Делия».

«К Дориде» — так будет называться стихотворение Баратынского, вышедшее в свет в том же 1822 году и обращенное к Софье Дмитриевне. Перепечатывая его в своем сборнике в 1827 году, он назовет его «К Делии».

Делией назовет Пономареву Дельвиг в послании к Баратынскому. Но этого мало.

Если мы пробежим мысленно дневники Сомова, мы убедимся, что однажды уже встречались с такой психологической ситуацией.

Вспомним запись от первого июня. «Конечно же, мстя за мое равнодушие, она удержала меня у изголовья своей постели... Я потерял власть над собой... она даровала мне поцелуи, которые проникали все мое существо... с того момента я посвятил себя ей...» Этого момента совершенной победы добивалась петербургская Армида. Чем сильнее, талантливее, привлекательнее был противник, чем дольше он сопротивлялся обольщению, тем более напряженным и страстным становился поединок ума и чувства. «... Все это было лишь притворством; она видела, что оно — единст-

венное средство приковать меня к своей победной колеснице...» Два месяца надежд, разочарований, мучений и ревности понадобилось Сомову, чтобы понять это, — и, даже лишившись иллюзий, он уже не смог справиться с наваждением.

Если бы Орест Сомов сублимировал свои чувства в аналитических элегиях, как Баратынский, он бы написал нечто подобное:

Сей поцелуй, дарованный тобой,  
Преследует мое воображенье...

Если бы Баратынский вел дневник, подобно Сомову, мы, вероятно, нашли бы в нем запись, свидетельствующую, что в его взаимоотношениях с Пономаревой настал некоторый поворотный момент.

Но Баратынский не вел дневника, а писал стихи, которые сами собой складывались в не предусмотренный заранее любовный цикл, где канвой служила подлинная история его увлечения, очищенная от случайностей и обобщенная искусством. Этот-то цикл и интересует нас сейчас, и «Поцелуй» важен нам как поворотный момент поэтического романа.

Ибо все то, что записал потом Сомов в дневнике, не исключая побочных наблюдений и размышлений, стало предметом поэтической рефлексии в одном из превосходных любовных стихотворений Баратынского, в первой редакции названном «Дорида», во второй — «Делии», а современному читателю известном без названия, по первой строке: «Зачем, о Делия, сердца молодые ты...»

Жена Баратынского, Анастасия Львовна, знала или предполагала, что эти стихи обращены к Пономаревой. В копии, сделанной ее рукой, проставлены инициалы: «С. Д. П.».

Послание «Дорида», в отличие от «Поцелуя», было напечатано не в «Благонамеренном». В узком литературном кружке, где каждый участник был вхож за кулисы, оно могло читаться как чуть что не памфлет. В воейковских «Новостях литературы», где оно появилось впервые, таких ассоциаций возникнуть не могло. «Дорида» было, как уже сказано, условное имя, а самая тема обычна — хотя бы для французской поэзии. Первые комментаторы послания указывали — и не без оснований, — что оно напоминает несколько стихотворение Пушкина «Прелестнице» (1818).

И вместе с тем Дорида Баратынского — это не прелестница, предлагающая любителям наслаждений «златом купленный восторг», — это опасная очаровательница, неотразимая и недоступная. Вероятно, впервые такой образ являлся в русской поэзии.

Зачем, о Делия, сердца молодые ты  
Игрой любви и сладострастья  
Исполнить силишься мучительной мечты  
Недосягаемого счастья?

Так начинается поздняя редакция стихотворения, освобожденная от всего конкретного и случайного, созданная через два с лишним года после того, как сама Дорида-Делия отошла в царство теней.

В 1822 году Баратынский писал иначе, и в начальных строках его послания-инвективы легко улавливаются те самые сцены, которые уже знакомы нам по поздним воспоминаниям Свербеева. Через несколько десятилетий его мысленному взору представляла Софья Дмитриевна, бабочкой порхавшая в толпе вздыхателей, «возбуждая своим утонченным участием и нескромными телодвижениями чувственность каждого». Он запомнил и Баратынского в этой толпе, и тогда же, как мы знаем, его поразили мягкая эlegantность и благородство его движений и разговора. Внимательный наблюдатель литературной жизни, он, без сомнения, знал и стихи «Дориде», — не приходили ли они ему на память, когда он писал свои мемуары?

Зачем нескромностью двусмысленных речей,  
 Руки всечасным пожиманьем,  
 Притворным пламенем коварных сих очей,  
 Для всех увлажненных желаньем,  
 Знакомить юношей с волнением любви,  
 Их обольщать надеждой счастья  
 И разжигать, шутя, в смятенной их крови  
 Бесплодный пламень сладострастья?  
 Он не знаком тебе, мятежный пламень сей;  
 Тебе неведомое чувство  
 Вливает в душу их, невольницу страстей,  
 Твое коварное искусство.

Судьба Свербеева, «несчастливого Поджио младшего», Ореста Сомова и других, неизвестных нам по имени, вставала перед Баратынским.

Я видел вкруг тебя поклонников твоих,  
 Полуиссохших в страсти жадной;  
 Достигнув их любви, любовным клятвам их  
 Внимаешь ты с улыбкой хладной.  
 Не верь слепой судьбе, не верь самой себе: —  
 Теперь душа твоя в покое;  
 Придется некогда изведать и тебе  
 Любви безумье роковое!<sup>24</sup>

Остановимся перед этим, быть может неосознанным, пророчеством, — о нем еще будет речь. Испокон веку отвергнутые поклонники призывали кары бога любви на головы своих неблагодарных кумиров. Но здесь пророчеству суждено будет сбыться: «любви безумье роковое» не минует и Софью Дмитриевну. Однако сейчас оно явно угрожает самому поэту.

Сей поцелуй, дарованный тобой,  
 Преследует мое воображенье...

В «Дориде» есть след пережитого и перечувствованного; строки, которые мы прочли сейчас, почерпнуты и из наблюдений над самим собой. Годом позже он напишет в послании Гнедичу:

То, занят свойствами и нравами людей,  
 В их своевольные вникаю побужденья,  
 Слежу я сердца их сокрытые движенья  
 И разуму отчет стараюсь в сердце дать!<sup>25</sup>

Он не остался нечувствительным к «коварному искусству» своей «Дориды» и «Делии». Послание, написанное к ней, появилось в печати в августе; одиннадцатого числа было подписано цензурное разрешение восьмого номера «Новостей литературы». Впечатления полугодовой давности не выветрились еще из памяти поэта, — а может быть, самые стихи были написаны ранее. Еще в середине апреля он был в Петербурге; 17 числа он читал в обществе «соревнователей» свое стихотворение «Весна», где упомянул об увядающей красавице, для которой прошла пора любви. Эту же тему он развил в заключительной части своего обращения к «Дориде», где предсказывал жестокой оболстительнице такое или почти такое будущее. В конце лета он вернулся с полком в Финляндию, где его посетили Дельвиг, Эртель и Павлищев, будущий муж Ольги Сергеевны Пушкиной. Дельвиг был, вероятно, единственным, кто мог по достоинству оценить положение вещей, — и у нас есть все основания думать, что именно в это время Софья Дмитриевна занимает особое место в их откровенных беседах.

Мы можем говорить об этом с некоторой уверенностью, потому что существует послание Баратынского «Д<ельвиг>у», сохранившее следы этих бесед:

Я безрассуден — и не диво!  
 Но рассудителен ли ты,  
 Всегда преследуя ревниво  
 Мои любимые мечты!  
 «Не для нее прямое чувство;  
 Одно коварное искусство  
 Я вижу в Делии твоей;  
 Не верь прелестнице лукавой:  
 Самолюбивою забавой  
 Твои восторги служат ей».  
 Не обнаружу я досады,  
 И пронизательность твоя  
 Хвалы достойна, верю я,  
 Но не находит в ней отрады  
 Душа смятенная моя.

Эти стихи появились в печати только в 1825 году в «Полярной звезде»; написаны же они были никак не позднее 1823 года, — и, по некоторым косвенным признакам, именно в 1822 году. Нам придется убедиться вскоре, что Дельвигу также выпало на долю пережить увлечение Софьей Дмитриевной, — и не шуточное; оно падает как раз на 1823 год, и в это время ему было, нужно думать, не до рассудительных остережений; да и разговоры подобного рода в условиях любовного соперничества были бы лукавст-

вом непростительным, и даже более того. Но этого мало: в 1823 году самые отношения Баратынского с Пономаревой рисуются совершенно иначе, нежели в стихах, которые занимают теперь наше внимание:

Я вспоминаю голос нежный  
Шалуни ласковой моей,  
Речей открытых склад небрежный,  
Огонь ланит, огонь очей...

Так писал Баратынский в «Догадке» 1822 года, описывая «любви приметы»:

...и жар ланит  
И вздох случайный...  
Ты вся в огне...<sup>26</sup>

Медовый месяц взаимного увлечения — и переливающиеся из стихотворения в стихотворение поэтические формулы и темы. Одну из них мы уже отметили в «Весне», также 1822 года. Вторая — в «Догадке». Третья — и самая важная — в стихах «Дориде»: «коварное искусство», — не просто формула, но поэтический лейтмотив.

Я вспоминаю день разлуки,  
Последний долгий разговор,  
И полный неги, полный муки,  
На мне покоившийся взор...

Разлука — перед отъездом Баратынского в Финляндию.

Я перечитываю строки,  
Где, увлечения полна,  
В любви счастливые уроки  
Мне самому дает она.  
И говорю в тоске глубокой:  
«Ужель обманут я жестокой?  
Иль все досель в безумном сне  
Безумно чудилось мне?  
О, страшно мне разуверенье  
И об одном мольба моя:  
Да вечным будет заблужденье,  
Да век безумцем буду я...»<sup>27</sup>

Здесь — не просто поэтическая вольность. Переписка продолжалась, — в этом трудно сомневаться: Софья Дмитриевна писала Сомову, Измайлову, возможно, Яковлеву, почти наверное — Панаеву. Но переписка была закономерной фазой литературного романа; увлечение Софьи Дмитриевны проходило, и ей хотелось больше анализировать чувство, чем возвращать его в себе. Для анализов же нельзя было найти лучшего партнера; психологическую проницательность и литературные дарования Баратынского



она не раз имела случай оценить. Мы можем еще и еще раз пожалеть, что не сохранилось ни одного из ее писем; быть может, с ними утрачена для нас русская Аиссе двадцатых годов девятнадцатого века.

---

Баратынский оставался в Петербурге еще в июле 1822 года. Полк должен был вернуться в Финляндию к концу августа<sup>28</sup>, но если Баратынский и уехал, то лишь на короткий срок. 21 сентября он получил отпуск, длившийся до 1 февраля 1823 года<sup>29</sup>. Таким образом, у него было время посетить Пономаревых, и, нужно думать, неоднократно. Ничего об этих посещениях мы не знаем и можем лишь предполагать, что он бывал там вместе с Дельвигом и что Дельвиг был тем предметом, на который теперь обратилось заинтересованное внимание Софьи Дмитриевны. Капризы «своенравной Софии» подчинялись строгому закону, который мы уже не раз имели случай наблюдать и который с художнической проницательностью схватил Баратынский в послании «к Делии»:

Зачем, о Делия, сердца молодые ты...

«Игра любви и сладострастья», затем поклонники, «полуиссохшие в страсти жадной», затем — охлаждение:

Достигнув их любви, молениям жалким их  
Внимаешь ты с улыбкой хладной...

Так было с Сомовым. Так было с самим Баратынским, — и он оставил в превосходных стихах опасный, коварный и манящий портрет Дон Жуана в женском обличье.

Он не принял во внимание лишь одного обстоятельства, которое будет важно для его, Баратынского, «читателя в потомстве». Его собственные стихи были порождением некоей духовной связи с петербургской цирцеей.

И не только эти стихи. Нечувствительно для себя он создавал целый цикл, посвященный Пономаревой. В нем было все — и острый первоначальный интерес, и влюбленность, и любовь, и постепенное угасание чувства, перерождающегося в дружескую связь. И цикл был еще не окончен.

Баратынский мог не думать об этом, — Пономарева, без сомнения, думала. Меньше всего в ней было от неистойой вакханки. И меньше всего ее привлекали блестящие кавалергарды, первые красавцы Петербурга. Ее коварное искусство обращалось на поэтов и художников, которые летели к ее дому, как мотыльки на огонь.

И в их числе был флегматичный, бледный, одутловатый и болезненный юноша, слишком полный и мешковатый для своих лет, с тонкими золотыми очками на близоруких глазах, — обладавший мягким британским юмором и абсолютным поэтическим чутьем.

Барон Дельвиг, которого Измайлов с грубоватым добродушием называл «Бар... Дель...» и преследовал шуточками в своем «Благонамеренном».

Среди стихов Дельвига есть любовный сонет с пейзажной картиной, где упоминается о созревшей жатве. Он начинается словами:

Я плыл один с прекрасною в гондоле...

Эта экспозиция, вероятнее всего, не вымышлена. Вспомним поездки на дачу водой, о которых писали и Измайлов, и Сомов. Тогда это конец лета или осень 1822 года.

Я не сводил с нее моих очей,  
Я говорил в раздумье сладком с ней  
Лишь о любви, лишь о моей неволе.

Брега цвели, пестрело жатвой поле,  
С лугов бежал лепечущий ручей,  
Все нежилось. Почто ж в душе моей  
Не радости, унынья было боле?

Что мне шептал ревнивый сердца глас?  
Чего еще душе моей страшиться?  
Иль всем моим надеждам не свершиться?

Иль и любовь польстила мне на час?  
И мой удел, не осушая глаз,  
Как сей поток, с роптанием сокрыться?

Если этот сонет действительно посвящен Пономаревой, то он говорит об уже начавшихся отношениях. В том же, что адресат его — Софья Дмитриевна, сомневаться почти не приходится.

Он был вписан в альбом Пономаревой вместе с тремя другими сонетами Дельвига и с шутивным посвящением хозяйке. Все остальные сонеты Дельвиг читал 11 декабря 1822 года у «соревнователей» и отдал в их журнал и в «Полярную звезду», — и только этот сонет он не читал публично и не печатал отдельно в «Новостях литературы», где уже не раз печатались стихи, посвященные Пономаревой.

Автографы всех этих сонетов идут в рабочей тетради Дельвига один за другим, и рядом с ними поместились автографы «Розы», которую Дельвиг сразу же вписал в альбом Пономаревой, и «Жалобы»:

Воспламенить вас — труд напрасный,  
Узнал по опыту я сам;  
Вас боги создали прекрасной —  
Хвала и честь за то богам.  
Но вместе с прелестью опасной  
Они холодность дали вам...

Мадригальное посвящение — десятистишие на одну пару рифм, явно рассчитанное на преподнесение и, вероятно, на узнавание. «Опасная прелесть» — выражение Баратынского — из стихов «В альбом», о которых у

нас уже шла речь. Это была своеобразная лирическая тайнопись, язык кружка посвященных, быть может, след каких-то разговоров.

Я таю в грусти сладострастной,  
А вы, назло моим мечтам,  
Улыбкой платите неясной  
Любви моей простым мольбам<sup>30</sup>.

Возникал новый любовный «цикл». По нему можно проследить, как крепло увлечение поэта, — пока только увлечение, более или менее серьезное, производящее на свет изящные полулубовные полумадригальные стихи.

Они создаются и записываются в альбом в то самое время, когда страницы «Благонамеренного» буквально пестрят пародиями и памфлетами, в которых упоминается имя автора и его ближайших друзей.

---

Самые основы литературного единения и в большом — «михайловском» и в малом — «пономаревском» обществах были потрясены, и причины тому лежали не в истории личных взаимоотношений, а гораздо глубже.

Новое, молодое поколение поэтов вступило в конфликт с «классиками». Измайлов ценил молодежь; он даже испытывал к ней нечто вроде симпатии, но с литературой их никак не мог примириться. Она была вызовом всему его литературному воспитанию. Его раздражал и язык новой поэзии, и ее темы — воспевание, как ему казалось, сладострастия и вина, — и вольнодумство поэтов — политическое и религиозное, и самая независимость их поведения, и даже дружеские послания, в которых они именовали друг друга Горацием и Тибуллом, — как всем представлялось, всерьез. Против всего этого он повел войну в своем журнале. Он ратовал сам и собирал сторонников. Не далее как полтора года назад он посмеивался над Орестом Сомовым, готовым поднять руку на Жуковского; сейчас Сомов был в числе желанных критиков и полемистов, атаковавших «новую школу». Князь Цертелев, к которому Измайлов относился неизменно иронически, был тоже допущен им в журнал и печатал в нем педантические критики и «отрывки», в которых нападал то на Жуковского, то на Дельвига, то на Баратынского, тщательно выискивая неточности словоупотребления, подлинные или мнимые. В октябре в «Благонамеренном» и почти одновременно в «Вестнике Европы» появился памфлет «Союз поэтов», подписанный «Д. Врс-въ»:

Сурков Тевтонова возносит;  
Тевтонов для него венцов бессмертья просит;  
Барабинский, прославленный от них,  
Их прославляет обоих.  
Один напишет: *мой Гораций!*  
Другой в ответ: *любимец граций!*  
И третий друг,

Возвыся дух,  
Кричит: вы, вы, любимцы граций!  
А те ему: о наш Гораций!<sup>31</sup>

Имена были зашифрованы настолько прозрачно, что в раскрытии не нуждались. Сурковым называли Дельвига за сонливость. Тевтонов — был немец Кюхельбекер, Барабинский — Баратынский, и самая формула «наш Гораций» была прямо взята из его послания к Дельвигу 1819 года.

Под той же подписью: «Д. В. р.ст-въ» — позднее появится в «Благонамеренном» статья «Разговор о романтиках и о Черной речке», — памфлетный разбор элегии Василия Туманского<sup>32</sup>.

Критики, пародисты меняли имена и обличия, скрывались за мудреными псевдонимами и анаграммами, иногда выступали анонимно. В собраниях «михайловского общества» эти пьесы не читались и не вносились в протоколы поступивших сочинении. Подпись — или отсутствие подписи — становились полемическим приемом. Почти одновременно с «Союзом поэтов» в «Благонамеренном» появляются две эпиграммы. Одна называлась «Эпитафия баловню-поэту»:

Его будили — нынче нет.  
Теперь-то счастлив наш Поэт!

Под стихами стояла подпись: «Б. А. А. Д.» — «барон А. А. Дельвиг». Другая эпиграмма — «К портрету N. N.» — гласила:

Он, говорят, охотник спать —  
Однако в сто одном посланье  
Он доказать имел желанье,<sup>33</sup>  
Что он охотник усыплять<sup>33</sup>.

Подписано было «Д.» — Дельвиг. Расчет был на комический эффект — читатель должен был счесть Дельвига и автором, и адресатом. Когда через тридцать лет историки литературы стали приводить в порядок поэтическое наследие Дельвига, подпись ввела их в заблуждение. В. П. Гаевский был первым, кто попытался установить подлинного автора. «...Можем утвердительно сказать, — писал он, — что надпись к портрету сочинена не Дельвигом, что нам известно из самого достоверного источника, т. е. от самого автора; эпитафия же принадлежит или Измайлову, или, что гораздо вероятнее, тому же автору».

Имя этого автора Гаевский назвал в последних частях своего труда: им был Борис Михайлович Федоров<sup>34</sup>. И он же был «Д. Врс-въ» или «Д. В. р.ст-въ».

Борис Федоров, «Борька», один из активнейших участников общества и журнала в 1822—1823 годах, автор нескольких десятков представленных и напечатанных сочинений в стихах и прозе. «Хвост» партии «положительного безвкусия», как писал Бестужев Вяземскому, — партии, у которой «тела нет», а голова — князь Цертелев.

Борис Федоров, сочетавший журнальный задор с благонамеренностью и богобоязненностью так, что его была дрожь, когда он читал «Негодование» Вяземского.

В 1814—1817 годах он служил в департаменте министерства юстиции, вместе с Панаевым; он стал вначале знакомым, потом приятелем, а затем, когда Панаев стал двигаться на социальные высоты, — его биографом и почетительным ценителем. Панаев не остался в долгу, посвятив Федорову несколько строк в своих мемуарах. «Наделенный от природы поэтическим талантом, страстный к занятиям литературою, исписавший бездну бумаги, бездну перечитавший, одушевленный любовью к отечеству, стремлением к добру, человек безукоризненной нравственности, нежного сердца, он пользовался покровительством Державина, Дмитриева, Карамзина, Тургенева, Шишкова и постоянно был преследуем журналистами»<sup>35</sup>. Как мы видим, он не только «был преследуем», но и преследовал сам.

Дельвиг не отвечал печатно, но по рукам ходили его стихи, обращенные к Измайлову:

Мой по Каменам старший брат,  
Твоим я басням цену знаю,  
Люблю тебя, но виноват —  
В тебе не все я одобряю.  
Зачем за несколько стихов —  
За плод невинного веселья —  
Ты стаю вооружил певцов,  
Бранящих все в чаду похмелья.  
Твои кулачные бойцы  
Меня не выманят на драку...<sup>36</sup>

Он сдержал обещание и ни разу не вступил в печатную полемику. Но он не мог отказать себе в удовольствии вывести своих противников в рукописной сатире.

Это были куплеты «Певцы 15-го класса», написанные им совместно с Баратынским.

Пятнадцатого класса не было в табели о рангах. «Певцы» опускались ниже предельной черты.

Каждый из них получал слово, чтобы представить себя и свои творения, дающие ему право на «пятнадцатый класс». Полемический прием был, таким образом, подхвачен, — а может быть, напротив, изобретен, — и подхватили его уже критики «Благонамеренного». Дело в том, что мы не знаем точно, когда написаны «Певцы», — это произошло, по-видимому, во второй половине 1822 года — после 10 июля, когда впервые был поставлен «пролог» Шаховского «Новости на Парнаесе», упомянутый в первой строфе.

Первым «говорил» Измайлов — «председатель и отец певцов пятнадцатого класса». «Председатель» — не просто метафора: Измайлов был именно председателем Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Помощником председателя был Н. Ф. Остолопов.

Второй куплет был посвящен как раз Остолопову. «Пятнадцатый класс» тоже знал субординацию, — и она была такой же, как в «михайловском обществе», которое обрисовывалось за строчками памфлета.

«Я перевел по-русски Тасса, Хотя его не понимал». Это был намек на переведенные Остолоповым еще в начале века «Тассовы ночи» Дж. Компаньони; произведение это считалось принадлежащим самому Тассо и не далее как в 1819 году вышло вторым изданием. Тогда же, во второй половине 1819 года, он читал свой «буквальный перевод» «Части дня и ночи, описанные Т. Тассом в поэме его "Освобожденный Иерусалим"». Он и позже не оставил своих занятий Тассо, — и в заседании 12 января 1822 года прочел «Сравнение Франции с Италией (перечень письма Тасса к гр. Контрари в 1572 г.)»<sup>37</sup>. Но, конечно, не эти переводы обеспечили ему звание «певца пятнадцатого класса».

Многолетний приятель Измайлова, сатирик, баснописец и критик, он был явным, а более тайным участником его войны против «новой школы поэтов». О роли его в полемических схватках мы знаем немного, — и отчасти потому, что он скрывался за многочисленными анаграммами и инициалами: «Никост», «Н. О.», «-но-» и другими, частью, вероятно, нам неизвестными. Изредка он выступал, впрочем, и с открытым забралом; еще в 1821 году он читал в обществе басню «Нерешимость» — об осле, «баловне природы», умершем от голода перед ворохами ячменя<sup>38</sup>. Ему же, скорее всего, принадлежала пародия «К баловню-поэту», напечатанная в начале октября 1822 года и подписанная «О. Н.», — в ней повторялись ставшие уже обычными словечки из стихов Дельвига и Кюхельбекера — из «Видения» и «Поэтов»<sup>39</sup>.

Он собирал и рукописные сатиры, — в том числе и на Измайлова, и на себя самого, — и, как мы увидим далее, пускал по рукам свои отклики.

Это был второй по значению и влиятельности противник. Третьим был Панаев — цензор Вольного общества.

Во сне я не видал Парнаса,  
Но я идиллии писал  
И через них уже попал  
В певцы 15-го класса.

Если бы мы не знали закулисной истории взаимоотношений, выпад против Панаева был бы непонятен. В печатной полемике он ни разу не принял участия, и ни одна рукописная сатира или эпиграмма на «баловней-поэтов» не вышла под его именем. Но позиция его известна. Это противник — ожесточенный и непримиримый. За ним следуют Сомов, Княжевич и еще некто, «конюх Пегаса», подбиравший «навоз Расинов» и попавший в когорту заштатных певцов «по Федоре».

Обычно этим «певцом» считают М. Е. Лобанова, автора перевода «Федры» Расина, имевшего некоторый успех и встреченного восторженной рецензией Сомова. Но речь все же идет, по-видимому, о другом лице.

Лобанов был приятелем Гнедича и Крылова, сослуживцем их и Дельвига по Публичной библиотеке, и Дельвиг и Баратынский сохранили с ним отношения вполне лояльные. Да и перевод его вышел только в 1823 году.

В окружении Измайлова был человек, принятый в его общество исключительно «по Федоре».

Это был Иван Богданович Чеславский, в 1822 году инспектор театрального училища, затем служивший под начальством Измайлова в департаменте государственного казначейства. Он начал печатать свои переводы сцен «Федры» в «Благонамеренном» в 1820 году, продолжал в 1821 году<sup>40</sup>, и второе же январское заседание общества (26 января) за 1822 год вновь огласилось стихами той же «Федры». У измайловцев Чеславский ничего, кроме «Федры», не читал, и этого оказалось достаточно, чтобы стать действительным членом — со второй половины 1820 или с начала 1821 года. В декабре 1822 года его приняли и в «ученую республику», — также «по Федоре»; все, что он печатал помимо нее, было совершенно случайным. Через год с лишним Измайлов будет рекомендовать его И. И. Дмитриеву как молодого литератора, которого «чуть не прокляли здесь за то, что осмелился после Лобанова переводить "Федру"»<sup>41</sup>. Не имел ли он в виду «Певцов 15-го класса»?

Граф Хвостов и цензор Бируков завершали перечень<sup>42</sup>.

Куплеты стали известны довольно быстро, и «певцы пятнадцатого класса» отреагировали на них по-своему.

---

Известно лишь два списка этой сатиры, идентичных по тексту. Один из них сделан рукою Измайлова.

Старый журнальный боец, переписав сатиру, еще раз воспользовался ее полемическим приемом. Он дописал к ней им же и сочиненные «Куплеты, прибавленные посторонними», — уже от имени авторов.

Барон я, баловень Парнаса.  
В Лицее не учился, спал  
И с Кюхельбекером попал  
В певцы 15-го класса.

Это было то, что Пушкин называл «сам съешь». «Остроумный человек показывает шиш и говорит язвительно: "съешь", а догадливый противник отвечает: "сам съешь". "Сам съешь" есть ныне главная пружина нашей журнальной полемики. Является колкое стихотворение, в коем сказано, что Феб, усадив было такого-то, велел его после вывести лакею за дурной тон и заносчивость, нетерпимую в хорошем обществе, — и тотчас в ответ явилась эпиграмма, где то же самое пересказано немного похуже, с подписью: "сам съешь"»<sup>43</sup>.

Пушкин писал о полемических схватках тридцатых годов, — но за десять лет немного изменилось, разве что был утрачен патриархальный, домашний тон перебранок. В двадцатые годы литературная жизнь была плот-

нее и теснее; не всегда было понятно, где сталкиваются люди, а где — идеи, и рукописные сатиры поминутно соскальзывали на «личности». То, что Дельвиг «не учился» в лицейские годы, было выпадом принципиальным: поэзия требовала «учености», — а то, что он «спал», — было вместе с тем и «личностью»: осмеивались и мотивы его лирики, и сам автор как частное лицо. Но здесь насмешка была еще довольно добродушной; зловещие, оскорбительные нотки социального пренебрежения проскальзывали там, где речь заходила о Баратынском:

Я унтер, но я сын Пегаса;  
В стихах моих: бывшее, даль,  
Вино, иконы... очень жаль,  
Что я 15 класса.

Это был смягченный вариант. «Вино, иконы, б...» — записал Измайлов в своем рукописном авторском сборнике и сразу же заменил: «вино, иконы, девы». Для куплетов, пускаемых по рукам, даже это сочетание оказывалось слишком кощунственным. Но этот вариант высветляет общее направление критического удара. «Вакхические и либеральные стихи». Либертинаж, вольномыслие во всем — в этике, в мышлении, в поведении, вызов общественному мнению, религии и нравственности — вот что видело в «новой школе» старшее поколение.

«Унтер»... «Разжалованный в солдаты за воровство», — напишет Панаев о Баратынском в своих мемуарах.

Измайлов мягче. Он просто не умеет шутить иначе как грубовато, — и в литературе, и в жизни. Его ролевая маска — добродушного и «мужиковатого», как скажет потом Кюхельбекер, ругателя, режущего правду-матку, но без камня за пазухой. Он даже готов признать за противником известные достоинства:

Остер, как унтерский тесак;  
Хоть мыслями и не обилен,  
Но в эпитетах звучен, силен —  
И Дельвиг сам не пишет так.

Этот куплет Измайлову, видимо, казался удачным: он вписал его в свое рукописное собрание стихотворений как отдельную эпиграмму. Под ней он поставил дату: «1822»<sup>44</sup>.

Дата очень важна: она показывает, что вся эта полемика развертывается во второй половине 1822 года. Более точной хронологии мы установить не можем, а стало быть, не совсем ясно, что было выпадом, а что — ответом; может быть, памфлеты и эпиграммы Бориса Федорова, напечатанные в «Благонамеренном» в конце года, были вызваны к жизни «Певцами 15-го класса» и ответными куплетами Измайлова. Впрочем, не исключено, что вся эта полемика шла синхронно: и объекты, и самый предмет споров были известны заранее.



В этой словесной войне, без сомнения, принимали участие и другие лица, кроме названных; до нас дошло не все.

Еще в начале нашего века в руках В. Брюсова была тетрадь с полемическими сочинениями, в которой была записана эпиграмма «Завещание Баратынского» с подписью: «N. N.».

Стихотворенья — доброй Лете,  
Мундир мой унтерский — царю,  
Займодавцам я дарю  
Долги на память о поэте.

Эти стихи, под названием «Завещание», сохранились и в другом рукописном источнике.

Павел Лукьянович Яковлев, в конце 1824 года уехавший по служебным делам в Вятку, поместил ее в своем рукописном журнале «Хлыновский наблюдатель», который он посылал Измайлову, — в девятнадцатом номере за 1826 год<sup>45</sup>.

Конечно, четверостишие не было плодом вятских вдохновений Яковлева — оно возникло в разгар полемик, где на все лады варьировалась тема «унтерства» Баратынского. При всем том оно было довольно остроумным и не слишком враждебным поэту. Автор его неизвестен, — может быть, это был и сам Яковлев.

Он не был участником войны, — во всяком случае, мы не знаем ни одного его прямого выпада против прежних своих друзей. Но связи его с Измайловым и его журналом за эти годы стали достаточно прочными. Он помещал у него свои нравоописательные сатирические очерки, и в переписке Измайлов подробно рассказывал ему, как близкому человеку, о своих друзьях и недругах. И Яковлев, быть может, не чувствительно для себя, проникнулся духом кружка.

В 1825 году он предлагает Измайлову «собрать *модные слова* или *слова модных поэтов*» и сделать из них сатирическую статью для альманаха «Календарь муз», который он затеял вместе с Измайловым. Измайлов одобрил замысел — и альманах открылся анонимной статьей, без сомнения, написанной Яковлевым, — «О новейших словах и выражениях, изобретенных российскими поэтами в 1825 году»; здесь были задеты слегка и «романтики»<sup>46</sup>.

Что же касается Измайлова, то он не жалел усилий, чтобы сблизить племянника со своими литературными соратниками, — и в первую очередь с Панаевым. По-видимому, это было нелегкой задачей. По лаконичным, но очень выразительным, как бы попутно брошенным обинякам в поздних письмах Измайлова мы, кажется, можем почувствовать и глубину личного конфликта, разыгравшегося осенью 1821 года, и то, насколько медленно и трудно прежние противники делали шаги навстречу друг другу, уступая усилиям примирителя. Но Измайлов не оставлял попыток, аккуратно пересказывая Яковлеву даже незначащие благожелательные отзывы о нем Панаева. Он цитировал его письма: «Павел Яковлев весьма заба-

вен и остроумен по обыкновению»<sup>47</sup>. Он не упускал случая рассказать о нем с похвалой: «Недавно приехал сюда Панаев и Ястребцов. Видел женку первого — *Филлиду*. Мила! Но он лучше, даже красивее ее; впрочем, и она очень недурна»<sup>48</sup>. Он с готовностью поддерживал ответные движения: «Панаеву поклонюсь. Помнится, я писал уже тебе, что он живет в Фурштадтской, а служит у Шишкова при особых поручениях»<sup>49</sup>. Взаимная неприязнь постепенно сглаживалась, но не исчезала окончательно. «Что бы ни случилось с нами в *известное* время, — цитировал Измайлов слова Панаева в письме племяннику от 21 января 1825 года, — а я, право, люблю его за талант, беспристрастие в суждениях и постоянную к вам приверженность»<sup>50</sup>. И так, лед был как будто сломан, — но мы знаем сейчас то, чего не мог знать Измайлов, — что рефлекс старого недоброжелательства упали на портрет Яковлева уже через сорок лет в воспоминаниях Панаева.

Яковлев покинул Петербург в 1822 году: он был отправлен по службе в Нижний Новгород. И так, он не застал апогея борьбы «измайловцев» с «баловнями-поэтами», — но ко времени его отъезда уже, видимо, были написаны и «Певцы 15-го класса», и куплеты Измайлова, — и, конечно, «Завещание Баратынского», которое он увез с собой в Вятку.

И, может быть, он знал еще одну эпиграмму об «унтерстве» — грубую, оскорбительную и раздраженную, которая была записана Измайловым вслед за «Куплетами, прибавленными посторонними»:

Надпись к портрету Баратынского

Он щедро награжден судьбой,  
Рифмач безграмотный, но Дельвигом прославлен!  
Он унтер-офицер, но от побой  
Дворянской грамотой избавлен.

Под этим четверостишием Измайлов сделал удостоверяющую запись: «Сочинил писатель 15 кл. Ост.» — Остолопов, которого, видимо, не на шутку задел посвященный ему куплет<sup>51</sup>.

А. Н. Креницын, некогда товарищ Баратынского по Пажескому корпусу, вспоминал, что Баратынский однажды парировал такие уколы экспромтом:

Я унтер, други! — Точно так,  
Но не люблю я бить баклуши,  
Всегда исправен мой тесак,  
Так берегите — уши!<sup>52</sup>

Все эти баталии, делившие на партии оба петербургских литературных общества, прямо затрагивали домашний салон Пономаревой, где соединялись обе враждующие стороны.

Софья Дмитриевна не могла быть здесь бесстрастным наблюдателем. Десятки нитей — бытовых, дружеских, семейных, эстетических — привязывали ее к измайловскому кружку, — но и новыми своими знакомыми она дорожила. Сейчас внимание ее занимал Дельвиг.

Дельвиг не знал одного обстоятельства, которое известно нам сейчас по воспоминаниям Панаева и которое должно было весьма осложнить его взаимоотношения с Софьей Дмитриевной.

Панаев пережил свой звездный час и не примирился с поражением. Вероятно, сам того не подозревая, он сделал тот единственный шаг, который должен был сломить в конце концов волю его своенравной возлюбленной.

Он ушел.

Он вспоминал потом, что, вернувшись из загородной поездки — это было, как мы знаем, в сентябре 1821 года, — он обнаружил, что, вопреки его настоятельным остережениям, «приятели Яковлева» посещают дом, а «насчет водворения его пошли невыгодные для бедной Софьи Дмитриевны толки; отец, сестра перестали к ней ездить». «Глубоко всем этим огорченный, — продолжал он, — я выразил ей мое негодование, указал на справедливость моих предсказаний и прекратил мои посещения. Чего не употребляла она, чтобы вернуть меня? и ее увлекательные записки, и убеждения Измайлова — все было напрасно: я был непоколебим. Но чего мне стоило оторваться от этой милой женщины? На другой же день я насчитал у себя несколько первых седых волос»<sup>53</sup>.

Исследователь «Словия друзей просвещения», уже упомянутый нами неоднократно А. А. Веселовский обратил внимание на то, что в конце протоколов порывистым почерком Пономаревой сделана запись: «12 кончилось *незабвенное* общество». Он предполагал, что «что-то произошло интимное» и что само Общество «было лишь главою ее романа»<sup>54</sup>. Но Веселовский неверно прочел запись.

Она гласит: «С кончиной *незабвенной* общество рушилось. И. П.», — и сделана, конечно, не Софьей Дмитриевной, но Акимом (Иоакимом) Ивановичем Пономаревым.

Что же касается роли общества в личной биографии Софьи Дмитриевны, то в суждении Веселовского заключалась большая доля истины, хотя и далеко не вся истина, как мы имели случай убедиться. Общество «кончилось», когда произошел разрыв. Из мемуаров Панаева следует как будто, что это случилось вскоре после его возвращения в Петербург, но его воспоминания, как это часто бывает, сжимают, спрессовывают реальное время. Протокол последнего, шестого заседания датирован 21 декабря, — и в этом собрании Аркадин-Панаев читал свой «Сон Филлиды» и «Нечто о железной маске»<sup>55</sup>. Итак, прошло не менее трех месяцев, прежде чем Панаев решился порвать с домом Пономаревых. Затем начались «увлекательные записки» и «убеждения Измайлова»; под знаком мучительной разлуки проходит для Пономаревой начало, а быть может, и первая половина 1822 года.

«Спустя год, — рассказывал Панаев, — встретившись со мною на улице, она со слезами просила у меня прощения, умоляла возобновить знакомство. Я оставался тверд в моей решимости...»<sup>56</sup>

Панаев вспоминает осень и зиму 1822 года.

В это время, по нашим расчетам, зарождается увлечение Дельвига, отразившееся в стихах еще не оформившегося «пономаревского цикла».

И в это же время тяжелая болезнь укладывает его в постель.

Идет кампания против молодых поэтов на страницах «Благонамеренного».

Измайлов, всласть отругавшись в журнале, садится за галантные письма Софье Дмитриевне Пономаревой.

Эти письма не дошли до нас. От них остались только небольшие стихи, вероятно, стихотворные вставки, которые сам автор сохранил в рукописном сборнике своих произведений.

А. Е. ИЗМАЙЛОВ — С. Д. ПОНОМАРЕВОЙ

6 декабря 1822 г.

ИЗ ПИСЬМА К С. Д. П.

Представьте вы себе досаду всю мою:  
 В Фурштадской улице теперь я на краю;  
 Но не к Таврическому саду! —  
 К Литейной! — Сели все играть в вист и бостон.  
 Я не умею и не сяду,  
 Сижу один в углу и, несмотря на сон,  
 Который у меня смыкает ясны очи  
 (Я не спал три или четыре ночи),  
 Пишу стихами к вам... О если бы я мог  
 Писать иль говорить теперь у ваших ног!

6 Дек. 1822.

Он все же был рыцарь — старомодного образца, любезник в духе XVIII столетия. Но он в самом деле был привязан к своей жестокой красавице, «*belle dame sans merci*» — и притом совершенно бескорыстно.

8 февраля 1823 г.

ИЗ ПИСЕМ К НЕЗАБВЕННОЙ

Мученье Тантала терплю,  
 Хотя я и не в стране подземной, мрачной, адской  
 Теперь я в улице Фурштадтской;  
 Но не у той, кого люблю.  
 Чтоб уменьшить свою досаду,  
 Смотрю, смотрю в окно к Таврическому саду.  
 Но тщетно мой блуждает взор  
 В туманну даль глаза напрасно устремляю,

Очки напрасно протираю.  
 Не вижу ничего — вдали один обзор.  
 Не слышу даже я, как лает ваш Гектор.

Какой вздор! — скажете вы, — но я не увижу этой улыбки.

8 февр. 1823<sup>57</sup>.

В промежутке между письмами, 12 февраля, он пишет басню против «баловней-пиитов» — «Макарьевнина уха»:

Иной остряк иль баловень-пиит  
 Уж так стихи свои пересолит,  
 Или, как говорят поэты-обезьяны,  
 Положит густо так *румяны*,  
 Что смысла не видать.  
 Охота же кому бессмыслицу читать!<sup>58</sup>

«Баловни» — как нам уже известно, принадлежат к «союзу поэтов»; «обезьяна» — конечно, А. Бестужев, обзором которого в «Полярной звезде на 1823 год» Измайлов был раздражен до крайности. В этом обзоре говорилось о музе князя П. И. Шаликова — «игрива, но нарумянена», о Дельвиге — «в его безделках видна ненарумяненная природа».

Дельвиг тем временем понемногу оправляется от болезни. 16 февраля Измайлов сообщает Яковлеву:

«Барон Дельвиг был при смерти болен и во время болезни своей написал стихи, в которых, между прочим, есть "пляшущий покой"<sup>59</sup>.

В «Благонамеренном» он упоминал о «Пляшущем покое», элегии г. Вралева пятистопными ямбическими стихами, состоящей только из восьми строк<sup>60</sup>.

Какие стихи он имел в виду, — мы не знаем. Напечатаны они не были, — и ни в одной из известных нам редакций дельвиговских стихов «пляшущего покоя» нет.

Но Дельвиг действительно писал стихи, когда уже начал поправляться, — и адресовал их Софье Дмитриевне.

Вчера я был в дверях могилы;  
 Я таял в медленном огне;  
 Я видел: жизнь, поднявши крылы,  
 Прощальный взор бросала мне...

В этих же стихах — «К Софии» — он упоминает о ее «нежном участье» к «больному певцу»:

И весть об вас, как весть спасенья,  
 Надежду в сердце пролила;  
 В душе проснулись волненья...

Он уже может забавно шутить — и над самим собой, и над минувшей опасностью, и над врачами, как это принято с мольеровских времен. В его черновой книге появляется набросок, тоже обращенный к Пономаревой:

Анахорет по принуждению  
 И злой болезни, и врачей,  
 Привык бы я к уединенью,  
 Привык бы к супу из костей,  
 Не дав испортить сожаленью  
 Физиономии своей,  
 Когда бы непонятной силой  
 Очаровательниц или фей  
 На миг из комнаты моей,  
 И молчаливой, и унылой,  
 Я уносим был каждый день,  
 В ваш кабинет, каменам милый...

Сразу после этих стихов записаны обрывающиеся строки:

Нет, я не ваш, веселые друзья,  
 Мне беззаботность изменила —  
 Любовь, любовь к молчанию меня  
 И к тяжким думам приучила.  
 От ранних лет мы веруем в нее...

Последняя строчка зачеркнута.

Мечтатели, мы верим с юных лет...

Дельвиг не стал продолжать стихотворение. На обороте листа он начал новое: «В судьбу я верю с ранних лет...»<sup>61</sup>

Но нам важен сейчас не этот новый замысел, а тот набросок, который был записан в феврале 1823 года. Его элегические формулы уже можно было в это время почерпнуть из литературы, — но за ними стояло пробуждающееся подлинное чувство. Что-то произошло за время болезни Дельвига: обеспокоенная не на шутку Софья Дмитриевна сделала движение ему навстречу, — движение, быть может, импульсивное и произвольное, — и на какое-то время реальная угроза вечной утраты хотя и не близкого человека, но доброго знакомого, вероятно, отодвинула на задний план непрекращающуюся горечь разлуки, раскаяние, уязвленное самолюбие. Теперь Дельвиг, благодаря своей болезни, оказался в фокусе ее внимания, и помехи были досадны. По этим или иным, случайным и неизвестным нам поводам, но в конце февраля и Измайлов подвергся временной опале; во всяком случае, след ее остался в его «письме» от 23 февраля.

ИЗ ПИСЕМ К НЕЗАБВЕННОЙ.

Не говорите мне: *не нужно*,  
 Не говорите никогда:  
*Не нужно* для меня беда.  
 Ах! лучше жить нам с вами дружно.  
 Я к вам почтителен всегда  
 И осторожен и послушен;

Но не могу быть равнодушен,  
 Когда вы, отвратя свой взор,  
 С досадой скажете в укор:  
*Не нужно!* — Лучше б ваш Гектор  
 Мне руку укусил иль ногу —  
 Иль гром убил меня — ей-богу!  
 28 февр. 1823.

В рабочей же тетради Дельвига один за другим следуют стихи, которые мы безошибочно можем отнести к «пономаревскому циклу»: «К Софии», под № 29, «К ошейнику собачки Доминго» (№ 30) — незначачий альбомный мадригал, совершенно в духе Сомова и Панаева, тщательно зачеркнутый; «К птичке, выпущенной на волю»...

У последних стихов есть своя история; о ней ниже.

И Измайлов пишет свой «цикл», включая его в письма, — как и ранее, это эпистолярная «болтовня», полумадригальная, полубытовая.

#### ИЗ ПИСЕМ К НЕЗАБВЕННОЙ.

Взглянув на вас  
 В последний раз,  
 Как мимо дома вы проехали в карете,  
 Вдохнул, взял свой картуз,  
 И от прелестнейшей из Граций и из Муз  
 Пошел с досадой я... сказать куда?... к Анете.

(Сказав, что встретил накануне С. И. Ок., которая была разрумянена и разбелена.)

И поклонилась мне она.  
 Взглянул я на нее, ей Богу не нарошно —  
 Взглянул — и сделалось мне тошно.  
 6 марта 1823.

С. Д. П.

Не знаю, отчего при вас я глуп бываю!  
 Хочу заговорить и слов не нахожу —  
 О чем хотел сказать и то я забываю!  
 И можно ль помнить что, когда на вас гляжу.

(Я читал гостям старинные свои стихотворения. Один из них сказал):

Тут нету толка никакова!  
 Возможно ли, чтоб это тот писал,  
 Кто после сделался соперником Крылова  
 И сочинил такой прелестный мадригал.  
 10 марта 1823.

Стихотворение «Несравненной» датировано 28 марта:

Красавицей нельзя тебе назваться:  
 Не все черты лица отменно хороши:  
 Но прелести ума и качества души  
 В физиономии твоей с чем, с чем сравнятся?  
 Ничто перед тобой богиня красоты,  
 Лишь поведешь глазком и улыбнешься ты.

Снова — «Из писем к Незабвенной»:

*Вы любите собак, и вот собачка вам  
 Предобрая — ни на кого не лает,  
 Всех, всех она в покое оставляет  
 И воли не дает зубам.  
 С собой красива, невеличка...  
 На место красного яичка  
 Прошу принять ее. Писатель не для дам.*

Он, конечно, принес не живую собачку, а какой-то сувенир, а в самый день пасхи, приходившийся в 1823 году на 22 апреля, пришел христосоваться:

ВЧЕРА ОТ НЕСРАВНЕННОЙ

Я получил чего совсем не ожидал:  
 Сладчайший поцелуй. О дар неоцененный!  
 Ах! так бы я ее теперь расцеловал!

Он зачеркнул эту стихотворную дневниковую запись без даты и записал ниже:

СРАВНЕНИЕ С АМУРОМ

С Амуром красотой и нравом схожи вы:  
 Такое же и в вас прелестное лукавство  
 И, может быть, увы!  
 Такое же непостоянство<sup>62</sup>.

В то время, когда пишутся все эти стихи, в доме Пономаревой происходит, по-видимому, маленькое событие, о котором никаких сведений у нас нет, и мы можем лишь предполагать его по аналогиям и разным косвенным признакам. Впрочем, оно было очень обычным, и мы задерживаемся на нем лишь потому, что с ним связан один гипотетически восстанавливаемый литературный эпизод.

В день Благовещения, 25 марта, по старинному обычаю, из клетки выпускали на волю птичку.

Пушкин в Кишиневе отметил этот день стихами:

Я стал доступен утешенью;  
 За что на бога мне роптать,



Когда хоть одному творенью  
Я мог свободу даровать!<sup>63</sup>

И о том же написал Дельвиг. Но его миниатюра была не общественным выступлением, а любовным мадригалом.

Во имя Делии прекрасной,  
Во имя пламенной любви,  
Тебе, летунье сладкогласной,  
Дарю свободу я. — Лети!  
И я равно счастливой долей  
От милой наделен моей:  
Как ей обязана ты волей,  
Так я неволю своей.

В. В. Майков, перепечатывая эти стихи в своем издании сочинений Дельвига, отметил в примечаниях: «Стихотворение <...> относится к С. Д. Пономаревой»<sup>64</sup>. Он не привел никаких дальнейших пояснений, и указание это прошло без внимания.

Существует еще одно стихотворение на эту тему, написанное Федором Антоновичем Туманским, приятелем Дельвига и Льва Пушкина. «Птичка» Федора Туманского пользовалась в свое время популярностью не меньшей, чем пушкинская, если не большей. По сие время в памяти любителей поэзии сохраняются строчки:

Она мелькнула, утопая  
В сиянье голубого дня...

Все эти три стихотворения были в 1849 году вписаны Львом Пушкиным в альбом гр. Е. П. Ростопчиной с примечанием владелицы альбома: «Стихи в роде конкурса или пари или стипль-чеза, написанные на заданную тему, в собрании молодых поэтов наших, в Петербурге».

Эту запись обнаружил известный исследователь Дельвига Ю. Н. Верховский и полностью положился на «авторитетное свидетельство» Л. Пушкина, датировав все три стихотворения 1822 годом<sup>65</sup>.

Это была ошибка, и ее сразу же отметил Б. В. Томашевский в своем издании Дельвига. Стихи Пушкина не могли быть написаны в Петербурге, до ссылки на юг, а в 1822 году Пушкин отсутствовал уже почти два года. Туманского, как считал Томашевский, в это время также не было в Петербурге.

Скажем сразу же, что это тоже неверно: Туманский с 21 июня 1821 года служил в департаменте духовных дел вместе с Панаевым, Б. Федоровым, а позднее и со Львом Пушкиным<sup>66</sup> и по времени мог бы принять участие в «конкурсе». Но дело даже не в этом.

Конечно, по прошествии двадцати семи лет Л. Пушкин мог не только запомнить детали, но и произвольно придумать всю эту историю с «конкурсом». И Ростопчина могла основывать свою запись на собственных соображениях, а не на воспоминаниях Пушкина. Все это так.

И все же некоторые косвенные данные указывают на то, что запись Ростопчиной не может быть признана «ни на чем не основанной»<sup>67</sup>.

Вряд ли случайно, скажем, что стихи Пушкина, озаглавленные в журнальной публикации «На выпуск птички», появились во втором (июльском) номере «Литературных листков», вышедшем в начале августа 1823 года, а в четвертом (августовском) номере тех же «Листков» было напечатано стихотворение Дельвига — и под тем же названием. Две публикации были явно связаны, — заметим, что ни до, ни после нее Дельвиг ничего в «Литературных листках» не печатал.

Стихотворение написано «в собрании молодых поэтов в Петербурге». Эта деталь не могла идти от Ростопчиной. Ей, московской жительнице, в пору, описываемую нами, двенадцатилетней девочке, не могло быть известно ничего о «собраниях молодых поэтов в Петербурге» за два с половиной десятилетия до ее альбомной записи. Что же касается Льва Пушкина, то он, без сомнения, о них знал.

Если же мы вспомним, что Софья Дмитриевна до крайности любила поэтические конкурсы и стихи на случаи, обращенные к ее питомцам, четвероногим и пернатым, мы легко представим себе, как могло возникнуть стихотворение Дельвига.

Вероятно, в доме Пономаревых также блюли старинный трогательный обычай, и двадцать пятого марта птенчик Делии получил свободу. К этому времени пушкинские стихи еще не существовали и ни о каком конкурсе речи не могло быть. Когда же они стали известны в Петербурге — а это произошло в начале июня или еще позже, когда их напечатал у себя Булгарин, — тогда, по-видимому, у Пономаревой возникла мысль о петербургском варианте этого лирического сюжета, и Дельвиг — ближайший друг Пушкина — был вызван на ристалище. Он воспользовался случаем и обратил свои стихи к виновнице торжества, включив в них любовное признание.

Лирический роман развивался крещендо, сопутствуя реальному.

Перелом в этом последнем наступил с выздоровлением Дельвига. Его весенние стихи — своего рода «песнь торжествующей любви». Такие лирические дневники чаще всего удерживают подлинные бытовые детали.

В «Романсе», приведенном в восхищение Пушкина в южной ссылке, — ранняя весна:

Прекрасный день, счастливый день:  
И солнце, и любовь!  
С нагих полей сбежала тень —  
Светлеет сердце вновь!  
Проснитесь, рощи и поля;  
Пусть жизнью все кипит:  
Она моя, она моя!  
Мне сердце говорит.

Три «Романса», созданных, по-видимому, почти одновременно, — апофеоз счастливой любви:

Не говори: любовь пройдет,  
О том забыть твой друг желает;  
В ее он вечность уповает,  
Ей в жертву счастье отдает.

Зачем гасить душе моей  
Едва блеснувшие желанья?  
Хоть миг позволь мне без роптанья  
Предаться нежности твоей...

И следующий:

Только узнал я тебя —  
И трепетом сладким впервые  
Сердце забилося во мне.

Сжала ты руку мою —  
И жизнь, и все радости жизни  
В жертву тебе я принес.

Ты мне сказала «люблю» —  
И чистая радость слетела  
В мрачную душу мою.

Молча гляжу на тебя, —  
Нет слова все муки, все счастье  
Выразить страсти моей.

Каждую светлую мысль,  
Высокое каждое чувство  
Ты зарождаешь в душе <sup>68</sup>.

В этом апофеозе меньше всего говорит чувственная страсть, — и недаром в сознании поэта словно всплывает мелодия почти молитвенного гимна Жуковского:

Имя где для тебя?  
Не сильно смертных искусство  
Выразить прелесть твою!

Эти стихи не были еще напечатаны, но, может быть, Дельвиг знал их от Жуковского, — а может быть, читал их немецкий оригинал. Кажется, стихи эти Жуковский посвятил Машеньке Протасовой-Мойер: когда она умерла в марте 1823 года, рукопись нашли в ее портфеле <sup>69</sup>.

---

Весной 1823 года в светских гостиных, кофейнях, ученых обществах Петербурга читают самую популярную книгу после «Истории» Карамзина — «Полярную звезду» Бестужева и Рыльева, объединившую лучшее в словесности обеих столиц.

Дельвиг и Баратынский — в числе «вкладчиков». Баратынский помещает здесь послание «К Дельвигу». Участвуют и прежние члены «Сословия друзей просвещения»: сам Измайлов, Панаев, Остолопов, Сомов... Но этого мало: на страницах альманаха появляется стихотворение, адресованное самой Софье Дмитриевне.

Оно принадлежало приятелю Дельвига и Баратынского — Петру Александровичу Плетневу и называлось «В альбом (С. Д. П-ой)»:

По слуху мне знакома стала ты,  
 Но я не чужд в красавиц милой веры —  
 И набожно кладу свои цветы  
 На жертвенник соперницы Венеры.  
 Так юноша спешит в Пафосский храм  
 И на огне усердною рукою  
 Сжигает он душистый фимиам,  
 Хотя не зрит богини пред собою <sup>70</sup>.

Стихи и в самом деле были написаны заочно. Во всяком случае, автограф их в альбоме Пономаревой имеет дату: «20-го ноября 1823» <sup>71</sup>. Это время записи, ибо книжка «Полярной звезды» с печатным текстом мадригала вышла в декабре двадцать второго года. Стало быть, он существовал уже осенью.

Но если так, то от него тянутся незримые нити к другому стихотворению, приблизительно того же времени, — стихотворению Рылеева, не законченному или даже не написанному, известному лишь в черновом наброске:

Меня с тобою познакомил  
 Неоценимый твой альбом...

Стихи давались трудно; Рылеев писал и зачеркивал:

[Дивлюся вкусу твоему]  
 Люблю любовь твою к искусствам  
 [Давно] завидую уму  
 И [благородным сердца] чувствам  
 И пылкости прекрасных дум.

Так пишут о человеке по рассказам, по-видимому, неоднократно и восторженным, стирающим черты живого облика. Рылеев был вообще не мастер на мадригалы, тем более людям едва знакомым или вовсе незнаемым. Он отбрасывает начатое и оставляет две строки:

Дивлюсь души прекрасным чувствам.  
 Хвалю твой просвещенный ум.

Более от этого замысла до нас не дошло ничего.

Ю. Г. Оксман, впервые опубликовавший эти наброски, полагал, что они относятся к Пономаревой. Он основывался на том, что в пономарев-

ском альбоме остался другой — очень важный — автограф Рылеева, о котором позже. Это предположение подкрепляется первыми строками наброска, явно перекликающимися с известным уже нам мадригалом Плетнева. «По слуху мне знакома стала ты...» Два человека, связанные тесными литературными отношениями по Обществу любителей российской словесности, пишут почти одновременно два альбомных стихотворения по дружескому заказу незнакомому лицу. Случайное совпадение здесь почти невероятно. Как и мадригал Плетнева, черновик Рылеева датируется 1822 годом: рядом с ним на листке находится набросок стихотворения о Державине и песня «С самопалом и булатом» для какого-то более обширного замысла о Мазепе. Стихи о Державине, надо полагать, предшествовали думе «Державин», законченной в ноябре 1822 года; что же касается стихов о Мазепе, то они были переложением «Думы гетмана Мазепы», помещенной в третьей части «Истории Малой России» Д. Н. Бантыша-Каменского, вышедшей в свет в начале того же 1822 года<sup>72</sup>. Итак, в этом году расширяется круг очных и заочных связей Пономаревой. Он охватывает теперь и поэтов «ученой республики», распространяясь и на самые «либералистские», радикальные кружки внутри общества, первым из которых был кружок издателей «Полярной звезды». Правда, до выхода альманаха эта группа еще не выделилась явно, — и весь измайловский круг принял участие в готовящейся книжке. Неудовольствия начались, когда она вышла в свет со статьей Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России», где в числе других авторов был упомянут и Александр Измайлов, рисующий природу, как русский Теньер. «Он избрал для предмета сказок низший класс общества и со временем будет иметь в своем роде большую цену, как верный историк сего класса народа». Александра Ефимовича такая похвала не удовлетворяла: он ворчал на «неосновательность» мыслей и «шутовской» язык обозрения, а через год придумал для Бестужева прозвище в своем духе — «Завирашка», назвал так дворянку в басне «Слон и собаки» и очень этим развлекался<sup>73</sup>.

Тем временем в обществе «соревнователей» шли приготовления к особенному публичному собранию, для которого вдова Державина, Дарья Алексеевна, предоставляла великолепную залу в державинском доме, — ту самую, где некогда собиралась Беседа любителей русского слова. Задолго до собрания, назначенного на 22 мая, начали составлять программу. Литературные партии столкнулись друг с другом; «новая школа» словесности воздвиглась против «старой». Измайлов уверял, что он не принадлежит ни той, ни другой, — и все же симпатии его были скорее на стороне последней. Сразу же после чтения он описывал его в письмах литературным друзьям. То, что читали «романтики», кажется, его не очень занимало: на беду свою, он поел накануне ботвиньи с ледком, выпил водки, тоже с ледком, — охрип: потому приведение себя в нужное для чтения состояние поглотило его душевные силы. Он был очень доволен своим выступлением и реакцией публики; Бестужев же был убежден, что смеялись не стихам, а «туше» сочинителя, а общее внимание привлекли вовсе другие «пьесы».

«Рылеева "Ссылный" полон благородных чувств и резких возвышенных мыслей — принят с душевным одобрением»<sup>74</sup>.

«Ссылный» — так называлась новая поэма Рылеева, получившая потом название «Войнаровский». К концу мая было готово только начало, — его-то и читал Рылеев.

В первом июньском номере болгаринского «Северного архива» молодому поэту предрекали блестящее будущее. «Если вся сия поэма будет написана с таким чувством и силою, как читанные отрывки, то имя г. Рылеева станет наряду с именами отличных российских писателей». Журнал сообщал, что «Войнаровский» доставил «необыкновенное удовольствие публике, и все знатоки полагают сию пьесу первую из стихотворных статей, читанных в сем заседании, исключая отрывок из Расина и Шиллера»<sup>75</sup>.

Из «Федры» Расина переводил М. Е. Лобанов, — перевод считался очень хорошим. «Шиллер» — «Орлеанская дева» в переводе Жуковского.

В альбоме Пономаревой мы находим отрывок «Беседа Войнаровского с Мазепой» — шестьдесят восемь стихов, вписанных рукою Рылеева<sup>76</sup>. Это единственное прямое свидетельство связей Рылеева с домом Пономаревых.

Ничего более определенного об этих связях мы не знаем. Кажется, нет сомнения, что Рылеев побывал в доме — хотя бы однажды, скорее всего, тогда, когда стала восходить звезда его поэтической славы. Лето 1823 года — время наибольшей близости Рылеева с Дельвигом и Баратынским, и, может быть, кто-то из них привел его в литературный кружок, в котором сами они чувствовали себя столь свободно и непринужденно, — а может быть, это сделал Орест Сомов или сам Измайлов, двумя месяцами ранее подписавший диплом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, выданный подпоручику Кондратию Федоровичу Рылееву на звание действительного члена по части наук и словесности<sup>77</sup>. Наконец, это мог быть и Гнедич. Но здесь мы можем только строить предположения.

Что же касается стихов из «Войнаровского», записанных в альбом, то о них мы, кажется, можем сказать несколько больше.

Это не был автограф входящего в моду автора в альбоме светской любительницы изящной словесности.

Поэт, в чьем творчестве уже определилось устойчивое тяготение к сюжетам украинской истории, связанный с Украиной биографическими нитями, посетивший ее в 1822 году, — выбирает из не оконченной еще поэмы целостный фрагмент об исторических судьбах Украины, чтобы вписать в альбом дочери бывшего киевского студента и жене чиновника «из малороссийских дворян», «тегушке» почитаемого им Гнедича и предмету страстных воздыханий приятеля его, Ореста Сомова.

Это был, конечно, не случайный выбор.

Все, что мы знаем о Рылееве, заставляет думать, что он не мог стать своим человеком в кружке литературной богемы. С женщинами он был неловок и застенчив; его разговор, пылкий и иногда несвязный, менее всего был похож на светскую беседу и в большом обществе мог показаться неу-

местным: ему нужен был узкий дружеский кружок единомышленников, — здесь он не знал себе равных.

Но, не став завсегдатаем салона, он оставил на память о себе стихи осторожные и едва ли не опасные, если читать их вне связи со всей поэмой.

Я зрю в тебе Украины сына;  
 Давно прямого гражданина  
 Я в Войнаровском угадал.  
 Я не люблю сердец холодных:  
 Они враги родной стране,  
 Враги священной старине, —  
 Ничто им бремя бед народных...

Мазепа, изменник, преданный анафеме, обнаружит в поэме свою двойственную природу. Но в отрывке альбома Пономаревой он — революционер, патриот, говорящий словами самого Рылеева.

Чтобы вписывать такие стихи в альбом не слишком знакомому человеку, нужно было обладать той почти детской доверчивостью и открытостью, за которую упрекали Рылеева его ближайшие друзья. «Он во всяком человеке видел благонамеренность, — вспоминал много лет спустя Николай Бестужев, — не подозревал обмана и, обманутый, не переставал верить. <...> Если человек недоволен был правительством или злословил власти, Рылеев думал, что этот человек либерал и хочет блага отечества»<sup>78</sup>.

В 1823 году эти иллюзии могли дорого стоить идеалисту.

Но Рылеев досказал все до конца. Мазепа объявляет войну Петру:

Успех не верен, — и меня  
 Иль слава ждет, иль поношенья!  
 Но я решился: пусть судьба  
 Грозит стране родной злосчастьем, —  
 Уж близок час, близка борьба,  
 Борьба свободы с самовластьем!<sup>79</sup>

Последний стих в печати не появился. Рылеев знал, что он не будет пропущен. В пономаревский же альбом он вписал его собственной рукой.

Он был доверчив, но не наивен, когда полагался на «прекрасные чувства души» и «просвещенный ум» хозяйки салона. Нет сомнения, что он не раз слышал — хотя бы от Баратынского — о вольных беседах,

Где не кладут оков тяжелых  
 Ни на уменья, ни на ум,  
 Где для холопа иль невежды  
 Не притворяясь, часто мы  
 Браним указы и псалмы...

Это ведь Баратынский написал в альбоме Пономаревой, а в печати — в «Полярной звезде» — изменил:

Слов не размериваем мы...

И он же, Баратынский, участвовал в общем разговоре о деспотизме русского правительства, которое парит превыше всех законов. И дабы не смущать благонамеренное старшее поколение, в уставе был оговорен строжайший запрет на либеральные речи о политике.

Но молодежь не входила в «Сословие друзей просвещения» и не подчинялась его уставу. Она составляла ему род оппозиции — литературной и политической.

Летом 1823 года роман Дельвига достиг апогея. Софии был посвящен едва ли не лучший из его сонетов. Он был прислан ей вместе с книгой Фаддея Булгарина «Воспоминание об Испании», которую Пономарева хотела прочесть: книга была в моде. Посылка ее была для стихов чистым поводом; Испания, классическая страна пылких любовников и страстных любовниц, становилась пышной декорацией, на фоне которой рисовался портрет прекрасной северянки, питомицы Амура:

Не он ли дал очам твоим блистанье,  
Устам коралл, жемчужный ряд зубов,  
И в кудри свил сей мягкий шелк волос,  
И всю тебя одел в очарованье!<sup>80</sup>

Возник слух, что дама не осталась нечувствительной к песням своего трубадура.

Через тридцать лет биограф Дельвига В. П. Гаевский пометил на полях своей рукописи: «Н. Геннади, знавший лично Пономареву, говорит, что она была в связи с Дельвигом»<sup>81</sup>.

Н. Геннади не мог этого знать. Он так думал, — и думал, быть может, на основании дельвиговских стихов и петербургских разговоров. Много позднее, уже после смерти Дельвига, Сомов напечатал под его именем стихи «К Морфею», где содержалось признание в любви некоей красавице, посетившей поэта во сне. В примечании он сообщал, что элегия «сочинена была еще до 1824 года». Это могло означать только одно: Сомов относил стихи к Пономаревой, умершей в 1824 году. Более прозрачно он изъясниться не мог.

Стихи были не Дельвига, а Гнедича, — но Сомов даже не предполагал возможности ошибки: настолько он был уверен в принадлежности их к «пономаревскому циклу»<sup>82</sup>,

Блестящие кавалергарды вновь были вынуждены отойти в тень — на этот раз перед Дельвигом.

В октябре 1822 года в «Новостях литературы» послышался жалобный стон одного из отвергнутых:

#### К ПОРТРЕТУ \*\*\*\*\*

Опасного ее бегите взгляда  
Иль бойтесь к ней любовь несчастную познать!



Как можно столько чувств глазами выразать!  
 И столько сохранять в душе жестокой хлада!

Б—ч<sup>83</sup>.

Стихи написал Н. П. Богданович, племянник поэта. Он вступил в соперничество с Дельвигом, и его поражение было предрешиено.

Среди бумаг Измайлова сохранилось забавное стихотворение, датированное 24 июня 1823 года.

ПОСЛАНИЕ Н. П. Б. к С. Д. П.

(написано у Н. А. Шленева)

О вы, что лучше всех на улице Фурштадской,  
 Вы, Софья Дмитриевна, вы... вы... *кровь с молоком*;  
 Я, офицер кавалергардский,  
 От вас дурак стал дураком.  
 Ах! часто думаю, на вас в молчанье глядя,  
 Зачем я не поэт?  
 Зачем не так умен, как дядя?  
 Имею лошадей, ума же вовсе нет.  
 Я не был в корпусе, в гимназии, в лицее;  
 Не знаю, как сказать, что страстно вас люблю —  
 Особенно при Дельвиге злодее...  
 Умнее он меня; его я не терплю  
 И застрелю!  
 Да, застрелю из пистолета.  
 И что за грех убить поэта?..  
 Нет, не убью — меня посадят под арест.  
 Какая прибыль мне, что будет он покойник,  
 Когда не буду я полковник  
 И не дадут мне крест.  
 Не знаю, делать что! О ревность! О мученье!  
 Простите: время мне явиться на ученье<sup>84</sup>.

Итак, летом 1823 года Дельвиг еще может торжествовать над будущим полковником, и Измайлов готов смириться с его первенством. Но и его ждет судьба всех прочих: он уже завоеван, и интерес к нему ослабевает. «Испанский» сонет был последним стихотворением, в котором звучала радостная нота разделенной любви. Неизвестно точно, когда он написан: книга Булгарина вышла из печати в мае, но продаваться стала позднее, не ранее начала августа<sup>85</sup>, — и, вероятно, тогда же Дельвиг и послал ее Пономаревой со своим посвящением. Если бы мы знали точную хронологию стихов Дельвига, мы могли бы проследить по ним, когда мажорные интонации начинают уступать место элегическим, — но мы знаем лишь, что это происходит на протяжении того же 1823 года:

<sup>83</sup> И. Ф. Богданович, автор «Душеньки» (Примеч. Измайлова).

Уж не вырваться из клеточки  
Певчей птичке конопляночке,  
Знать, и вам не видеть более  
Прежней воли с прежней радостью.  
(Русская песня, 1823)<sup>86</sup>.

Но и над Софьей Дмитриевной сбывалось предсказание Баратынского. Было ли это «роковое безумие» любви или что-либо иное, — кто сейчас может сказать? — но последние увлечения не вытеснили из ее памяти Владимира Панаева, и, когда он вновь появился перед ней, уже просто как старый знакомый, она перестала владеть собой.

## Глава VII

### КЛАССИКИ И РОМАНТИКИ

*Проснулся я, — и мне легко, поверь,  
Тебя забыть, как ты меня забыла.*

«Я оставался тверд в моей решимости, — продолжал Панаев свой рассказ, — наконец, уступил желанию ее видаться со мною в Летнем саду, в пять часов, когда почти никого там не бывало. Она приезжала туда четыре раза. Мы ходили, говорили о первом времени нашего знакомства, — и я постепенно смягчался, даже — это было пред отъездом моим в Казань — согласился заехать к ней проститься, но только в одиннадцать часов утра, когда она могла быть одна. Прощание это было трогательно: она горько плакала, целовала мои руки, вышла провожать меня...»

Ледяным холодом веет от этих правильных, протокольных строк, написанных рукою идиллика, воспевавшего нежные чувства. В них говорит не ревность, не оскорбленная страсть, но мертвенное равнодушие, еще усиленное старостью и давностью лет. Во всей русской мемуарной литературе мы вряд ли найдем что-либо подобное. «Я постепенно смягчался... согласился заехать к ней проститься... целовала мои руки...» Так могла бы писать женщина о своем поклоннике, — это написал поклонник о своей прежней возлюбленной.

Блажен, кто на тебя взирать украдкой смеет...

«...Вышла провожать меня в переднюю, на двор, на улицу. (Они жили близ Таврического сада, в Фурштадской улице, тогда мало проезжей, особливо в такое раннее время.) Я уехал совершенно с нею примиренным, но уже с погасшим чувством прежней любви»<sup>1</sup>.

Он уехал, по-видимому, в сентябре; во всяком случае, 13 сентября, за отбытием его из Петербурга, как значится в протоколах «измайловского» общества, Булгарин был избран замещать его в должности цензора<sup>2</sup>.

В Казани его ожидало новое знакомство. Казанской губернией управлял тогда вице-губернатор Александр Яковлевич Жмакин. В его-то круг и вошел коллежский асессор Панаев и, как он вспоминал впоследствии, «очень полюбил его за его необыкновенный ум, отличные по службе способности и очаровательную любезность».

Пушкин, как рассказывал Вяземский, хохотал над строчкой чьих-то стихов «Все неприятности по службе С тобой, мой друг, я забывал», — называя их чисто русской элегией. Панаев, вероятно, не увидел бы в ней ничего смешного. «Отличные по службе способности» Жмакина в ряду прочих его достоинств настолько очаровали приезжего из столицы чиновника и поэта, что он осуществил на практике чисто русскую идиллию.

«А как старшая дочь его была девица замечательной красоты, первая невеста в городе, то и не мудрено, что к концу пребывания моего в Казани я на ней помолвил»<sup>3</sup>.

Пророчество Баратынского оборачивалось сбывшимся проклятием. Если бы он был суеверен, он не написал бы своих стихов к Делии-Дориде.

Все складывалось само собой, по установленному порядку, и винить было некого. Ни Панаев, ни Пономарева не помышляли о возможности соединения, и силою вещей жестокая красавица должна была однажды попасть в свои собственные сети и пасть жертвой своей опасной игры. Но расплачивалась она жестоко: поздней неразделенной любовью, отвергнутыми мольбами, унижением — и наконец разлукой. Ей предстояло еще узнать, что разлука эта будет вечной.

В 1816 году двадцатичетырехлетний Панаев писал своему приятелю, будущему известному прозаику Сергею Тимофеевичу Аксакову: «Кто женится более по рассудку, нежели по любви, тот сберегает для переды много лишних удовольствий. Что нового откроет в супруге своей любовник, пострадавший два или три года? И пламенное желание чего-либо достигнуть не оставляет ли по достижении некоторой в сердце пустоты? Такова натура человеческая»<sup>4</sup>.

Но мы не можем и не должны судить о том, было ли это письмо теоретическим рассуждением или жизненной программой, которая осуществилась наконец весной 1824 года.

---

«Михайловское общество» разваливалось.

Лучшие силы из него давно уже перенесли основную свою деятельность в «ученую республику» — к «соревнователям»: там издавалась «Полярная звезда», «Труды» общества, там готовились торжественные собрания, кипела жизнь и создавались партии.

Гнедич, Федор Глинка, Дельвиг, Плетнев составляют особенно тесную группу в «ученой республике», — и к ней, конечно, примыкает Баратынский. Они печатаются теперь почти исключительно в трудах этого общества, в «Полярной звезде» и в «Новостях литературы» у Воейкова. В «михайловское» же общество они не ходят и не дают своих сочинений в «Благонамеренный». И общество хиреет день ото дня.

Оно не распадается буквально: в 1823 году оно проводит двадцать пять обычных и одно чрезвычайное собрание, — но совершенно оскудевает литературными именами. Баратынский не посещает его ни разу; Дельвиг, Плетнев, Василий Гуманский — по одному разу, Булгарин — дважды,

Сомов — трижды. Постоянный вкладчик измайловского журнала, он в 1823 году отдает в него лишь один незначущий анекдот, — а в «Соревнователе» печатает обширный трактат «О романтической поэзии», — той самой поэзии, с которой так упорно боролся Измайлов. Это было почти ренегатство.

Рылеев, принятый в 1823 году в общество, посещает четыре заседания.

Измайлов мужественно руководит оставшимися: он присутствует на двадцати четырех собраниях из двадцати шести. Теперь ближайшие его помощники — старики, заставшие еще прежде, первое общество: Остолопов, Востоков. Они присутствуют на тринадцати заседаниях. Но Востоков участвует одним своим присутствием, как казначей общества: он не подает ни одной статьи и ни разу не появляется на страницах журнала. Остолопов изредка печатает басни.

Цензор общества Панаев успевает до своего отъезда побывать на пяти заседаниях, но также не представляет ни одной пьесы.

Едва ли не самыми активными сотрудниками оказываются Борис Федоров и князь Цертелев. Первый из них в 1822 году побывал на семи заседаниях из пятнадцати, в 1823-м — на пятнадцати из двадцати шести. Он читал и печатал исторические документы, критические статьи, переводы басен Эзопа, отрывки из комедии «Ротмистр Громилов», альбомные мадригалы, сатирические и лирические стихи. Он предлагал предпринять издание трудов общества, входил с проектами правил для них, составлял тексты извещений, и общество благодарило его за неусыпную деятельность. Цертелев, «житель Васильевского острова», соревнует ему, но с меньшим успехом: он посещает шесть заседаний и дает для чтения также шесть критических и филологических статей; правда, сверх того он продолжает ратовать в журнале против «новой школы словесности». «Соревнователи» отказали ему в трибуне, и он жаждет реванша.

На этих людей теперь вынужден опираться Измайлов, да еще на Павла Лукьяновича Яковлева, который снабжает его корреспонденциями из Прибалтики и нравоописательными очерками «Записки москвича».

В 1823 году «Певцы 15-го класса» уже были бы анахронизмом; нужно было бы изобретать шестнадцатый и семнадцатый.

Эта «задняя шеренга» оказывалась, однако же, весьма активной.

---

В третьем (февральском) номере «Благонамеренного» «житель Васильевского острова», князь Цертелев, поместил очерк «Немногое для многих (Отрывок из моего журнала)», где вывел романтического поэта, расхваленного приятелями. Хвалили его цитатами из Бестужева обзора в «Полярной звезде». Почти все цитаты были выбраны из тех характеристик, которые Бестужев давал поэтам «романтической школы», — и в этом был умысел. В пародийном поэте приятели находили «талант вымысла», как Бестужев в Дельвиге; подобно Батюшкову и Жуковскому, он разгадал «тайну» романтической поэзии; в его стихах видна «душа воспламеняемая и доступная всему высокому» — так Бестужев писал о Гнедиче; «по меткому

употреблению языка» он мог стать «в ряду» с первыми нашими поэтами, — характеристика Баратынского в отношении к Пушкину; «сквозь полупрозрачный покров» его поэзии мелькают живые впечатления жизни — из описания поэзии Ф. Глинки. В текст были вкраплены стихотворные пародии — с парафразами из Жуковского, Ф. Глинки, Баратынского<sup>5</sup>.

Цитаты и пародии очерчивали совершенно определенный круг имен. В 1823 году он повторился еще раз — в сатирических куплетах Ореста Сомова. Здесь также были строфы о Гнедиче, который «глазом лишь одним Отличен от Амура», о Федоре Глинке — покровителях молодых поэтов и о «союзе поэтов» — Дельвиге, Баратынском, Кюхельбекере:

Хвала вам, тройственный союз!  
 Душите нас стихами!  
 Вильгельм и Дельвиг, чада муз,  
 Бард Баратынский с вами!  
 Собрат ваш каждый — Зевса сын  
 И баловень природы,  
 И Пинда ранний гражданин,  
 И гений на все роды!  
 Хвала вам всем: хвала, барон,  
 Тебе, певец видений!  
 Тебе, Вильгельм, за лирный звон,  
 И честь тебе, Евгений!<sup>6</sup>

В «Сатирической газете» третьего номера «Благонамеренного» объявлялось об отдаче напрокат в «Галиматическом магазине» «первого сорта отобранных пиитических выражений, как-то: *баловень, сладострастие, упоенье, чаши, бывшее...*». Речь шла более всего о Дельвиге и Баратынском. Тут же сообщалось, что «некто из литературных баловней, недавно вышедший из училища» просит известных поэтов написать ему послание «в эротическом или элегическом роде, с *чашами бытия*, или с *отцветшею душою*, или по крайней мере *борьбою с роком* и т. п., обязуясь ответить двумя посланиями на каждое». «Чаша бытия» была взята из «Элегии» Дельвига.

В пятом номере Измайлов напечатал «Макарьевнину уху», а некто «П...ъ» из Порхова напал — уже в который раз! — на обзор Бестужева и элегию Кюхельбекера.

В шестом появился очередной «отрывок из журнала» «жителя Васильевского острова» Цертелева; «Новая школа словесности». В нем говорилось, что «*пиитическая нагота* (по старой школе *неблагопристойное*), *дивное* (по ст. шк. *вздорное*) и *таинственное* (по ст. шк. *бестолковое*) составляют главнейшие красоты поэтов новой школы». Примеры приводились из Жуковского, Батюшкова, Вяземского, Баратынского, Дельвига, — и Пушкина. Пушкина «Благонамеренный» до сих пор избегал задевать, — но Цертелев, раз начавши, уже договаривал до конца. В пример поэтической «наивности» или «пиитической наготы» он приводил «Руслана и Людмилу»:

«О страшный вид! волшебник хилый  
 и проч.

Это отрывок из поэмы, *посвященной девицам!* Желал бы знать, что скажут об нем пииты старой школы и все поклонники патриархальной нравственности?»<sup>8</sup>

Цертелев говорил, по крайней мере, искренно; так же думали и другие патриархальные моралисты, начиная с критиков вроде Воейкова, напавших на «безнравственность» молодого поэта, и кончая теми, кто возмущался устно, а не печатно. Нужно думать, в числе последних было немало и «измайловцев», а может быть, и сам «председатель и отец», — все они забрасывали критическими стрелами «вакхические, сладострастные» стихи Баратынского и Дельвига.

В седьмом номере обнаружился новый «житель» — на этот раз «Петербургской стороны», — выражавший свое недовольство посланием Кюхельбекера «А. С. Грибоедову при отсылке моих "Аргивян"»<sup>9</sup>. Там же граф Дмитрий Иванович Хвостов, не подписавший своей статьи, хвалил издателя за басенку «Макарьевнина уха» и поощрял «унимать» молодых шалунов<sup>10</sup>. Измайлов досадливо отмахивался от похвал «старшего из наших баснописцев», — но на следующих страницах предупреждал «пылких наших молодых писателей», что цензуре «строжайше запрещено пропускать сочинения, не имеющие нравственной и полезной цели; особенно содержащие в себе сладострастные картины или так называемые *либеральные*, т. е. возмутительные мысли...»<sup>11</sup>.

Измайлов объяснял, почему он не печатает присылаемых к нему дилетантских сочинений, — но он не кривил душой, ссылаясь на цензуру. Пушкин вспоминал, что в последние годы александровского царствования благодаря ей вся литература сделалась рукописной. Отыскивались не только политические аллюзии, — запрещались и любовные стихи, если цензор Бируков или Красовский подозревали, что любовь недостаточно нравственна. 15 марта — почти в то время, когда Измайлов печатал свое извещение, — он рассказывал в письме Яковлеву: «Цензурный комитет в чистый понедельник *имел рассуждение и положил*, дабы в журналах помещаемо было *чтение, приличное времени*. Вследствие того цензор мой А. С. Бируков просил меня, чтобы я не *оскоромил* его (он говел на первой неделе) и не давал ему ничего *о любви*. А Красовский не схотел на первой неделе пропустить у Княжевичей окончание повести «Заблуждение любви», не запрещая, однако, вовсе сего окончания. Итак, теперь выдет 8 № «Лит. приб<авлений>», а 7-й после 8-го. Вот что делают наши гг. цензоры! Впрочем, я своим доволен.

Из «Сатирической газеты» все ваши статьи, кроме одной (которая уже напечатана), вымарали, сочтя за личности»<sup>12</sup>.

Хотел этого или не хотел Измайлов, но в таких условиях нападки на «сладострастные» и «вакхические» стихи становились почти что указанием на неблагонамеренность авторов. Отсюда приобретала права гражданства формула: «вакхические и либеральные». Между тем нападки не прекращались.

В восьмом номере еще один «житель» — на этот раз уже «Выборгской стороны» — помещает окончание растянувшейся статьи «О переводах», —

в том числе о переводах «романтических», в которых надобно как можно чаще употреблять слова «таинственный, сладострастный, бывшее, туманная даль, молодая жизнь — глаза, не зря смотрящие»...<sup>13</sup>

Набор становился дежурным блюдом «Благонамеренного», как и маски авторов — обитателей разных частей Петербурга.

Вслед за статьей «выборгского жителя» опять появился «житель Васильевского острова» с «отрывком из журнала» «Хорошие стихи». Одобрение Цертелева вызвало, в частности, «Послание к Людмилу» Загоскина, — последнее потому, что в нем содержались привычные для его критического слуха банальности:

...описывай всегда

Души растерзанной все бури и ненастья,

Цвет жизни молодой, грядущего обет,

Бывалые мечты, а пуще сладострастье:

Без этого словца в стихах спасенья нет!<sup>14</sup>

До конца лета 1823 года голос «жителя Васильевского острова» назойливо слышался со страниц измайловского журнала, бесконечно повторяя одни и те же мысли и слова. «...Романтической поэзией, которую противопоставляют обыкновенно классической, называются стихотворения, писанные без всяких правил, утвержденных веками и основанных на истинном вкусе»<sup>15</sup>. Наконец он умолк. «Князь Цертелев уехал в Тамбов, — сообщал Измайлов Яковлеву 24 августа, — он определен смотрителем училищ тамошней губернии. Как романтики на него сердиты! И мне за них достается»<sup>16</sup>.

Цертелев вел основную партию; другие лишь аранжировали. Сам Измайлов ограничивался мелкими уколами, вроде объявления о подписке на книгу Аполлона Галиматьина, малолетнего члена общества литературных баловней<sup>17</sup>. Остолопов напечатал сказку «Мелководие Леты»: в ней рассказывалось, что вздор Бавия не мог утонуть в реке забвения, потому что она была засорена сочинениями «новошкольников романтиков-поэтов»<sup>18</sup>. Один Федоров взял на себя функции Цертелева в стихах: он написал сатирическое послание «К некоторым поэтам», напечатанное, впрочем, позже<sup>19</sup>, — и ему же принадлежало анонимное «Сознание», где он скромно выводил себя из числа шумных поэтов, прославляющих друг друга:

Не постигал, невежда, я,

Как можно, дав уму свободу,

Любви порхать по огороду,

Лить слезы в чаше бытия!

Как конь взвивался над могилой,

Как веет матери крыло

Знакомое, как бури силой

Толпу святую унесло!



Здесь были задеты те же поэты и почти те же произведения, что и в «союзе поэтов», — Дельвиг с «Моим домиком», «Элегией» и «Романсом»; Баратынский, — но к ним добавился и Василий Туманский, чье «Видение» и «Черная речка» на некоторое время приняли на себя критический удар «Благонамеренного».

Одна цитата была взята из послания Баратынского Пономаревой:

Очей, увлажненных желаньем —  
 Певца Гетер — у люльки Рок —  
 Уста, кипящие лобзаньем —  
 Я — как шарад — понять не мог<sup>20</sup>.

Федоров приоткрыл свое авторство, когда поместил в августовском номере «Разговор о романтиках и о Черной речке», где разбирал стихи Туманского и перефразировал те же стихи, что и в «Сознании»... «Шиллер, Байрон, Мур, Жуковский и Пушкин, почитаемые образцовыми писателями в романтическом роде, — замечал он, — скорее отказались бы от славы своей, чем согласились считаться *однородными певцами любви кипящей, Гетер и проч., окружающим свои «он, она, ее» сплетением бессмыслиц и противоречием понятий: беспокойством тихих дум, говорящим молчаньем, вьющим сном, знакомыми незнакомцами*»<sup>21</sup>.

Этот «разговор» был подписан почти так же, как «Союз поэтов»: «Д. В. р. ст-вь».

Нет, все же Федоров был не Цертелев. Ему не хватало примитивной откровенности «жителя Васильевского острова». Тот поднимал руку и на Пушкина, и на Жуковского, и на Батюшкова; этот уже отделяет «истинных» романтиков от «самозванцев» и готов отдавать должное первым. Здесь была и дипломатия, — но не только она: Федоров сам испытал влияние романтической поэзии. С другой стороны, в нем говорил и чиновник: все же он был секретарем при директоре департамента духовных дел иностранных исповеданий, — а директором этим был А. И. Тургенев, ближайший друг Жуковского и покровитель Пушкина, — и вряд ли он был доволен цертелевскими художествами. Как бы то ни было, Федоров соблюдал некоторую осторожность в суждениях, — и это должно было удовлетворить и самого Измайлова, который отдавал должное поэзии молодого Пушкина еще при начале его деятельности. Судьба сыграла, впрочем, с Федоровым забавную шутку: через три года он будет собирать альманах, и Жуковский даст ему свой отрывок «Невыразимое», написанный еще в 1819 году; весь этот отрывок будет построен на той самой идее «говорящего молчанья», которую Федоров объявлял ложно-романтической и противоречащей поэтическим принципам Жуковского; именно в издании Федорова впервые появится строчка:

И лишь молчанье понятно говорит.

Но это случится уже в другую эпоху: время идет быстро.

Сейчас мы находимся в середине лета 1823 года, когда «новая школа поэтов», доселе молчавшая или отшучивавшаяся, готова принять бой.

Баратынский приехал в Петербург летом и сразу же попал в самый кипяток чернильной войны. Литературные его связи к этому времени очень укрепились. Рылеев и Бестужев предложили ему стать издателями книжки его стихов. Из других литераторов за пределами «союза поэтов» он особенно тяготел к Гнедичу, которому написал большое послание:

С тобой желал бы я беседовать опять,  
Муж дарованьями, душою превосходный,  
В стихах возвышенный и в сердце благородный!

Эти стихи — «Н. И. Гнедичу» — появляются в шестой книжке «Новостей литературы» за 1823 год.

Гнедич втянул его в совместный перевод трагедии Александра Гиро «Маккавей». Переводить собирались впятером — каждый по акту — Дельви́г, М. Е. Лобанов, Рылеев, Баратынский, Плетнев. Гнедич хотел поставить эту новинку с Семеновой в главной роли. Из замысла, впрочем, ничего не вышло: Дельви́г перевел небольшой фрагмент и оставил работу. Баратынский взялся было, но так, кажется, ничего и не перевел и потом извинился перед Лобановым, ссылаясь на перемену места пребывания, недосуг и неспособность. Один Плетнев выполнил обещание и аккуратно представил второе действие в конце ноября 1823 года<sup>22</sup>.

Зато все трое написали по посланию к Гнедичу; Плетнев — еще в 1822 году, Дельви́г — почти одновременно с Баратынским, в августе 1823 года<sup>23</sup>.

«Союз поэтов», Гнедич, Глинка — это была именно та группа, которую иронически чувствовал Сомов своими куплетами на манер «Певца во стане русских воинов».

По стихам Баратынского, обращенным к Гнедичу, — посланию «Н. И. Гнедичу» и другому, о котором далее пойдет речь, — мы можем предположительно представить себе, как проходило их литературное общение. При всей своей близости к «союзу поэтов» Гнедич оставался «классиком», и собственно лирическая поэзия «новой школы» казалась ему недостаточно значительной. «Возвышенную цель поэт избрать обязан» — так определял Баратынский содержание советов, полученных от Гнедича, — и это вполне соответствовало тому, что провозглашал Гнедич еще в 1821 году. Баратынский готов был согласиться с этим, — но «цель» Гнедич понимал как социальную дидактику, для Баратынского же она заключалась в философской идее. Поэтому, когда Гнедич стал побуждать его обратиться к сатирическому жанру, он ответил философским рассуждением, — и оно было тронуту тем общественным скептицизмом, который как раз в 1823 году стал охватывать самые передовые круги русского общества. Сатира не исправляет нравы, как иной раз думали в прошлом веке. Она способна вызвать лишь раздражение, не говоря уже о том, что сам сатирик должен ощущать в себе право поучать общество. Талант — не порука за беспристрастие.

Да и сами предметы сатирического осмеяния далеко не всегда заслуживают общественного обличения. Так, дурные поэты пусть останутся при своих слабостях — как частные лица они могут быть даже привлекательны.

Баратынский написал сатиру о невозможности писать сатиры.

Эту мысль высказывал когда-то еще Буало, учитель русских сатириков нескольких поколений, и она сохранялась в старинных образцах жанра со времени Сумарокова. Но время наполняло ее обновленным содержанием. Вместе с тем — и это также был излюбленный и проверенный прием — Баратынский включил в свое рассуждение полемический пассаж, в котором набросал портреты литературных врагов. Он все же ответил «Благонамеренному» и в этом смысле последовал полученному совету. И Гнедич знал, что говорил и кому говорил: после высылки Пушкина Баратынский был единственным настоящим сатириком-полемистом в «союзе поэтов»; Дельвиг, охотно писавший шуточные эпиграммы, печатной полемики не любил. Он прохладно относился и к сатирам Баратынского «в несчастном роде дидактическом», как он определял годом позднее его послание «К Богдановичу». Он находил в них «холод и суеверие французское», свидетельствовавшие, что Баратынский не изжил в себе классическое воспитание<sup>24</sup>. Тем не менее он отправил Пушкину новое сочинение общего их приятеля — Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры.

Мы знаем об этом по письму Пушкина к Дельвигу от 16 ноября 1823 года. Стало быть, сатира была послана ему самое позднее в октябре месяце.

Именно о ней идет речь в письме Рылеева Баратынскому, написанном 6 сентября:

«Милый Парни! Сатиры твоей не пропускает Бируков. На днях пришло ее к тебе с замечаниями, которые, впрочем, легко выправить. Жаль только, что мы не успеем поместить ее в «Звезде», в которую взяли мы “Рим”, “К Хлое” и “Признание”»<sup>25</sup>.

В это время Баратынского уже нет в Петербурге: он уехал опять в Финляндию. Неделей позже к нему отправился Дельвиг<sup>26</sup>.

Итак, новое послание к Гнедичу становится известно в Петербурге в августе 1823 года, — в то время, когда достигает предельной точки критическое напряжение в «Благонамеренном». При этом Баратынский не пускает его по рукам, как ранее, а намерен его обнародовать в «Полярной звезде», сделав полемической декларацией целой группы молодых поэтов.

Признаться, в день сто раз бываю я готов  
Немного постращать Парнасских чудаков,  
Сказать, хоть на ухо, фанатикам журнальным:  
Срамите вы себя ругательством нахальным;  
Не стыдно ль ум и вкус коверкать на подряд  
И травлей авторской смешить гостинный ряд?  
Россия в тишине, а с шумом непристойным  
Воюет «Инвалид» с «Архивом» беспокойным...

Журнальные свары Воейкова и Булгарина. Первые шаги «коммерческой», «торговой» словесности.

...Сказать Панаеву: не музами тебе  
Позволено свирель напачкать на гербе<sup>27</sup>.

Этот выпад вызвал в кругу «Благонамеренного» особое раздражение.

Почему кипели страсти вокруг имени Панаева? Он устранился от полемик в печати; ни одного его выступления против «новой школы» мы не знаем. Неужели только из-за той роли, какую он играл в пономаревском кружке?

Чисто личные счеты? Любовное соперничество?

Вряд ли это так. Соперничество могло подогреть страсти, но не возбудить их. Оно придавало литературным разногласиям оттенок личной вражды.

Вспомним, что кружок Измайлова выдвигал Панаева как образцового поэта, которого можно противопоставить «романтикам».

«Русский Геснер», безукоризненный по благонамеренности и нравственности...

Кто не любит Геснера? — риторически спрашивал переводчик декларативного «Опыта об идиллии», — и Измайлов делал примечание под строкой: «Романтические поэты так называемой *Новой школы*. Изд.»<sup>28</sup>.

В марте некто, скрывшийся под числовой анаграммой «4», что соответствовало букве «Д» или «Г», напечатал сонет «К Панаеву», где говорил о «недругах», клеветующих на «любимца муз», которого ждет венец в потомстве; о «зависти и гоненье», испокон веку преследующих истинное дарование<sup>29</sup>.

А в № 16 «Благонамеренного», вышедшем в свет как раз в то время, когда стала распространяться сатира, — билет на него был получен 6 сентября<sup>30</sup> — был помещен целый поэтический венок Панаеву. Поводом для стихотворных посвящений служило обстоятельство вполне ординарное и непозитическое. Панаев получил очередной чин.

Поэт-сослуживец, укрывшийся за инициалами «И. Т.», — вероятно, Иван Талбаев, член «михайловского общества», время от времени помещавший у Измайлова мелкие стихотворения, приветствовал начальника дружески почтительным посланием «Новожалованному коллежскому ассессору».

Давно ли, сидя в кабинете,  
Вдвоем мы строили мечты  
И, забывая все на свете,  
Друг другу говорили: *ты?*

Теперь прощай, уединенье!  
И ты, о дружество, прощай!  
Увы! О рангах уложение  
Гласит: *чин чина почитай*.  
<...>

И как советник титулярный  
 Дерзнет с ассессором иметь  
 Знакомства образ фамильярный  
 Или как с другом с ним сидеть?..<sup>31</sup>

«Благонамеренный» открывал новую страницу в истории русской лирики. Существовали шуточные послания, написанные языком профессиональных военных, признания в любви моряков и даже портных. Но там была стилизация, гротеск. Послание «И. Т.» было, конечно, тоже шуточным, но самая идея его была плодом департаментского вдохновения. Это была лирика титулярных советников.

Пушкин писал о «шутках коллежского советника Измайлова» и об «идиллическом коллежском ассессоре Панаеве»<sup>32</sup>. «Благонамеренный» был для него журналом чиновников.

В том же шестнадцатом номере было напечатано два альбомных стихотворения, адресованных Панаеву. «Вл.» — видимо, Владислав Княжевич — аттестовал его как любимого певца муз. Поэт «И. Ч.» желал ему всех возможных благ фортуны, даров дружбы и любви, здоровья, радости и, наконец, «еще венка в лучах» от муз и от Славы, — по-видимому, один Панаев уже имел<sup>33</sup>.

«И. Ч.» был Иван Богданович Чеславский, тот, который, как мы думаем, был выведен в «Певцах 15-го класса». В «михайловском» обществе он быстро двигался вверх и в январе 1824 года был избран помощником председателя<sup>34</sup>.

Наконец, присоединились и родственники. Через несколько месяцев Ф. Рындовский, муж сестры Панаева, выступит с печатным посланием свояку и уверит его, а заодно и читателей журнала, что он в своих идиллиях изобразил подлинного человека, близкого к природе, и, в частности, хорошо описал его, Рындовского, жену, а свою сестру<sup>35</sup>.

Человеку с умом и дарованием вряд ли могли льстить эти домашние похвалы, — а Панаев не был лишен ни того, ни другого. Но это был тот круг, в котором он находил признание. У него хватило выдержки, дипломатии и такта, чтобы при создавшемся положении не выступать явно против молодых поэтов, не признававших за ним всех этих достоинств, и принимать молчаливо почести от своих приятелей и родных. Но он препятствовал проникновению молодежи в домашний пономаревский кружок. И не только из личных видов. Здесь была враждебность органическая.

Плетнев в 1845 году рассказывал в письме к Гроту, что Панаев не уважал никогда «лучшей нашей литературной школы»<sup>36</sup>. Теперь эта школа высказала свое уничтожающее мнение о его стихах.

В одном из списков сатиры Баратынского к стихам о Панаеве есть любопытное примечание:

«В гербе Панаева, данном еще предкам его, находится свирель. Г. Чеславский, прочитав стихи сии, сказал:

Сказать сатирику: за этот суд тебе  
 Достоин вырезать пук палок на гербе»<sup>37</sup>.

Мы теперь знаем, кто был этот защитник: конечно же, И. Б. Чеславский, поэтически клявшийся Панаеву в преданности. Он пошел в своей защите по уже проторенному пути насмешек над «унтерством»: «пук папок» — это телесное наказание, от которого унтер Баратынский избавлен дворянской грамотой.

В печати же он высказался еще раз, опубликовав «аполог» «Алмаз и гнилушки», где, как можно думать, осторожно и обобщенно коснулся именно описанных нами событий:

Прямой талант (пусть *Гении* заметят!)  
Сияет только там, где Истины лучи;  
Во тьме ж пристрастья, как в ночи,  
*Алмаза* не видать, *гнилушки* светят!<sup>38</sup>

С Панаева начинался перечень «дурных поэтов», он был вынесен на первые места в этой иерархии. Далее сатирик переходил к Измайлову и «измайловцам»:

Сказать Измайлову: болтун еженедельный,  
Ты сделал свой журнал Парнасской богадельной  
И в ней ты каждого убогого умом  
С любовью жалуешь услужливым листком.  
И Цертелев блажной, и Яковлев трактирный,  
И пошлый Федоров, и Сомов безмундирный,  
С тобою заключа торжественный союз,  
Несут к тебе плоды своих лакейских муз.

Нам теперь понятно, что означает «Сомов безмундирный». Это ответ на эпиграммы об унтерском мундире, которые Баратынский, по-видимому, приписывал Сомову, — и одновременно намек на неслужащего литератора.

Этот двойной смысл строки был не вполне понятен тем, кто не был знаком с деталями полемики: они читали строку только в прямом ее значении и были шокированы бестактностью нападок.

Граф Хвостов, собиравший рукописную литературу, сделал на своем списке примечание: «Послание Баратынского хорошо, но жаль, что подленько: многие личности на безмундирного и других препятствуют оное напечатать...»<sup>39</sup>

Почти так же высказывался Пушкин, прочитав присланный Дельвигом список: «Сатира к Гнед<ичу> мне не нравится, даром, что стихи прекрасные; в них мало перца; *Сомов безмундирный* непрослительно. Просвещенному ли человеку, русскому ли сатирику пристало смеяться над независимостью писателя? Это шутка, достойная кол<лежского> сов<етника> Измайлова»<sup>40</sup>.

Отзыв Пушкина, без сомнения, стал известен Баратынскому, и он изменил строку о Сомове. Мы можем утверждать это с большой степенью вероятности, потому что существует несколько современных списков сатиры, содержащих варианты как раз этой и ближайших строк:

И Фертелев блажной, и Яковлев мудреный,  
И наглый Пасквинель, и Арфин заклеянный...

«Безмундирный» убран, но характеристика стала жестче, и то же произошло с «Пасквинелем» — Федоровым. О Яковлеве, напротив, сказано мягче. Но при всех различиях их музы оставались сходны по «лакейской» своей сущности. Баратынский писал памфлет, эпиграмму. Только Измайлов удостоился сатирического портрета:

Тобой предупрежден листов твоих читатель,  
Что любит подгулять почтенный их издатель.  
А я тебе скажу: по мне, пожалуй, пей,  
Но ум не пропивай и дело разумей.

Парафраза крыловской басни была ответом на старое стихотворное объявление в «Благонамеренном». Еще в 1820 году Измайлов винулся перед своими подписчиками за опоздание шестой книжки:

Как русский человек, на праздниках гулял;  
Забыл жену, детей, не только что журнал<sup>41</sup>.

Объявление сделалось крылатым словом; оно пристало к имени Измайлова, как к имени Хвостова его простодушное признание: «... люблю писать стихи и отдавать в печать». Оно переходило от поколения к поколению. Через десятилетия читатели, забывшие о «Благонамеренном», помнили, однако, что Измайлов «гулял на праздниках» когда-то в незапамятные времена.

Баратынский закреплял в сатире облик «русского Теньера», «писателя не для дам», которому дал литературную жизнь еще Воейков в «Доме сумасшедших»:

Измайлов, например, знакомец давний мой,  
В журнале плоский враль, ругатель площадной,  
Совсем печатному домашний не подобен,  
Он милый хлебосол, он к дружеству способен:  
В день пасхи, рождества, вином разгорячен,  
Целует с нежностью глупца другого он...

Портрет был похож, и нравился. А. Ф. Рихтер, член «ученой республики», послал список графу Хвостову с сопроводительным письмом от 11 января 1824 года, где писал: «Из Петербурга один добрый приятель нашего доброго г. Измайлова прислал мне сатиру Баратынского <...> сия сатира не вся мне понравилась, исключая конец оной, где г. Измайлов со своим причетом изображен со всей желчью сатирика. Надобно признаться, что портрет г. Измайлова лучше всех нарисован и здесь сатирик показал свое искусство и умение чувствовать смешное»<sup>42</sup>.

Этот фрагмент оканчивался, как и начинался: именем Панаева:

Панаев в обществе любезен без усилий  
И, верно, во сто раз милей своих идиллий.

Отвергая литератора, Баратынский признавал достоинства в личности. Но даже и этот отзыв холодно-церемонен, и в нем прорывается скрытая неприязнь. Портрет Измайлова живее и теплее.

Сатира Баратынского шла по рукам. Вероятно, имена были зашифрованы, — впрочем, достаточно прозрачно. Арфин (Сомов), Аркадин (Панаев) — псевдонимы «Сословия друзей просвещения».

Ближайшие сотрудники Измайлова делают для себя списки. «Приятель», о котором писал Рихтер, — может быть, Остолопов; до нас дошел список, сделанный его рукой. Остолопов, подобно Хвостову, собирал материалы для закулисной истории словесности; остались листы из его тетради, в которой хранились стихи, не увидевшие печати.

Рихтер отправил сатиру Хвостову 11 января 1824 года. Стало быть, в кругу Измайлова ее читали уже осенью или зимой 1823 года, — вскоре после того, как ее не пропустил цензор Бируков. Рылеев еще надеялся, что ее можно будет «выправить» по замечаниям, — но он ошибался: выправить ничего было уже нельзя.

---

Шла цепная реакция разрывов и охлаждений.

Большая война шла в «михайловском обществе»; малая — но, быть может, еще более драматическая — разрывала пономаревский кружок. И здесь Панаеву принадлежала уже безусловно первая роль.

Для Софьи Дмитриевны тянулись мучительные дни прощания — ранние утра в Летнем саду, слезы, жалобы, воспоминания. Под знаком этих встреч проходила теперь ее жизнь, — но, возвращаясь домой, она должна была казаться спокойной, если не веселой. Испытание тяжкое; для натуры капризной, импульсивной и властной едва ли не непосильное, — и мы без труда представим себе, чего ей стоило подавлять в себе поднимающееся раздражение против прежних своих поклонников.

Все это — и душевное смятение, и душевная подавленность — принадлежит к области психологических гипотез и действительно, как замечал А. Веселовский, является скорее достоянием романиста, нежели историка культуры. Но есть сферы, где документы отсутствуют или они бессильны. Нет ни писем, ни дневников Пономаревой; нет вообще ни одного современного письма или дневника, который бы объяснял нам, что происходило во второй половине 1823 года в маленьком кружке, объединявшем больших русских поэтов и в центре которого продолжала оставаться женщина, которой ничто человеческое не было чуждо. То же, что происходило в нем, было фактом истории культуры, потому что порождало поэтические ценности, образовавшие эстетическое сознание поколений. Мы располагаем только воспоминаниями Панаева, развернутыми во времени, да несколькими стихотворениями неизменного Измайлова за сентябрь — октябрь 1823 года. Стихи эти, впрочем, весьма любопытны и отчасти могут заменить дневниковые записи. В них прямо сказано то, что лишь намечалось в его посвящениях, датированных мартом — июнем. Кажется, в пер-



вый раз он задет и обижен не на шутку — уже не просто непостоянством, но явной холодностью предмета своих воздыханий.

### НОВОЙ ЭЛОИЗЕ

Как платью черное к лицу вам! Как пристало!  
 Ах! если б к трауру из крепа покрывало  
 И на цепочке золотой  
 Крест с бриллиантами — подобны были б той  
 Игуменьи и умной, и прекрасной,  
 Которую любил так Абельард несчастный.  
 В одной науке вы должны ей уступить:  
 Вы не умеете... любить.

(5 сентября 1823)

Через неделю он возвращается к той же теме в поздравительных стихах:

С. Д. П.

### В ДЕНЬ ЕЕ ИМЕНИН

Премудрости вам имя дали,  
 И правду молвить, вы отменно *мудрены!*  
 Кого собой вы не пленяли?..

Он написал сначала «прельщали», но потом счел за благо поправить.

... А не были еще ни разу влюблены! <sup>43</sup>  
 (13 сент. 1823)

До чего непроницательны мужчины! Панаев уезжал в эти дни, или уже уехал, — и едва ли не потому появилось и черное платье. Понятно, что Измайлов ничего не мог знать о тайных прощаниях в Летнем саду, — но он вообще ни о чем не догадывался и сыпал соль на свежую рану. Может быть, он, впрочем, связывал как-то поведение Софьи Дмитриевны с влиянием Дельвига; во всяком случае, между двумя посвящениями он написал резкую и раздраженную басню «Роза и репейник»:

Репейник возгордился!  
 Да чем же? — с Розою в одном саду он рос.

Иной молокосос,  
 Который целый курс проспал и проленился,  
 А после и в писцы на деле не годился,  
 Твердит, поднявши нос:  
 «С *таким-то* вместе я учился».  
 Хорош тот, слова нет — ему хвала и честь,  
 Да что, скажи, в тебе-то есть.

В рукописи вместо «такого-то» стояла фамилия Пушкина.

Измайлов отдал басню печатать в «Благонамеренный», конечно, без имени Пушкина, чтобы памфлет не был уже вовсе пасквилем. Искушенный читатель, однако, легко подставлял имена. Выпад против Дельвига не был новостью; новым был только явно враждебный тон. Конечно, Измайлов был сердит и сводил счеты со всеми «баловнями-поэтами», но вместе с тем похоже, что Дельвиг чем-то особенно его раздражил в сентябре 1823 года. Менялись отношения в маленьком кружке; хозяйка отдалялась от прежних поклонников, и можно было уже печатно выругать одного из ее избранников, не слишком опасаясь ее гнева. Измайлов записал басню в ее альбом, — впрочем, в печатном варианте. Под этим автографом — пояснение Акима Ивановича Пономарева:

«Писано на счет А. С. Пушкина и барона Дельвига по случаю одного разговора»<sup>44</sup>.

Басня была написана 11 сентября, а номер «Благонамеренного» с ней вышел 24 числа<sup>45</sup>, как раз накануне дня рождения Софьи Дмитриевны. На следующий день Измайлов принес ей обязательные поздравительные стихи:

НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С. Д. П.

Чего вам пожелать для вашего рожденья?  
 Вы не обижены Природой и Судьбой:  
 Умны, любезны вы и хороши собой,  
 Прелестны!.. Нужно ль что еще для наслажденья?  
 Хотел бы речи дать здесь оборот другой,  
 Но сердце не всегда находит выраженья.

(25 сент. 1823)<sup>46</sup>

За «репейника» Софья Дмитриевна не вступилась, но, видимо, и мадригалы ее придворного поэта сделались ей пресны. Во всяком случае, это было последнее известное нам поэтическое обращение к ней Измайлова осенью 1823 года. Произошел ли какой-то разговор или просто она избежала общения, — мы не знаем. 11 октября Измайлов был на дне рождения у А. Княжевича, по соседству с Пономаревыми, на той же Фурштатдтской улице, — и принес стихотворение, которое Остолопов снабдил тут же своим, также стихотворным, комментарием. В нем в шутливой, конечно, форме говорилось о разрыве:

А. М. КНЯЖЕВИЧУ

В день твоего рожденья,  
 О тезка милый мой! дай бог,  
 Чтобы вкусить ты мог  
 Все радости, все наслажденья  
 И чтоб по слуху знал слепой любви мученья.  
 Уж так и быть,  
 И я за ум примуся

И с нынешнего дня, клянуся,  
 Не буду жен чужих любить;  
 А если не уймуся,  
 При всех себя позволю бить.

11 октября 1823.

ПРИПИСКА Н. Ф. ОСТОЛОПОВА

Не будет более он в улице Фурштадтской.  
 Ручаюсь в том. Советник статской

О...<sup>47</sup>

Все эти экспромты стоило прочесть хотя бы потому, что за ними стояла психологическая ситуация, намеченная в общих чертах мемуарами Панаева. А она, в свою очередь, поясняет нам отчасти телеологию двух любовных «циклов», один из которых принадлежал Баратынскому, а другой Дельвигу.

В середине 1823 года в лирике Баратынского и Дельвига зарождается и крепнет устойчивая тема разлуки, измены, угасания любовного чувства.

Стихи Баратынского, обращенные к Пономаревой, полны теперь упреков и полувывысказанных жалоб.

Неизвинительной ошибкой,  
 Скажите, долго ль будет вам  
 Внимать с холодной улыбкой  
 Любви укорам и мольбам?  
 Одни победы вам известны;  
 Любовь нечаянно узнав,  
 Каких лишитесь вы прав  
 И меньше ль будете прелестны?<sup>48</sup>  
 (К жестокой)

Баратынский словно повторял — на ином уровне — то, что писал Пономаревой Измайлов в своих мадригалах. Он полушутя предлагал красавице попеременно быть то другом, то поклонником, уверяя, что любовь его ничуть ее не стеснит. Но в изящных шутках его ощущается какая-то отчужденность. По-видимому, в это время пишется его «Размолвка»: она печатается в «Новостях литературы» в октябре, когда уже Баратынский вернулся в полк, и, вероятно, пишется по следам летних впечатлений — и передается Воейкову тогда же, в этот приезд.

<sup>47</sup> Но только не у вас.

Сейчас

Узнал день вашего рожденья.

Приду для поздравленья (примечание Остолопова).

Прости сказать ты поспегаешь мне, —  
 И пылкое любви твоей начало  
 Предательски безумца обласкало.  
 Все видел я — и видел все во сне!  
 Ты, наконец, мне взоры прояснила;  
 В душе твоей читаю я теперь.  
 Проснулся я, — и мне легко, поверь,  
 Тебя забыть, как ты меня забыла.  
 Кого жалеть? Печальной доля чья?  
 Кто отягчен утратою прямою? —  
 Легко решить: любимым не был я;  
 Ты, может быть, была любима мною<sup>49</sup>.

Никто из комментаторов этого маленького стихотворения не называл Пономареву адресатом, — но и по времени, и по теме, и по тональности оно очень точно вписывается в «пономаревский цикл». В 1826 году или даже ранее, перерабатывая его для собрания стихотворений, Баратынский совершенно изменил начало, сделав его лаконичнее, строже и жестче:

Мне о любви твердила ты шутя  
 И холодно сознаться можешь в этом.

Баратынский писал не о размолвке, а о разрыве — и, конечно, поэтому заменил и первоначальное заглавие: теперь стихи назывались «Элегия». Их психологическая ситуация удивительно напоминает ту, которая постоянно возникала между Пономаревой и ее побежденными и сломленными поклонниками; ту, которую видел и описал сам Баратынский:

Достигнув их любви, молениям жалким их  
 Внимаешь ты с улыбкой холодной...

Но для Баратынского эта ситуация все же складывалась иначе; он не был испепелен «страстью жадной» и потому мог анализировать происходящее и играть интеллектуальными парадоксами. Движение лирического сюжета в «Размолвке» изящно и слегка рационально, — и почти то же мы видим в другом стихотворении этого же времени с еще более утонченным анализом диалектики полуплюбовного-полудружеского чувства:

Зачем живые выраженья  
 Моей приязни каждый раз  
 В Вас возбуждают опасенья  
 И возмущают даже Вас?  
 Страшитесь вы (страшитесь, право) —  
 Не взволновали ль Вы мне кровь,  
 И голос дружества любовь  
 Не принимает ли лукаво?<sup>50</sup>

Мы цитируем первую редакцию послания «К...» («Мне с упоением заметным...»). Первые издатели озаглавили его «Г. З.», полагая, что оно от-

носится к графине А. Ф. Закревской, — но это ошибка. Стихи были напечатаны в июльской книжке «Новостей литературы» за 1824 год, — за несколько месяцев до знакомства с Закревской. Новейшие исследователи предполагают, что стихи обращены к С. Д. Пономаревой<sup>51</sup>.

Это очень вероятно. Именно так складывались теперь отношения с Софьей Дмитриевной: сначала легкое кокетство, дружеская короткость, *amitié amoureuse*, — затем влюбленность и охлаждение, — без сомнения, взаимное.

Но в жар краса меня не вводит:  
Тяжелый опыт взял свое.  
Я захожу в приют ее,  
Как вольнодумец в храм заходит.

В поздней редакции Баратынский поставил: «я захожу в ваш милый дом».

Душою праздный с давних пор,  
Вам лепечу я нежный вздор:  
Увы! беру прельщенья меры,  
Как он порою в храме том  
Благоуханья жжет без веры  
Пред сердцу чуждым божеством.

А что же Дельвиг, по прихоти судьбы ставший счастливым соперником ближайшего своего друга?

Мы оставили его в середине 1823 года, когда во взаимоотношениях его с Софьей Дмитриевной обозначился перелом, отразившийся в его стихах:

Наяву и в сладком сне  
Все мечтаетесь вы мне,  
Кудри, кудри шелковые,  
Юных персей красота,  
Прелесть — очи и уста,  
И лобзания живые.

Это — «Песня», написанная, вероятно, в начале 1824 года.

Ночью сплю ли я, не сплю —  
Все устами вас ловлю,  
Сердцу сладкие лобзанья!  
Сердце бьется, сердце ждет —  
Но уж милая нейдет  
В час условленный свиданья.

И на соседних страницах — в той же тетради:

Протекших дней очарованья,  
Мне вас душе не возвратить!

В любви узнав одни страдания,  
Она утратила желанья  
И вновь не просится любить<sup>52</sup>.

Все это — «общие места» элегической поэзии: они многократно повторяются у разных поэтов с разными вариациями. Но за общими местами просматриваются иной раз индивидуальные биографии, обретающие в них свой язык. У нас есть достаточно оснований думать, что перед нами именно такой случай. Роман Дельвига оканчивался, едва начавшись, — такова была судьба всех, кого Пономарева приближала к себе, руководимая мгновенно вспыхнувшим чувством, острым интересом к творческой личности, жадной самоутверждения, капризом или тщеславием. Исключением, как мы уже знаем, был Владимир Панаев.

Вместе с романом Дельвига оканчивался и любовный цикл, завершаясь стихами о разлуке, тоске неудовлетворенного чувства, страданиях одиночества. По-видимому, это происходит в начале 1824 года.

В 1826 году Дельвиг будет рассказывать своей молодой жене «о некоей Софье Дмитриевне, которая уже давно умерла и которую он перестал любить задолго до ее смерти»<sup>53</sup>. Это была полуправда, — во всяком случае, не вся правда. Всего три года отделяли этот рассказ от первых любовных стихов «пономаревского цикла».

Вероятно, не случайно до нас не дошло никаких свидетельств о внутренней жизни кружка в начале 1824 года. Отшумели журнальные бури, улеглись любовные страсти, жизнь развела прежних соперников. Не было ни Яковлева, ни Панаева, ни Баратынского; отделились Сомов и Дельвиг; один Измайлов, друг всего семейства, разделял его радости и горести. Кружок оканчивал свое существование; за 1824 год нет и записей в альбоме Пономаревой.

Существует, впрочем, один рассказ, на котором нам следует остановиться, ибо мемуаристы, сохранившие его, связывают его именно с домом Пономаревой, — и относится он к началу 1824 года.

Его обнаружил впервые В. П. Гаевский, биограф Дельвига, со слов Андрея Ивановича Дельвига, двоюродного брата поэта, и лицеиста второго выпуска князя Д. А. Эристова, в начале 1820-х годов близкого всему дельвиговскому кружку.

Гаевский передавал, что на одном из пономаревских вечеров «разговор обратился к пародиям, которые в то время входили в моду <...>. Измайлов, любивший пародию, придавал этому роду особенную важность; Дельвиг, напротив того, утверждал, что не может быть ничего легче, как сочинить пародию на любое стихотворение. Измайлов потребовал, чтобы Дельвиг, в доказательство этой легкости, немедленно написал пародию на переведенную Жуковским сказку Вальтер-Скотта «Замок Смальгольм» (впоследствии названную «Смальгольмский барон»), в то время известную еще немногим. Все общество выразило то же самое желание, и Дельвиг через несколько минут прочитал следующее:

До рассвета поднявшись, извозчика взял  
 Александр Ефимыч с Песков  
 И без отдыха гнал через Лигов канал  
 В желтый дом, где живет Б...ов.

.....  
 В черном фраке был он, был тот фрак запылен,  
 Какой цветом — нельзя распознать,  
 Отгопырен карман, в нем торчит, как чурбан,  
 Двадцатифунтовая тетрадь».

«Эти два стиха привел и сам Измайлов в своей шуточной поэме «Рыжий конь» (Сочинения Измайлова, т. II, стр. 541), — делал примечание Гаевский. — Они перепечатаны и в третьей статье А. Д. Галахова об Измайлове (Современник, 1850 г. № XI, Критика, стр. 55), с указанием, что принадлежат Дельвигу».

«Вот к полудню домой возвращается он  
 В трехэтажный Моденова дом»...

К этим строчкам опять примечание трудолюбивого библиографа:  
 «Измайлов жил, как сказано и в объявлении о подписке на «Благонмеренный» на *Песках*, против *Бассейна*, в каменном трехэтажном доме *Моденова*, под № 283.

«... Его конь опенен, его ванька хмелен  
 И согласно хмелен с седоком.  
 Б...ова он дома в тот день не застал...»

и т. д.

Добродушный Измайлов, разумеется, не обиделся этой невинной шутке, первый смеялся над ней от души и потом часто читал ее своим приятелям. Впоследствии, года через три, Дельвиг на одном из своих литературных вечеров читал эту пародию Жуковскому, который слушал ее с большим удовольствием, потом часто говорил о ней и даже вспоминал об этой шутке еще за несколько лет до своей смерти, встретившись с двоюродным братом поэта».

Последние сведения были Гаевскому сообщены самим А. И. Дельвигом, а текст пародии — Дельвигом и Эристовым.

В. П. Гаевский, как мы сказали, был очень добросовестным исследователем, но в его рассказе есть неточности — частью непреднамеренные, частью вынужденные.

Непреднамеренные появлялись там, где Гаевскому были неизвестны факты и взаимоотношения, о которых мы знаем сейчас. Его рассказ слишком идеален: он не знал многого о той внутренней борьбе, которая совершалась подспудно в пономаревском обществе.

Вынужденные неточности и умолчания происходили от невозможности опубликовать все, что он знал. Так, он знал продолжение пародии, осмеивающее Федорова, — но Борис Михайлович был еще жив и даже снаб-

жал Гаевского материалами. И имя цензора Бирукова, умершего всего за десять лет до его статьи, он вынужден был заменить инициалами, потому что «желтый дом» в пародии — не только цвет стен, но и общепонятное обозначение дома сумасшедших.

В начале семидесятых годов сам А. И. Дельвиг начал писать свои мемуары, необыкновенно точные и объективные. Он ничего уже не должен был скрывать, ибо, передавая их в Румянцевский музей в 1886 году, разрешил публикацию только в 1910 году, когда все, рассказанное им, станет глубокой историей. И он заново описал сцену, украсив ее некоторыми важными деталями.

«Когда Жуковский написал «Замок Смальгольм», — читаем мы у Дельвига, — все прельщались этим стихотворением и, между прочим, Пономарева, которая сказала Дельвигу, что он не в состоянии написать ничего подобного. Дельвиг, конечно, в шутку отвечал, что, напротив, ничего нет легче, и, ходя по комнате с книгою, в которой был напечатан «Замок Смальгольм», он его пародировал очень удачно»<sup>55</sup>.

Итак, двоюродный брат поэта настаивал на том, что пародия возникла в доме Пономаревой, — но инициатором ее была сама хозяйка, а не Измайлов. Это косвенно подтверждается тем обстоятельством, что сам Измайлов впервые услышал о ней только в начале 1825 года.

«... Ходя по комнате с книгой...» Дельвиг любил импровизации и сам владел этим искусством еще в ранние годы. Если эта деталь верна, а не является плодом воображения мемуариста, она очень важна: она указывает время, когда сочинялась пародия. Дело в том, что «книга», где был напечатан перевод Жуковского, — вторая книжка «Соревнователя» за 1824 год — вышла в свет в первых числах февраля.

Измайлов же впервые упоминает о пародии Дельвига в письме Яковлеву от 6 января 1825 года — почти через год, — притом же говорит о ней как о новинке. И — здесь мемуаристы совершенно точны — он не обижен, а скорее доволен. «Дельвиг сделал очень удачную пародию из «Дунканова вечера» (так звучало в одном из вариантов название «Смальгольмского барона»), — пишет он. — «На рассвете поднявшись, извозчика взял Александр Ефимыч с Песков...» Как досадно! не припомню далее и Княжевичи тоже, содержание баллады (впрочем, еще не конченной): я еду во фраке, который *запылен*, и никто не знает, какого цвета он, а в боковом кармане у меня *20-фунтовая тетрадь* — еду в *желтый дом, где живет Бируков*... потом вижу Борьку...»

Не с Цертелевым он совокупно спешил  
 На журнальную битву вдвоем,  
 Не с романтиками переведаться мнил  
 За баллады, сонеты путем...

Уже знакомые нам лица, сюжеты, полемики. И в них дело не обходится без «наглого Пасквинеля». Но Дельвиг не негодует, а шутит, хотя и не без сарказма. Измайлов не сообщает Яковлеву о том, *в каком виде* он предстает



перед «Борькой», а «Борька» перед ним, — ибо строчки далее шли не слишком лестные:

Но изорван был фрак, на манишке табак,  
Ерофеичем весь он облит.  
Не в парнасском бою, знать, в питейном дому  
Был квартальными больно побит.  
Соскочивши на Конной с саней у столба,  
Притаяся у будки, стоял;  
И три раза он кликнул Бориса-раба,  
Из харчевни Борис прибежал<sup>56</sup>.

Позднее Дельвиг с самым серьезным видом показывал своей молодой жене и Анне Петровне Керн эту будку. «Вот на этом самом месте соскочил с саней Александр Ефимович с Песков и у этой самой будки он крикнул Бориса Федорова», — и обе его спутницы «очень смеялись этому точному указанию исторической местности»<sup>57</sup>.

«...Потом вижу Борьку, — пересказывал Измайлов содержание пародии, — и кличу его:

Ты поди ко мне, Борька, мой трагик плохой!

Сажаю его к себе на брюхо... Борька доносит на Панаева, что тот мне изменяет, начинает предаваться романтизму. — Далее не знаю»<sup>58</sup>.

Последние фразы загадочны. В известном нам тексте пародии никаких упоминаний о Панаеве нет. Быть может, Дельвиг собирался продолжать стихотворение?

Любопытно и другое. Измайлов упоминал о пародии Дельвига сразу вслед за рассказом о собрании «соревнователей», состоявшемся в конце декабря 1824 года, и о вечере у Княжевичей тогда же; в этих собраниях, видимо, и стали известны стихи Дельвига.

Не ошибся ли Андрей Иванович Дельвиг, объединив разные и разновременные литературные собрания? Или Измайлов узнал стихи Дельвига поздно?

И то, и другое возможно, — но, пока у нас нет иных документов, мы вынуждены остановиться на свидетельстве Дельвига. Правда, в 1824 году ему было всего одиннадцать лет, и своего кузена он узнал только в 1827 году, — но три года не столь уже большой срок, чтобы за это время события стерлись из памяти. Может быть, действительно, Пономарева не стала сообщать Измайлову о сатирических стихах против него. Что же касается отношения ее к литературным шуткам подобного рода, то на этот счет у нас есть еще один факт, также относящийся к началу 1824 года и в своем роде не менее загадочный.

Во втором, февральском, номере журнала Измайлова за 1824 год появилась статья: «Страждущий поэт к издателю “Благонамеренного”». Статья

представляла собою письмо пародийного свойства от имени некоего молодого поэта, испытывавшего нелепые и невероятные превратности судьбы. С первых дней юности он чувствовал призывание к поэзии; по прибытии же в столицу «новые трогательные элегии и баллады» наполнили его слух и душу. «Баловни-поэты, воспевающие в тиши времена года, говоры пернатых, родные края и приветы юных красот», «послания их друг к другу и к юным знакомым подругам первых незабвенных лет» стали для него образцом. Полностью предавшись поэзии в этом роде, юный адепт потерял имение, а гоняясь летом за резвым мотыльком, выколол себе глаз. Привыкши «смотреть на туманную даль» в поисках таинственного будущего, он получил ревматизмы, а «взирая на бунтующие ветры, срывающие зеленую одежду с шумящих <...> деревьев», был вымочен насквозь дождем и, лежа на одре болезни, пропустил время издания «Полярной звезды», куда хотел послать свои сочинения. Ныне он обращался к издателю, прилагая образцы своих элегий:

«Юности беспечной младость,  
Счастье прежних бывших дней,  
Сердца девственная радость,  
Призрак памятный для ней!  
Миновалось, миновалось,  
Цвет увял души моей...»

Письмо было подписано: «Мотыльков»<sup>59</sup>.

Л. Г. Фризман, впервые обративший внимание на эту пародию, не сомневался в том, что ее автор — Пономарева<sup>60</sup>.

В самом деле, мог ли самозванец принять псевдоним попечительницы «Сословия друзей просвещения» в журнале, издаваемом прежними его участниками?

И при всем том доля сомнения в авторстве Пономаревой остается. С тех пор, как «незабвенное общество» пришло к своему концу, его псевдонимами перестали пользоваться, — и в «Благонамеренном» никто из прежних членов давно уже ими не подписывался. Более того: Мотыльков — псевдоним значащий и без индивидуального отпечатка, как Басний, Арфин или Аркадин; здесь возможен омоним. И упоминание «мотылька», сыгравшего роковую роль в судьбе злосчастного поэта, и самая эфемерность его поэзии, и легкомыслие творца — все это могло побудить к вольному или невольному похищению. К тому же мы не знаем ни одного выступления Пономаревой в печати, она словно намеренно удерживала при себе даже перевод из Гольдсмита, как будто скрывая его от посторонних глаз. Между тем «письмо» написано профессиональной рукой, — не только в прозаической, но и в стихотворной своей части. Писать жанровые и стилевые пародии вообще трудно — а пародии Мотылькова удачны и даже не вполне обычны.

Да и могла ли Пономарева включиться в полемику против «молодого поколения», которому сама открыла двери в свой дом, которое влюблялось

в нее и писало ей настоящие, превосходные стихи, хранимые ею как особая ценность? И что могло заставить ее именно теперь нарушить обет литературного молчания, соблюдаемый все эти годы?

Все эти вопросы возникают неизбежно, если мы допустим авторство Пономаревой.

И все же нам придется это сделать, хотя, быть может, и не с полной уверенностью.

В реестрах пьес, поступивших в 1824 году в Общество любителей словесности, наук и художеств, против занимающей нас статьи значится: Мотыльков.

Это естественно в оглавлении журнала, а в реестре необычно: за все время деятельности общества ни одного псевдонима в них не было. Если хотели сохранить анонимность, сочинение либо вообще не вносили в реестр (и не читали публично), либо писали: «Представлено от неизвестного». Памфлеты Федорова, например, как мы уже говорили, в реестрах не значились.

Очевидно, тот, кто скрывался под псевдонимом Мотыльков, находился в каком-то особом положении, и об этом было известно, по крайней мере, нескольким членам общества: председателю Измайлову и ближайшим его сотрудникам. Например, был дамой, в силу этикета сохранявшей свое инкогнито.

Но допустим, что Пономарева написала удачную литературную шутку. Способность ее к этому жанру доказывается хотя бы ее маленькой «речью» при открытии «Сословия друзей просвещения». Могла ли она написать стихи, выдающие руку профессионального стихотворца?

Вспомним письмо Измайлова к Дмитриеву еще 1821 года: «...переводит на русский прозой лучше многих записных литераторов; пишет весьма недурно стихи...».

Измайлов читал эти стихи, до нас не дошедшие.

Если же мы присмотримся внимательнее к тексту «письма» и стихов, включенных в него, мы, может быть, получим предположительный ответ и на третий вопрос.

Л. Г. Фришман обратил внимание на особенность «письма», отличающую его от всех без исключения полемических выступлений «Благонамеренного». Оно лишено памфлетности. В нем упоминаются «Полярная звезда» и «баловни-поэты» и широко использованы шаблоны элегической поэзии, — но нет излюбленных Измайловскими «кулачными бойцами» цитат из Дельвига или Баратынского, которые указывали бы конкретный адрес полемики. Это не столько пародия, сколько иронический, пародийно окрашенный пастиш, стилизация, смысл которой в том, что она неотличима от массовой журнальной лирики.

Именно так должна была писать Пономарева, ученица Измайлова, связанная дружескими узами с Дельвигом и Баратынским. Еще будучи председательницей «Сословия друзей просвещения», она возражала против «личностей», личных выпадов в полемике, и это требование было внесено

в устав. Как бы ни нарушали его иные прочие, сама она должна была его хранить.

Но для чего нужна такая пародия-стилизация?

Для того, чтобы показать, что стихи «баловней-поэтов» превращаются в шаблон, в общее место. — и что любой подражатель может их написать и напечатать в журнале или в «Полярной звезде», если успеет к сроку. Они не требуют ни труда, ни таланта. Их писать *легко*.

Непосвященной публике предлагалась маска «страждущего поэта». Посвященным — маска Мотылькова. Софья Дмитриевна писала «недурные стихи», но не печатала их, ибо не считала себя поэтом. Она выступала в качестве именно непоэта, версификатора, с лукавой дерзостью требуя себе места на русском Парнасе, коль скоро там подвизались стихотворцы не лучше ее.

Это был вызов очень в духе тех каламбурных перепалок, какими обменивалась она с Баратынским.

А может быть, это и была перепалка?

Вспомним рассказ Андрея Дельвига и пересказ Гаевского. Пародиями интересовались в дружеском кружке. Когда вышел в феврале 1824 года «Замок Смальгольм», Пономарева сказала Дельвигу, что он не в состоянии написать таких стихов...

Не в состоянии, потому что нельзя имитировать настоящую поэзию. Стихи же «баловней» может написать всякий.

И Дельвиг принимает вызов: «Ничего нет легче». И он имитирует настоящую поэзию и включает в стихи сатирическое описание Измайлова и Федорова.

Позже, уже в 1825 году, эта пародия будет «дописана» Николаем Остолоповым, как было и с «Певцами 15-го класса», — так, чтобы осмеять Дельвига и Булгарина. Измайловский кружок опять прибегает к привычному «сам съешь».

Что же касается реконструируемого нами спора в феврале — марте 1824 года, — то существование его можно только предполагать, а не утверждать положительно. Кажется очень вероятным, что две пародии связаны между собой, — но прямыми ли отношениями диалога или косвенно, опосредованно, сказать с уверенностью нельзя. Появляются они, если мы примем рассказ А. И. Дельвига, почти одновременно: в феврале — марте 1824 года<sup>61</sup>, но что было написано раньше, что позже — неизвестно.

Год начинался мистификациями, и Измайлов тоже захвачен общим поветрием. Он печатает письмо Мотылькова, а в одном из соседних номеров — стихи «Незабвенной» следующего содержания:

Как ты была вчера мила,  
 Когда нечаянно украдкой  
 Мне жаркий поцелуй дала...  
 Один... как быть! за то пресладкий!..  
 А перед тем, нахмуря взор,

Как бы нарочно мне в укор,  
 Так сухо молвила: *не нужно!*  
 Коль хочешь жить со мною дружно,  
 Не говори мне никогда  
 И в шутках этого: *не нужно:*  
*Не нужно* — для меня беда.  
 Сказать ли тайну *Незабвенной?*  
 Люблю в тебе не красоту  
 (Поверь мне в этом, друг бесценный),  
 Но ум, таланты, доброту.

Под стихами подпись: «Со-нъ». К названию же — «Незабвенной» — сделано примечание: «Так называю я милую мою невесту. *Е. В. Ф. Соч.*»<sup>62</sup>

Но ведь мы знаем уже эти стихи! Они составлены из строк посланий Измайлова к «незабвенной», которая вовсе не была его невестой и не имела инициалов «Е. В. Ф.».

Измайлов нашел-таки способ перенести на страницы журнала свои стихотворные письма и высказаться вслух. Он не мог подписаться «Софиин», «Софьин», ибо это был псевдоним Княжевича, и сократил его до анаграммы, — может быть, не без задней мысли, ибо в ней тоже заключались каламбур и мистификация.

«Со-н» — так в «Благонамеренном» и «Соревнователе» подписывал свои мелкие стихи и шарады Михаил Михайлович Сонин, член ученой республики «соревнователей».

Издатель «Благонамеренного» проказничал, но довольно забавно. Увидев подпись «Со-нъ», всякий сведущий должен был бы прочесть ее как «Сонин». Отпереться было можно: почему именно Сонин, а, скажем, не Соковнин или Сорокин? Но в Сонине-то и заключалось все дело: «Сонин» — поклонник, поэт, принадлежащий «Соне». Каламбурный шифр, знак, тайнопись полушуточная, полудружеская, полуплюбовная.

«Благонамеренный» был неисправим. В нем то и дело прорывалась «домашняя переписка» издателя, привыкшего являться своим читателям в халате.

Кто мог знать, что эти шутки оборвутся на полуслове через месяц — другой!

---

31 марта, за неделю до пасхи<sup>63</sup>, приходившейся в 1824 году на 6 апреля, в Петербург вернулся Панаев. Мы знаем уже, что он ехал в столицу уже помолвленным с Прасковьей Александровной Жмакиной, дочерью казанского губернатора и первой невестой в городе. На следующий же день («во вторник на Страстной неделе») Пономарева прислала его поздравить. «В первый день светлого праздника», рассказывал он в мемуарах, он приехал «похристосоваться», — и здесь узнал тревожную новость. «Муж печально объявляет, что она нездорова, лежит в сильном жару. Пошел, одна-

ко, спросить, не примет ли меня в постеле, но возвратился с ответом, что не может, а очень просит заехать в следующее воскресенье. Приезжаю — какое зрелище?! Она была уже на столе, скончавшись в самый этот день от воспаления в мозгу!»

Мемуары спрессовывают время. Мы знаем точный день смерти Пономаревой — 4 мая; по воспоминаниям Панаева, он приходится на 13 апреля. События в них развиваются стремительно; память выхватывает драматические эпизоды, располагая их в непосредственной близости друг от друга.

Через тридцать лет Панаев уже не помнил, что со времени его приезда до смерти Пономаревой прошло не две недели, а более месяца. Он помнил лишь, что так и не увиделся с прежней своей возлюбленной, — пытался, но не смог, не сумел.

«В апреле 1824 года Софья Дмитриевна заболела горячкою и скончалась в величайших мучениях», — рассказывал Гаевскому П. А. Плетнев<sup>64</sup>. Через год, 17 апреля 1825 г., Измайлов будет вспоминать в письме к Яковлеву: «...теперь уже она была больна»<sup>65</sup>.

«Она скончалась после продолжительной и мучительной болезни», — напишет он в некрологическом известии в журнале<sup>66</sup>.

Панаев ошибся потому, что он сохранил ощущение, которое владело всеми, — ощущение неожиданно свалившегося несчастья. Один Измайлов знал, что беда не свалилась, а подкралась. Он оставался в Петербурге, он был другом семьи и вместе с родными переходил от тревоги к надежде, от надежды к отчаянию. В его рукописном сборнике сохранились два стихотворения, написанные в эти дни. Они стоят рядом — и самое соседство их выразительнее любых описаний. Одно, забавное и нежное, называется «Молитва об исцелении Софьи Дмитриевны»:

Боже! ее храни!  
 Софии долги дни  
 Дай на земли.  
 Милой проказнице,  
 Страстной собачнице,  
 Музе и Грации,  
 Чести всей нации  
 Все *консоляции*  
 Ты ниспошли.  
 Здравье, спокойствие  
 И удовольствие,  
 Крошку терпения,  
 Все утешения  
 И наслаждения  
 Ты ниспошли.  
 Боже! ее храни!

Софии долги дни  
Дай на земли.

Апр. 1824.

Может быть, он успел прочитать ей эту шутовую пародию официального гимна «Боже! царя храни», чтобы ободрить и развлечь больную.

Второе стихотворение — «Молитву об исцелении друга» — он, скорее всего, не показал никому. Это была действительно молитва, с какой обращается к богу верующий русский человек в минуту душевной тоски и смертельной тревоги:

Услыши, милосердый боже,  
Моленье сердца моего;  
Прошу я только одного:  
Спаси мне друга моего,  
Который для меня всего,  
Всего, что в свете есть, дороже!  
Да будет исцелен мой друг,  
Пошли ему ты облегченье,  
Скорее отведи недуг;  
Услышь, услышь мое моленье <sup>67</sup>.

Он уповал на чудо. Видимо, искусство врачей и силы самой природы были истощены.

Это были последние стихи о Пономаревой, написанные при ее жизни.

---

«Ты ли это, София? Где живой румянец, игравший на прелестных щеках твоих? Где пронзительные взоры, блиставшие веселием и остроумием? Где восхитительная улыбка? Лицо твое покрыто смертной бледностью; глаза сомкнулись, сомкнулись навеки! Видна еще улыбка; но это не улыбка радости, а горести, страдания, смерти!»

Измайлов писал «Мысли при гробе С. Д. П.» в духе надгробных речей Боссюз, полные ораторского пафоса, с риторическими вопросами, периодами и единоначатиями, сквозь которые пробивалось подлинное, живое чувство.

Он вспоминал о добром сердце покойной, о ее любезности и добродушии и упоминал о зависти и злобе, которые умолкают только перед лицом смерти.

«Забуду ли когда-нибудь счастливые часы, проведенные вместе с тобою? Вижу как теперь волшебные твои взгляды, очаровательную улыбку; слышу, кажется, как ты говоришь, читаешь. Ты была украшением, душою дружеских наших ученых бесед; ты оживляла их своею любезностью и остроумием. Ты родилась для славы, для счастья. Судьба, казалось, улыбалась тебе... обманчивая, вероломная улыбка!..»

Он переложил эту речь в стихи — в «Кантату на кончину С. Д. П.»:

Окончились твои несносные мученья!  
 Умолк болезненный твой стон!  
 Грудь не колеблется. Ни вдоха, ни движенья!  
 Как крепок твой, София, сон!  
 Нет, не дожидаться нам Софии пробужденья!  
 Дни и недели,  
 Месяцы, годы,  
 Веки пройдут;  
 Но не прервется  
 Сон твой, София!  
 И не погибнет  
 Память твоя!<sup>68</sup>

Хоронили на Волковом кладбище. Измайлов описывал сцену прощания.  
 «Несчастный супруг твой в отчаянии; малютка-сын не в силах удержать слез своих и рыданий; на всех лицах вижу непритворную печаль и соболезнование. С трепетом прикладываю уста мои к холодному челу твоему. И вот уже тонкое покрывало задернуло бледное лицо твое, зазвучала гробовая крышка. Прости, София! прости навеки!»<sup>69</sup>

«Не здесь — там, там, тебе цвести!  
 Не много ты жила, но много ты страдала!  
 Прости!.. прости!.. Навек прости!»<sup>70</sup>

Среди провожавших был и Панаев. «Когда я, рядом с отцом ее, шел за ее гробом, — вспоминал он, — он сказал мне: «Если бы она следовала вашим советам и сохранила вашу дружбу — мы не провожали бы ее на кладбище». Не могу сказать положительно, каким образом узнал он о моих дружеских советах. Может быть, по своей откровенности, в минуты сожаления о прошлом, она высказалась сестре, а та передала отцу»<sup>71</sup>.

Трудно придумать что-либо более выразительное.

Вспомним рассказ Панаева: «Приятель Яковлева введен им в дом; насчет водворения его пошли невыгодные для бедной Софьи Дмитриевны толки; отец, сестра перестали к ним ездить... я выразил ей мое негодование, указал на справедливость моих предсказаний и прекратил мои посещения...»

Она была сама виновата в своей судьбе. Она и Яковлев с «приятелями», давшие пищу петербургской сплетне.

Две старые, как мир, формулы: «сам виноват» и «я же говорил» — составляют символ веры ходячей морали.

Нет ничего удивительного, что подавленный горем старик Позняк прибежал к их помощи. Удивительно скорей другое: тайное, быть может, неосознанное удовлетворение, с которым вспомнил о них Панаев спустя тридцать с лишним лет. И произвольное движение: откуда отец узнал о его советах? Ведь ни разговоры наедине, ни отношения с Пономаревой, перешедшие границы просто дружеских, ни тайные встречи в Летнем саду, со слезами раскаяния, — не были рассчитаны на посторонние глаза и уши.



Все это благоразумно облекалось теперь в одежды дружбы почти отеческой. И этой дружбе приписывалась почти магическая способность уберечь от искушений неосторожную и легкомысленную женщину-ребенка и чуть что не сохранить ей жизнь. «Если бы она следовала вашим советам и сохранила вашу дружбу, — мы не провожали бы ее на кладбище».

Нет, Позняк, конечно, ни о чем не догадывался, — и потому естественно принял правила игры. И то же, и по тем же причинам сделал совершенно убитый своей потерей Аким Иванович Пономарев.

И только простодушный Измайлов, не умевший кривить душой, знал все. Но он не искал виновников, которых не было. Он был привязан к покойной сам, не держал зла на своих счастливых соперников и был дружески расположен к мужу. Скрывать ему было нечего. Безвременная смерть любимого им существа была для него насмешкой судьбы, а то, что отравило ей жизнь, — «завистью» и «злойбой».

Так он третировал «невыгодные толки», с которыми и Панаев, и Позняк считались как с общественным мнением, — и изливал свои чувства в письмах к Павлу Яковлеву, которого друзья его считали косвенным виновником совершившейся драмы.

---

Печальная колесница достигла жилища мертвых, описывал Измайлов день похорон. «Руки родственников и друзей несут тебя сквозь надгробные памятники к могиле. Медленно опустился в могилу блестящий гроб. Сухая земля и песок сыплются на бархат и золото».

Он написал эпитафию: «Все скрыто здесь: и ум, и красота, Любезность, дарованья, Вкус тонкий, острота, Приятные и редкие познанья И непритворная прямая доброта»<sup>72</sup>. Это было то, что он больше всего ценил в людях, — но похвала его стирала живые черты.

Они мелькнули — в последний раз — в двух других эпитафиях — Гнедича и Дельвига.

Стихи Гнедича назывались «На смерть N. N.». Дельвиг, собиравший в 1824 году альманах «Северные цветы», поместил их в первой книжке своего альманаха:

Цвела и блистала,  
И радостью взоров была;  
Младенчески жизнью играла  
И смерть, улыбаясь, на битву звала;  
И вызвав, без боя, в добычу нещадной  
С презрением бросив покров свой земной,  
От плачущей Дружбы, Любви безотрадной  
В эфир унеслася крылатой душой!<sup>73</sup>

Стихи были хороши и искусны, — но чересчур искусны, и потому на них лежала печать некоторой манерности. Брошенный с улыбкой вызов



## Глава VIII

### IN MEMORIAM

*Все пройдет!*

А. Е. ИЗМАЙЛОВ — П. Л. ЯКОВЛЕВУ<sup>1</sup>

12 октября 1824 года.

Сию минуту получил письмо за черною печатью — от Акима Ивановича. Он тебе кланяется. Надгробие мое незабвенной С. Д.: «*Кто знал ее, слезу на прах ее уронит*» — очень ему понравилось. *Я знаю людей — пишет он, — которые ненавидели ее при жизни, а теперь отдают полную справедливость ее душевным качествам.* Вот так-то! всегда справедливее мы бываем к мертвым, а не к живым.

Сегодня хотел было я обедать у Пукалова, но звали в другое место. Середняя из Граций празднует ныне день своего рождения — и приглашает меня. Как отказать Грации? Приеду к ней откусать и старшую Грацию послушать. После кофею тотчас на извозчика и марш-марш на Волково кладбище — сперва на могилу к незабвенной, а потом к мастеру Тюшину для переговоров о *памятнике любви и дружбы*. Это выражение не мое, а Акима Ивановича, в последнем его письме ко мне. О себе он ничего не пишет.

14 октября.

Сию минуту с Волковского кладбища. Рука едва ходит, потому что еще не согрелась. — Был на могиле незабвенной С. Д. Надгробный камень покрыт на ладонь снегом, а на снегу следы человеческие, птичьи и honny soit qui mal у pense — собачьи. К счастью, Тюшина застал дома. Обо всем с ним переговорил и дал ему как свой адрес, так и П. П. Татар<инова>. Памятник через неделю будет готов, и по окончании оного Тюшин обещался явиться ко мне. Я оставил ему две надписи:

1) *Кто знал ее, слезу на прах ее уронит*; 2. С. Д. П. род. 25 Сент. 1794 сконч. 4 Мая 1824. — Последнюю велел оставить, потому что

---

<sup>1</sup> Пусть будет стыдно тому, кто дурно этом подумает (фр.)

он такую же, или почти такую же, получил от тебя. Хотел я взглянуть на нее; но он не отыскал, потому что приказчика не было дома и он унес все надписи и рисунки. Я велел вырезать точно так, как назначено тобою.

22 октября.

Третьего дня был я у Татаринова и отдал ему эстампы, которые он в тот же день хотел отослать к Ак<иму> Ив.<ановичу>. Сей последний, как заключает Татаринов по последнему письму его, довольно теперь весел и спокоен. Ожидаю со дня на день к себе надгробного мастера и на днях хочу сам у него побывать. Авось удастся в субботу.

27 октября.

В субботу хотел быть у меня и Варламов, но не был. Я послал ему с Козловским кантату на кончину *незабвенной* и просил его положить на музыку. О том же попрошу и Мих.<аила> Лукьян<овича>. <...>

Квартира Ак.<има> Ив.<ановича> все еще стоит пустая. Не могу пройти мимо окон этого дома, чтобы не перевернулось у меня сердце. Самая могила С. Д. не производит надо мною такого действия, как окно, у которого она сидела обыкновенно в своем кабинете.

5 ноября.

Неужли Позняк и теперь еще не приехал? Неужели он все гостит у Акима Ивановича? <...>

Мастер Тюшин все еще не является ко мне, а я истинно не имел времени быть у него. Надобно непременно съездить к нему утром. Во что бы то ни стало, поеду в нынешнюю субботу. Что бы вместе?

6 ноября.

Вчера обедал я у Шленевых. Шленева рассказывает мне сон свой. «Я видела, говорит, сегодня во сне С. Д. Такая она была хорошая, белая, румяная и повыше, нежели была живая. Я не могла налюбоваться ею». — Прихожу домой, и Катенька подает мне надгробную надпись, данную мною мастеру Тюшину с адресом моим и Татаринова. Тюшин был утром без меня и сказывал, что памятник С. Д. поставлен уже на могилу. В субботу утром непременно туда поеду и отслужу панихиду.

И я сегодня видел во сне С. Д., — а месяца 4 уже не видал ее, хотя беспрестанно об ней думаю. Видел, будто она едет к нашему дому с Волковского кладбища на санках и держит маленький розовый гроб.

9 ноября.

Посидел дома до половины 10 часа — нет нашего именинника. Пошел, повеся голову, по Лиговскому каналу, шел, шел, дошел до Знаменья, взял извозчика и поехал на Волковское кладбище. Иду к памятнику С. Д. Не ожидал я, чтобы он был так хорош. Хвала мастеру Тюшину! Славно выполировал гранит. И как хорошо идут белые мраморные фризы к темно-красному граниту. Бронзовые украшения, слова, все, все очень хорошо. <...> Посаженные у могилы 4 березки сломило бурей. Я хотел было отслужить панихиду, но в церкви сам дьячок сказал мне, что в царские дни панихид не служат. И так воротился я на могилу, помолился и за себя и за тебя и поехал в Департамент.

20 ноября.

Удивила меня Соф<ья> Ив<ановна> Окунева. Я заходил к ней в воскресенье. <...> Услышав от меня, что поставили уже над С. Д. памятник, она заплакала и ушла в другую комнату. Минут через пять воротилась; слезы блистали на глазах ее... а какие бишь у нее глаза?

26 ноября.

Недавно встретился с П. П. Татариновым. Он писал к А. И. о памятнике. А. И. еще живет в деревне и кажется не думает сюда приехать.

6 января 1825 года.

И я в новый год перед обедом, когда Евсеевы с братцем и Ивановым запели пружалобно: *не белы-то снежки*, при словах: *сама горько плачет*, вспомнил кой-что и заплакал — а жена и увидела. Скучно, грустно, любезнейший племянничек — с нового года почти не улыбаюсь — изредка при получении с почты *billets doux* — но и тех еще в нынешнем году не получал.

На праздниках встретился я с Д. П. Позняком у Княж<евичей>. А. И. все еще живет в деревне.

9 января 1825 года.

Правду твердишь ты, любезнейший мой племянничек: *все пройдет!* И грусть моя проходит — я начинаю уже улыбаться.

13 января.

Ах, как глуп Борька в честной компании. Смел он, сукин сын, упрекнуть меня при Кат<еньке> *стихами к покойной С. Д., напечатанными в Северн. Цветах.* <...>

---

\* Билетец (фр.)

Два раза на сих днях видел во сне *незабвенную*. Побываю на могилке, помолюсь и за нее и за себя и за тебя.

17 апреля.

... Бог добр, как говаривала покойная Софья Дмитриевна. Накажет, да и помилует.

17 апреля.

Не осталось ли у тебя сколько-нибудь портретов *незабвенной* Софьи Дмитриевны. Слезно просят по экземплярику для альбомов Дмитрий и Влад. Княжевичи, также и Панаев. Пришли, если есть у тебя, а буде нет, то дай мне знать, не осталось ли у Ак. Ив. Вот скоро будет год, как не стало С. Д. Теперь уже она была больна.

4 мая.

Был на Волковом кладбище и отслужил панихиду по *незабвенной* С. Д. Свящ<sup>енник</sup> сказал мне; *вы часто служите: не родня ли вам?*

5 мая.

Одна жеманная дама, услышав, что я накануне служил по С. Д. панихиду, спросила меня с улыбкою: *разве она вам родня?* — Я отвечал, что искренних друзей предпочитаю многим родным. — Черт просит этих благочестивых дам мешаться в мои сердечные дела.

25 мая.

Спасибо за портреты *незабвенной* С. Д. Ах, зачем нет тебя здесь — пошли бы вместе с тобою на кладбище. Портреты отдал я старшему Княжевичу и Панаеву. Оба велели благодарить тебя.

---

На Волковом кладбище стоял памятник темно-красного гранита с белыми мраморными фризами. На нем была высечена надпись: имя, даты, стих: «Кто знал ее, слезу на прах ее уронит».

Нередко в тишине ночной  
Сей скромный памятник камены окружают  
И с Грациями здесь рыдают  
О милой их сестре родной.

Это была еще одна эпитафия, написанная Измайловым. Вместе с двумя другими они составили венок — «Надгробия Софье Дмитриевне Пономаревой»; Измайлов напечатал их в апрельской книжке журнала, вышедшей в свет в конце мая<sup>2</sup>. В примечании он напомнил о дружеском литературном обществе, где она была председателем.

В следующей книжке он поместил «Мысли при гробе С. Д. П.»<sup>3</sup>.

Вместе с Яковлевым он издал альманах «Календарь муз на 1826 год» и там рассыпал свои старые экспромты, альбомные мадригалы и посвящения Софье Дмитриевне, — те, которые мы уже знаем; «В альбом N. N.» («Счастливец, Гектор, ты счастливец...»), «Экспромт С. Д. П.», впрочем, здесь же нашла себе место и скорбная кантата его «На кончину С. Д. П.». Панаев отдал ему стихотворение, которое когда-то записал ей в альбом: «Пускай другие в том согласны, Что вы и милы и прекрасны...» Для него все это уже было в прошлом: почти рядом с этими старыми увлечениями нашли себе место стихи, обращенные к жене: при посылке портрета и при посылке идиллий. Измайлов словно спешил теперь напечатать все, что писал когда-то Пономаревой, все, что было можно: стихи на болезнь ее — в «Невском альманахе на 1825 год», стихи на день ангела и экспромт («Могу сказать я про себя...») — в следующей книжке того же «Невского альманаха». И после смерти дамы он оставался верным ее вассалом; его ли вина, что при жизни ее он был домашним ее поэтом и теперь у него в руках были только стихотворные мелочи, интересные разве тем, кто, как и он, близко знал адресата? Он сделал для ее памяти все, что было в его силах, но из мадригалов и стихов на случай не мог получиться нерукотворный памятник.

Его поставили не друзья — скорее противники.

---

В конце марта 1824 года в болгаринских «Литературных листках» появилось извещение, что «К. Ф. Рылеев, с позволения автора, вознамерился издать <...> сочинения Баратынского, известного публике своими прекрасными элегиями, посланиями, воспоминаниями о Финляндии и поэмой “Пирь”»<sup>4</sup>. Софья Дмитриевна, вероятно, успела прочитать это объявление в самый канун своей смертельной болезни.

Весной того же года Баратынский писал Бестужеву и Рылееву из Финляндии, что в тетрадах, которые он у них оставил, стихи переписаны без всякого порядка, и «особенно вторая книга элегий имеет нужду в пересмотре», — а он хотел бы, чтобы пьесы «по своему расположению представляли некоторую связь между собою, к чему они до известной степени способны». Он просил, чтобы издатели сами «классифицировали» его стихи<sup>5</sup>.

Он собирался составить из элегий три книги с развивающимся сюжетом, как делали это французские элегики, в частности Парни. Сразу же скажем, что свое намерение он выполнил.

Что было в его «тетрадах», оставленных у Рылеева, мы не знаем: они до нас не дошли.

В Финляндии застаёт его известие о смерти Пономаревой. Как он воспринял его — мы не знаем. За это время не сохранилось ни одного письма его к общим знакомым, и ничего нельзя вычитать из его стихов, не имеющих к тому же точных дат. В середине июня он приехал в столицу, встречался с Львом Пушкиным, Гречем, Дельвигом, А. Тургеневым, Жуковским; был у Рылеева и Бестужева. Он провел в столице почти два месяца; в нача-

ле августа уехал и увез с собой тетради. Бестужев считал, что это неспроста и что его подучил Воейков<sup>6</sup>. Но, может быть, подозрительность его была неоправданной и Баратынский собирался сам заняться составлением своего сборника.

Стоит пожалеть, что мы не знаем тогдашнего содержания замышляемой книжки. Все-таки с пономаревским кружком был связан целый этап его биографии, — и смерть Пономаревой могла как-то отразиться в сборнике, который готовился под свежим ее впечатлением. Впрочем, это далеко не обязательно: даже события, глубоко отпечатававшиеся в сознании поэта, не всегда оставляли в творчестве его явный след: так, смерть Пушкина, поразившая его, сказалась в его стихах лишь в безнадежном пессимизме последних строф «Осени». Смерть Пономаревой не была для него, конечно, таким потрясением; увлечение прошло, да и в разгар свой не захватывало его целиком. Новые события, новые друзья, женщины и мужчины, вытесняли из памяти недавнее прошлое. В Фридрихсгаме он кокетничал слегка с Аннет Лутковской, племянницей командира Нейшлотского полка, его начальника и старинного знакомого семьи. У Лутковской был альбом, куда писали подруги и посетители дома, — типичный альбом провинциальной барышни. Несколько стихотворений посвятил ей и Баратынский.

Среди этих стихов мы находим и такие, которые первоначально адресовались Пономаревой.

Так, стихотворение «Когда неопытен я был...», находившееся когда-то в утраченном ныне альбоме Софьи Дмитриевны<sup>7</sup>, Баратынский напечатал в «Полярной звезде на 1825 год» под названием «Л-ой». Конечно, он отдал его Рылееву и Бестужеву еще в свой июньский приезд.

В альбом же Лутковской он вписал «Вы слишком многими любимы...» — этот мадригал был еще в марте 1821 года написан им для Софьи Дмитриевны, а потом и напечатан. И там же мы находим стихи «Мила, как Грация, скромна, как Сандрильона...», которые в 1827 году обнародовал Воейков в «Славянине» под названием «В альбом Софии». Есть предположение, что стихи эти тоже были обращены к Пономаревой, а после переадресованы<sup>8</sup>.

Что означало все это, — забвение, равнодушие к памяти?

Измайлов сохранял посвящения при альбомных мадригалах, — Баратынский спокойно и легко адресует их другой женщине.

В отличие от Измайлова, он не видит в них памятного знака, потому что в них самих нет ничего от их адресата. Альбомные стихи — плод искусства и остроумия, они принадлежат всем — и никому; они годятся для любого альбома. В альбом Пономаревой он свободно мог бы вписать стихи, не ей посвященные. Иное дело — элегия или послание...

События, исторические и личные, надвигаются неудержимо; самые основания биографий колеблются...

В конце 1824 года его захватывает чувство, не сравнимое с тем, какое он уже испытал. Не интеллектуальный роман — темная стихия, неудержимо притягивающая и отталкивающая: Аграфена Закревская, вакханка, Магдалина, «беззаконная комета»...



Взгляни на лик холодный сей,  
Взгляни: в нем жизни нет;  
Но как на нем былых страстей  
Еще заметен след!

В письме к новому своему другу — Путяте — он перефразировал надгробную речь Боссюэ Генриэтте-Анне Английской, герцогине Орлеанской: «Вот она, принцесса, любимая и лелеемая! вот во что превратила ее смерть; сейчас исчезнет эта тень славы, и с нее упадут даже эти печальные украшения!»

«Вот во что превратили ее страсти!» — вторил Боссюэ Баратынский, вспоминая о «Магдалине».

Стихи, вероятно, тоже были адресованы Закревской<sup>9</sup>, — как и некоторые другие, написанные в конце 1824 — начале 1825 года.

Но они появились в «Северных цветах на 1826 год» рядом с эпитафией, которую Дельвиг посвятил памяти женщины-ребенка, разбившей жизнь, как игрушку.

Быть может, соседство это было случайным. А может быть, Дельвиг, располагавший стихи в альманахе, решил, что это эпитафия тому же лицу? Название «Надпись» могло поддержать такое предположение.

Еще в прошлом альманахе он напечатал посвященные ей стихи Измайлова и эпитафию Гнедича, с которой, как мы знаем, была связана и его собственная эпитафия в книжке на двадцать шестой год. Это была дань памяти, приносимая осторожно, без шума, — только для тех, кому имя Пономаревой что-то говорило. В конце 1825 года он должен был соблюдать особый такт: он женился 30 октября, после полугодового знакомства и сильного увлечения, на Софье Михайловне Салтыковой. Это было глубокое чувство, и, как и у Баратынского, оно должно было сильно сгладить, если не стереть, прежние любовные привязанности. При всем том он рассказывал, как мы знаем, молодой жене о «некоей Софье Дмитриевне, которая уже давно умерла», и о своей прежней, давно угаснувшей, любви к ней, — и жена ревновала. Она была, кажется, в чем-то похожа на Софью Дмитриевну, — и именем, и живостью нрава, и даже сменяющимися увлечениями, — случайно ли это сходство?

Он все же помещает в «Северных цветах» свою эпитафию ей, сохраняя воспоминание только для себя. И рядом с ней — «Надпись» Баратынского.

В это время исторический шквал переворачивает все личные биографии и всю общественную жизнь.

---

Нельзя писать о восстании декабристов попутно, прослеживая историко-культурную судьбу имени вовсе не исторического, — и мы опустим здесь все, что известно любому читателю. Биографии людей, которые занимают нас сейчас, изменились резко; творчество их приобрело новые чер-

ты, — и менее всего их занимало теперь то салонное, игрушечное, бездумное, чем время от времени развлекались в годы их молодости. Людям тридцатых годов альбомный мадригал десятилетней давности казался литературным ископаемым — его просто не принимали всерьез и удивлялись, как серьезный поэт мог баловаться пустяками и, что хуже всего, печатать их. Элегии были не в чести — и уже не у эпигонов «Благонамеренного», — но сами элегики, и во главе их Пушкин и Баратынский, атакуют «жеманное выть».

Не вышедший вовремя сборник стихов Баратынского вступил в новую эпоху.

После гибели Рылеева и осуждения Бестужева право издания купил Дельвиг и начал готовить книгу к печати вместе с Плетневым, в руки которой она постепенно перешла. Но Баратынский, выйдя наконец в отставку, поселился в Москве, — и Николай Полевой, с которым он сблизился в это время, стал третьим и подлинным издателем его сочинений.

В сборник включались произведения, написанные в последние годы; что-то из прежних выбрасывалось. Любовные элегии не должны были пострадать от политических катаклизмов, — но они пострадали от причин совершенно личных, не касавшихся до публики.

Баратынский женился — чуть позже Дельвига, в июне 1826 года.

«Для поэзии он умер, — писал с негодованием Соболевскому Левушка Пушкин, — его род, т. е. эротический, не к лицу мужу, и теперь из издаваемого собрания своих сочинений он выкидывает лучшие пьесы по этой самой причине»<sup>10</sup>.

Это была последняя автоцензура. В 1827 году «Стихотворения Евгения Баратынского» вышли наконец в свет.

В сборнике, как и предполагалось, было три книги «Элегий», кроме того, «Смесь» и «Послания».

Во всех трех разделах Собрания находились стихи, посвященные Пономаревой.

Включенные во вторую и третью книги «Элегий», они оказались подчиненными общему лирическому сюжету. Баратынский, конечно, намеренно создавал его по примеру Парни. Естественно сложившийся некогда «цикл», отражавший перипетии его личных отношений с Софьей Дмитриевной, разрушился; создался цикл новый, и теперь уже тайные нити протягивались между стихами, не имевшими друг к другу никакого отношения. Их связывало одно: душевная биография героя. Из «пономаревских» стихов он выбрал «Размолвку», «Поцелуй» и «Делии». Первые два, как мы говорили, не принято было относить к Пономаревой, — и мы устанавливаем адресата гипотетически; третье посвящено ей несомненно.

Это стихи о призрак любовного счастья, исчезнувшем и обманувшем, о тайных причинах охлаждения героя к жизни и любовным утехам. Слабый абрис жестокой возлюбленной рисуется за строками «Размолвки»; в стихах «Делии» он получает плоть и кровь. Мы помним эти стихи; очищенные от случайного, длиннот, поэтических неточностей, они предстали

в сборнике в прежнем и в то же время новом качестве. Обобщенный образ сохранил индивидуальные черты, — и, вероятно, впервые в русской элегии явился подобный.

Зачем, о Делия! сердца младые ты  
Игрой любви и сладострастья  
Исполнить силишься мучительной мечты  
Недосягаемого счастья?  
Я видел вкруг тебя поклонников твоих,  
Полуиссохших в страсти жадной...

Понимал ли он теперь, что это — сбывшееся пророчество?

Даже если эта мысль и приходила ему в голову, то она не могла помешать включить стихи в сборник. «Делия» больше не была реальной Софьей Дмитриевной Пономаревой; это было не живое тело, а скульптурный портрет, изваянный рукой художника.

Для «Смеси» он отобрал «К ...о» («Приманкой ласковых речей...»), «К жестокой», «В альбом» («Вы слишком многими любимы...») — те самые стихи, которые он записывал Лутковской: другое переадресованное стихотворение: «Л-ой» («Когда неопытен я был...») и послание «Д<ельви>гу» («Я безрассуден, и не диво») — об обманщице, ласковой шалунье, данной ему судьбой. В «Смеси» менялся образ. Поэт очень точно отобрал стихи, которые подарил Лутковской, — ни одно из оставшихся переадресовать было нельзя. В них жило существо неудержимо привлекательное, проказливое и жестокое, коварное и нежное, несущее счастье и страдание. И два стихотворения он включил в «Послания»: «О своенравная София», — конечно, как и ранее, заменив «Софию» на «Аглаю», — и «К ...» («Мне с упоением заметным»). По этим стихам также прошла рука художника; они словно созрели до абсолютной точности слова:

Я захожу в ваш милый дом,  
Как вольнодумец в храм заходит.  
Душою праздный с давних пор,  
Еще твержу любовный вздор,  
Еще беру прельщенья меры,  
Как по привычке прежних дней  
Он ароматы жжет без веры  
Богам, чужим душе своей.

«Милый дом». Эта тема есть в обоих посланиях. Владычица сердец, не кокетка, не обольстительница, но хозяйка веселых вечеров, где говорят свободно и свободно себя чувствуют; предмет дружбы-любви, *amitié amoureuse*. Это был третий облик единой женщины.

И он был самым живым из всех в силу самой природы послания, удерживающего быт, мелочи, отношения.

«Смех и шум» пономаревских собраний врывается в литературу, как сквозь внезапно открытую дверь.

И шум журнальных полемик, лишь недавно затихших, тоже доносился со страниц «Стихотворений Евгения Баратынского».

Раздел «Послания» начинался той самой сатирой «К Гнедичу...», которую цензор Бируков не пропустил в «Полярную звезду»; сатирой, где были выведены Измайлов, Панаев, Сомов, Цертелев, Яковлев и Борис Федоров. Из всех них осталось в сатире только двое:

Когда в отечестве все тихо и спокойно,  
Одни писатели воюют непристойно!  
Сказать Аркадину: не Музами тебе  
Позволено свирель напачкать на гербе;  
Сказать Паясину: болтун еженедельный!  
Ты сделал свой журнал Парнасской богодельной  
И в нем ты каждого убогого умом  
С любовью даришь услужливым листком.  
Меж тем иной из них, хотя прозаик вялый.  
Хоть жалкий рифмоплет, душой предобрый малый.  
Шутилов, например, знакомец давний мой.  
В журнале пошлый шут, ругатель площадной,  
Совсем печатному домашний не подобен.  
Он милый хлебосол, он к дружеству способен,  
В свой именинный день, вином разгорячен,  
Целует с нежностью глупца другого он;  
Аркадин в обществе любезен без усилий  
И верно, во сто раз милей своих идиллий<sup>11</sup>.

«Паясин», «Шутилов»... В них мог бы узнать Измайлова разве тот, кто знал о ранней редакции сатиры. «Благонамеренный» прекратил свое существование; сам издатель вице-губернаторствовал в Твери. На письменном его столе, рядом с портретом жены, стоял портрет С. Д. Пономаревой<sup>12</sup>.

«Аркадин» — Панаев узнавался безошибочно. И о нем же — об «идиллике новом» — говорила «Эпиграмма» в разделе «Смесь»:

Никак негодный он поэт?  
— Нельзя сказать. — С талантом? — Нет;  
Ошибок важных, правда, мало;  
Да пишет он довольно вяло.

Более ни слова о нем, — прерывает Аполлон:

Из списков выключить — и только.

Это было новое стихотворение, — во всяком случае, оно впервые появилось в сборнике 1827 года<sup>13</sup>.

Все споры, неудовольствия, полемике отошли в прошлое. Вражда к Панаеву осталась, — если не усилилась.

Здесь нам понадобится экскурс в сторону.

В то время, когда Баратынский готовил свой сборник к изданию, в Москве явился освобожденный из ссылки Пушкин. С осени 1826 года возобновляется их знакомство и становится «короче прежнего», как будет вспоминать Баратынский два года спустя. Их видят вместе в публичных собраниях; Баратынский вводит его в круг своих друзей; они бывают в одних и тех же литературных кружках и, случается, вместе выступают в литературных полемиках.

Еще на юге Пушкин пристрастно и любовно следил за творчеством Баратынского и знал и его друзей, и его врагов. Это было и немудрено: и тех и других он делил с Дельвигом, любимейшим из лицейских товарищей Пушкина. Бессарабский и одесский изгнанник получал письма и читал журналы; он знал поименно всех «кулачных бойцов» Измайлова и сохранил к ним на многие годы литературную неприязнь. Она распространялась на Цертелева, Федорова, Ореста Сомова; к последнему Пушкин не мог преодолеть своего предубеждения даже тогда, когда тот вошел в дом Дельвига на правах друга и сотрудника. Иногда он прибегал к оружию молодых поэтов, — осудив сатиру Баратынского, он все же воспользовался для эпиграммы на Измайлова ее словечком: «площадной шут», «журнальный шут»<sup>14</sup>. Но все это имело какие-то более или менее явные поводы.

В 1827 году без всякого видимого повода начинает распространяться его эпиграмма на Панаева.

III отделение, тщательно следившее за его новыми и прежними произведениями, ходящими по рукам, в ноябре добирается до этих стихов:

#### РУССКОМУ ГЕСНЕРУ

Куда ты холоден и сух!  
 Как слог твой чопорен и бледен!  
 Как в изобретеньях ты беден!  
 Как утомляешь ты мой слух!  
 Твоя пастушка, твой пастух  
 Должны ходить в овчинной шубе:  
 Ты их морозишь налегке!  
 Где ты нашел их: в шустер-клубе  
 Или на Красном кабачке?<sup>15</sup>

Фон-Фок, начальник канцелярии Бенкендорфа, переписал стихи на особом листке; Бенкендорф сверху карандашом пометил: «На Федорова»<sup>16</sup>.

Пометка Бенкендорфа — единственное указание на адресата, — и на ее основании эпиграмму считают иногда направленной против Федорова<sup>17</sup>. Нам предстоит поэтому остановиться на ней подробнее.

С тех пор, как прекратился «Благонамеренный» и с отъездом Измайлова окончил существование его кружок, Борис Федоров лишился форпоста, с которого посылал критические стрелы в «поэтов новой школы». В начале 1826 года он по инерции продолжал еще ратовать, напечатав в «Ка-

лендаре муз» Измайлова и Яковлева свои старые стихи «к некоторым поэтам», затем полемика затихла и Федоров переключился на издание «Новой детской библиотеки», альманаха «Памятник отечественных муз» и исторические занятия. Своих пристрастий и антипатий он не изменил, но теперь они стали достоянием его дневника.

По-видимому, А. Тургенев, давний его покровитель, снабжает его первоклассными материалами для альманаха — письмами Карамзина, Батюшкова; он просит за него друзей, и те дают ему стихи — без всякой охоты, только для Тургенева. Пушкин разрешает ему напечатать несколько ранних своих стихов, требуя непременно означить годы написания. Все это происходит еще в конце 1826 года: 13 декабря К. С. Сербинович, его цензор и приятель, читает стихи Пушкина, оставленные у него Федоровым<sup>18</sup>. В Петербурге Пушкин в 1826 году не был, — стало быть, разрешение Федоров получил через общих знакомых; только в мае 1827 года, увидевшись с Пушкиным у Карамзиных, он мог выразить ему свою благодарность<sup>19</sup>. К этому времени альманах его уже вышел в свет.

Перед Пушкиным Федоров преклонялся. Не приемля стихов Вяземского, Баратынского, Языкова, лишь избирательно приемля Дельвига, он был убежден, что «Пушкин гений»<sup>20</sup>. Таково же было мнение и Измайлова, и даже Панаева. Пиетет заставлял Федорова искать сближения и бесед, но не мешал ему обращаться Пушкина на путь нравственности устно и печатно. Пушкин парировал эти разговоры рискованными шутками, и Федоров смущался. Другим кумиром его, лишенным пушкинских недостатков, продолжал оставаться Панаев. В своем альманахе, — там же, где он поместил пушкинские стихи, он обнародовал и свое стихотворение «В альбом П. А. Панаевой» с уже привычной характеристикой ее мужа: «новый наш Геснер».

«Геснер» принимал поклонение благосклонно, но глухая стена разделяла Федорова и Пушкина. Он не шел ни на какие сближения. Он мог не без интереса побеседовать с ним об истории Петра, мог держать на коленях его сына, слушая из его уст свои стихи, мог, наконец, выслушивать замечания Федорова о новой главе «Онегина» и даже соглашаться с некоторыми из них, — но за редчайшим исключением он не принимал даже тех, с которыми соглашался устно. Суждения Федорова вызывали в нем насмешку. Вежливый и лояльный при личном общении, он был злопаятен, когда дело касалось литературы. Об этой его черте вспоминал Вяземский: Пушкин не успокаивался, пока не расплачивался за обиду — полемической статьей или, еще лучше, эпиграммой, — иногда через несколько лет. После этого обида проходила. Так было с И. И. Дмитриевым. Здесь же был случай особый: обиды от Федорова терпели его друзья, ближайшие соратники, — а этого он не прощал.

Он собирался печатно отречься от некоторых своих стихов, напечатанных Федоровым. «... Г-н Фед<оров> напечатал под моим именем однажды какую-то <?> идилическую нелепость, сочиненную вероятно камердинером г-на П-<ан>аева». В «Опровержениях на критики», где замечаниям Федорова на «Онегина» посвящены убийственные строки, он еще раз

повторил эту фразу: «В альм<анахе>, изданном г-ном Федоровым, между найденными бог знает где стихами моими, напечатана идиллия, писанная слогом переписчика стихов г-на П-<анае>ва»<sup>21</sup>.

Имя Панаева всплывает в связи с «Памятником отечественных муз», где, кстати, была напечатана одна из его «русских идиллий», и, как мы помним, о нем упоминалось как о «новом Геснере». Но, конечно, это было не самым важным обстоятельством, заслуживающим эпитаграммы. Важнее было, что в сборнике Баратынского дважды был дан сатирический портрет человека, к имени которого этот титул прирос как постоянный эпитет. Панаев, знамя «измайловцев», прославленный стихами Федорова и комплиментарным посланием к нему Измайлова в «Календаре муз» в том же 1827 году, дутая литературная репутация, поддерживаемая недавними противниками «союза поэтов...»

Нет, определенно, жандармское ведомство ошибалось, поверив петербургским слухам. «Русскому Геснеру» — стихи не о Федорове, которого никогда не считали идилликом по преимуществу. Но ошибка была понятна: Панаев и Федоров связаны лично и литературно. Федоров — ревностный сторонник идиллии как жанра. III отделение в это время очень интересовалось Федоровым, просившим о разрешении на издание газеты; оно собирало сведения, и записка Фон-Фока о нем, содержащая почти гротескный портрет мелкотравчатого литератора, подверженного любым влияниям извне, включала и эпитаграмму Дельвига «Федорова Борьки Мадригалы горьки», приписанную Пушкину<sup>22</sup>. Информированность Фон-Фока была широкой, но не всегда точной.

В апреле—августе 1827 года Пушкин включает эпитаграмму (под названием «Идиллику») в список стихотворений, дополняющих собрание стихов, вышедшее в 1826 году<sup>23</sup>; в ноябре о ней узнает Фон-Фок, и тогда же, в ноябре, выходят «Стихотворения Евгения Баратынского», конечно, известные Пушкину еще до печати. В сущности, «Русскому Геснеру» и по содержанию, да отчасти и по форме соотносится с «Эпитаграммой» Баратынского: в ней также идет речь о бесцветной правильности поэзии Панаева, ее «бледности», «вялости». И сразу же вслед за Баратынским Пушкин печатает ее в «Опыте русской анфологии» М. А. Яковлева, некогда соиздателя «Невского зрителя», — причем отдает ее туда сам: в предисловии Яковлев благодарил Пушкина и барона Дельвига за предоставление «новых, нигде не напечатанных пьес». Из пушкинских стихов в «Анфологии» под это определение подходила только эпитаграмма «Русскому Геснеру».

Это было одно из совместных полемических выступлений Пушкина и Баратынского, демонстрация единства «союза поэтов» перед лицом враждебных литературных сил. «Одно из» — потому что оно не было единственным: при подобных же обстоятельствах и в то же время возникла эпитаграмма Пушкина на Андрея Муравьева, поднятого на щит в салоне Волконской<sup>24</sup>.

И теперь мы можем, кажется, объяснить загадочную фразу из воспоминаний Панаева, приведенную в начале этого очерка: «впоследствии» лицеисты еще более «прогневались» на него «вместе с Пушкиным» за то, что

он не советовал Софье Дмитриевне Пономаревой знакомиться с ними. Мы говорили о хронологических неточностях в этом замечании, — теперь нам важно другое: словно ненароком оброненное словечко «впоследствии». Если отнести его не к 1820-му, а к 1827—1828 годам, все становится на свое место. Панаев отлично знал, какого «идиллика» имел в виду Баратынский и какого «Геснера» — Пушкин; конечно же, эти выступления не прошли для него незамеченными. Он объяснил их мотивами чисто личными, — едва ли не намеренно: о литературных разногласиях, даже несовместимости, в его воспоминаниях нет ни слова. С другой стороны, он был отчасти и прав: предыстория эпиграмм уходила в литературный кружок, ставший ареной борьбы, и здесь переплелось общее и частное, литературное и личное.

Когда через несколько лет Баратынский станет готовить двухтомное собрание своих сочинений, он сделает еще один шаг, чтобы частное и личное растворилось во всеобщем. Он включит в первый том все стихотворения, о которых шла только что речь, — но в сатире «Г-чу» (так она озаглавлена, в отличие от другого послания с полным названием: «Н. И. Гнедичу») он уберет все следы прежних полемик, заменив этот фрагмент двумя строками точек. Он стал историей. На свете не было ни Измайлова, ни Сомова; Яковлев умер в 1835 году — в самый год издания сборника Баратынского: Панаев, Цертелев отошли от литературы. Один Борис Федоров продолжал свою неутомимую деятельность на ниве словесности, — но в тридцатые годы он уже казался странным пережитком, да и о кружках двадцатых годов мало кто вспоминал. Со смертью Дельвига рвались петербургские литературные связи, и эпилогом первого тома стало то стихотворение, которое Баратынский посылал в альманах памяти Дельвига, — о прощании с поэтической молодостью:

Как звуки звукам отвечая,  
Бывало, нежили меня!  
Но все проходит. Остываю  
Я и к гармонии стихов...

Тень прежней петербургской обольстительницы потерялась теперь среди других, населивших его поэтический Элизиум. Но в семейном предании она продолжала существовать; Настасья Львовна, рациональная и «неэлегическая», как говорили друзья Баратынского, переписывая стихи мужа уже после его смерти, над многими выставила ее инициалы; к своим мертвым соперницам она была снисходительнее, чем Софья Михайловна Дельвиг.

А что же Дельвиг?

Он издал свой единственный сборник стихотворений через два года после Баратынского, в 1829 году, и посвятил его жене. Посвящение заключалось в «Эпилоге», изящном и дипломатичном. Собрание стихов было «живыми впечатлениями юности»; напевы любви ранних лет были поисками той единственной, которая, наконец, явилась. Как и Баратынский, Дельвиг очерчивал свою духовную биографию, и те страницы ее, которые гово-



рили о радостях и разочарованиях любви, воскрешали образ Пономаревой. Стихи, ей посвященные, включались в маленькие циклы, нечувствительно рождавшиеся внутри сборника: три надписи — на смерть Веневитинова, на окончание первой песни «Илиады» («Н. И. Гнедичу») и «Эпитафия» ей; четыре сонета, следующие один за другим, — «Вдохновение», «Златых кудрей приятная небрежность...», «Н. М. Языкову», «С. Д. П-ой (при посылке книги "Воспоминания об Испании", соч. Булгарина)». Он включил сюда и «На смерть собачки "Амики"», и те стихи, которые он писал в месяцы расставания: «Песня» («Наяву и в сладком сне...»), «Разочарование», соединив их с другими, говорящими о любовной разлуке: «Романсом» («Вчера вакхических друзей...»), вторым «Романсом» («Одинок месяц плыл...»). В этом подобии цикла проходит и тема безвременной смерти девушки — случайно ли? А далее — три стихотворения о возрождении в любви, следующие одно за другим: «В альбом» («О сила чудной красоты!»), «Романс» («Прекрасный день, счастливый день...») и еще один «Романс» («Не говори: любовь пройдет...») — все, связанные с воспоминанием о Пономаревой.

Здесь было меньше живых черт, нежели в стихах Баратынского. Облик прежней Делии-Дориды терял реальные очертания, он рисовался отраженно, он включал в себя нечто от лирических героинь прошлых эпох. В сонетах он становился похож на идеальную возлюбленную Петрарки. «В устах коралл, жемчужный ряд зубов...» Пожалуй, только в этом сонете было прозрачно обозначено имя Софьи Дмитриевны: «С. Д. П-ой. При посылке книги "Воспоминание об Испании", соч. Булгарина». Но образ не умер, он лишь затаился в любовных романсах, песнях, сонетах, элегиях и жил вместе с ними.

Прекрасный день, счастливый день:  
И солнце, и любовь...

## ЭПИЛОГ

Рукописи — увы! — горят, — но культура обладает способностью к самовоскрешению. Если бы героиня нашего повествования была только одной из «дам былых времен», о которых сожалел еще Франсуа Вийон, она бы ушла вместе с ними в небытие, подобно прошлогоднему снегу. Если бы даже она была «одной из воспетых» Дельвигом и Баратынским, — но не более того, — ее бессмертие обеспечивалось бы несколькими строками комментария.

Но она была участником — и активным участником — движения культуры, даже и не всегда это сознавая. И само это движение, силою своих непреодолимых законов, донесло до нас ее скромное имя и ее частную жизнь. Когда в конце сороковых — начале пятидесятых годов прошлого века А. Д. Галахов<sup>1</sup>, а затем В. П. Гаевский стали изучать биографии Измайлова и Дельвига, они вспомнили о Пономаревой и ее литературных вечерах. Они собрали стихи, посвященные ей, и Гаевский упомянул о ее альбоме. «Не знаем, — писал он, — сохранился ли этот альбом и у кого, но не сомневаемся, что он принадлежит к числу замечательнейших русских альбомов. В нем встречались имена и произведения большей части литературных деятелей того времени и многих художников и любителей. Автору предлагаемой статьи не случилось видеть этого альбома; но, судя по стихотворениям, переходившим из него в альманахи и периодические издания, нетрудно составить себе некоторое понятие о его содержании»<sup>2</sup>. И он тщательно собрал по журналам и альманахам более трех десятков стихов и альбомных посвящений — Измайлова, Панаева, Сомова, Кованько, Илличевского, Плетнева, — и, конечно, Дельвига.

Призыв же искать самый альбом остался без ответа, — и не только потому, что неизвестно было, где он находится и уцелел ли вообще, — но и потому, что к нему не пробудился еще общественный интерес. Наступали шестидесятые годы — время новых людей и новых проблем, которые отодвинули на задний план самую поэзию Пушкина, не говоря уже о младших светилах пушкинской эпохи.

Впрочем, по случайному стечению обстоятельств, именно в конце шестидесятых годов дом Пономаревой на мгновение предстал глазам русского читателя. В 1867 году в «Русском вестнике» появились уже известные нам воспоминания за девять лет до того скончавшегося В. Панаева — и еще остававшиеся в живых друзья Баратынского выступили в печати с протестами. Со времени смерти Баратынского прошло не так уж много вре-

мени — всего двадцать три года, — но полемика вокруг его имени уже казалась частным и личным делом: за четверть столетия ушла целая эпоха.

Должно было пройти еще двадцать пять лет, чтобы на волне подымающегося интереса ко времени Пушкина появилась маленькая работа М. Н. Мазаева под названием «Дружеское литературное общество С. Д. Пономаревой» (1892)<sup>3</sup>. Мазаев шел по следам Гаевского: он собрал печатные упоминания, — но даже и из них вырисовывался общий контур культурного явления. Речь шла именно об обществе — дружеском, домашнем, приватном, — но тем не менее литературном обществе.

И, словно по историческому вызову, через два года отыскивается альбом, о котором спрашивал Гаевский. Он не успел узнать, что давний его интерес наконец может быть удовлетворен: его не было на свете вот уже шесть лет.

Все это время альбом Пономаревой — да не один, а несколько (из них до нашего времени дошло два) — мирно покоился в недрах помещичьего архива: он остался у потомков Софьи Дмитриевны. Сын ее, как мы знаем, покончил с собой, — но у нее был племянник, хранивший собрание семейных бумаг, — Н. Н. Пономарев, гвардии полковник. Внучатым же племянником этого Пономарева был уже известный нам Н. В. Дризен; он-то и обратил внимание на «тетушкин альбом» и напечатал о нем статью, которой мы не раз пользовались на протяжении этого рассказа. А еще через двадцать лет историк литературы А. А. Веселовский, разбирая семейную библиотеку, обнаружил пачку бумаг, доставшуюся его отцу от того же Н. Н. Пономарева, прошедшего конец жизни в своем имении в Боровичском уезде Новгородской губернии. Это был «Журнал всех входящих и исходящих бумаг» Сословия Друзей Просвещения.

Шаг за шагом, не торопясь, с перерывами в четверть века русская культура и наука воскресила то, что, казалось бы, навсегда забыто. Из глубин исторической памяти, — хотя и не столь уже давней, — поднимались имена людей, сопутствовавших большим культурным деятелям. И это было необходимо, потому что культура во все времена существует в качестве некоей среды или горной цепи с вершинами и вершина без горной цени непонятна и непредставима.

Веселовский напечатал обнаруженные документы и оценил их в общем правильно. Но он считал описанное им общество только литературной игрой, и в лучшем случае романтической любовной историей, — и потому опустил в публикации то, что, как ему казалось, не представляло исторического интереса. Это было ошибкой, но очень характерной для времени. Игрой считали почти все литературные общества начала века: и «Арзамас», и «Зеленую лампу»; «Сословие Друзей Просвещения» тем более заслуживало этого названия. Лишь немногие, наиболее проникательные исследователи могли оценить общекультурное значение литературной игры.

Игра была видимостью, а не сущностью. Она обозначала только вход в исторический лабиринт, где, незаметные с поверхности, переплетались, соседствовали, гармонировали и противоборствовали отношения социаль-

ные, эстетические и личные. И каждый новый обнаруженный документ, каждое внимательное прочтение заставляли исследователей делать новый шаг внутрь лабиринта.

Сатиры и эпиграммы Баратынского касались тех самых людей, которые «играли» в дружеское общество. Предание, сопутствовавшее его лирическим посвящениям, называло имя Пономаревой.

Протоколы и печатные объявления Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, — которое также представало поначалу как любительское, — перечисляло тех же людей, и они же входили в «ученую республику». А оттуда некоторые из них вышли на Сенатскую площадь.

И все это было единым целым: и их мышление, и их действия, и их чувствования — то, что мы в обиходе называем духом эпохи.

О духе эпохи и написана эта книга.

## ПИСЬМА И ДНЕВНИКИ О. М. СОМОВА\*

Перед нами интереснейший документ: письма и дневниковые записи на французском языке незаурядного русского литератора 20-х годов XIX века Ореста Сомова. «Истинный жрец Муз, посвятивший всю жизнь свою единственно литературе» — так отзывались о Сомове современники<sup>1</sup>. Фактом литературы, памятником литературного быта стали не только его многочисленные критические статьи, повести, новеллы, но также частная любовная переписка и дневник (заметим, что, ведя дневник, Сомов имел в виду возможность его прочтения после своей смерти; так же и в отношении писем он сознавал, что С. Пономарева не останется их единственным читателем).

Современному читателю многое может показаться странным и необычным в этих записях, не всегда отвечающим представлению о писательских письмах и дневниках. С одной стороны, чрезмерное бытописание, сосредоточенность, казалось бы, на безделицах: подробнейшим образом описываются не только и не столько литературные занятия, сколько светские встречи, визиты, развлечения, прогулки, карусели и т. д. И если не знать или на минуту забыть, кто автор этих описаний, то вместе с братом г-жи Пономаревой можно было бы предположить, что перед нами «самый беззаботный малый, какого только видел свет».

С другой же стороны — и это в части дневника и в письмах, адресованных С. Д. Пономаревой, — перед нами тексты, которые легко можно было бы принять за разрозненные фрагменты романа. Здесь и высокий поэтический слог любовных признаний (вовсе не случайно Софья Дмитриевна ценит сами письма несколько выше личности их автора), и тонкий анализ собственных переживаний, и попытка разобраться в механизме пробуждения любовного чувства.

Можем ли мы говорить, что перед нами зачатки русской психологической прозы, начало которой в русской литературе относится все же к 40-м годам XIX века? В определенной степени — да, хотя и с известными ого-

---

\* Автор книги приносит сердечную признательность Е. Е. Дмитриевой-Майминой, которая, помимо подготовки французских текстов писем, любезно взяла на себя просмотр и редактирование русских переводов в тексте книги. Ей же принадлежит перевод письма от 27 мая и части письма от 26 мая.

<sup>1</sup> *Брайловский С. Н.* Мелкие литературные величины «Пушкинской плеяды». (О. М. Сомов) // *Русский филологический вестник.* Варшава, 1908. № 4. С. 410.

ворками. Ведь и письма, и дневник пишутся на французском языке, что накладывает отпечаток не только на их стиль, но и на специфику их содержания. Причем если в выборе языка для ведения дневниковых записей Сомов еще достаточно свободен, то, адресуя послания даме, согласно этикету и установившейся традиции, он вынужден пользоваться исключительно французским языком.

Подобные «французские» письма в русском обиходе, возникая в пограничной области литературы и быта, испытывали на себе мощное воздействие традиций французской эпистолярной культуры с ее тягой к куртуазности, изысканной манере изложения, часто экзальтации и пристрастием к «пустякам» (*des jolis riens*). Риторические вопросы, восклицания, гиперболы — порождение одной из основных установок французских салонов: лучше преувеличить, чем преуменьшить — все это мы находим в письмах Сомова. Отличает их и обилие метафор, перифраз, метонимий, сообщающих поэтичность повествованию, в целом не характерную для русской переписки того времени.

Сказывались здесь и собственно литературные традиции. В дневнике и письмах Сомова легко можно обнаружить отголоски романов Кребилльона-сына, поставившего себе девизом «обнажать сердце» человеческое, отголоски недавно вышедшего романа Б. Константа «Адольф» (1816). Однако не конкретные параллели и совпадения важны здесь, а принципиальная возможность, которую русскому автору открывал французский способ выражения. Это была возможность исповеди, обнажения и анализа чувства, наконец, проявления чувствительности, что русским бытовым и литературным сознанием 20-х годов XIX века воспринимается пока еще как смешной и нелепый анахронизм («но мадригал и чувство сделались одинаково смешны», — заметит почти в это же время А. С. Пушкин, а в 1830 году пародийно заставит героев «Повестей Белкина» писать друг другу чувствительные письма «четким почерком и самым бешеным слогом»). Поэтому при всей искренности признаний и размышлений Сомова многое в них было и «от литературы». И даже ламентации о бедности, полубездомном существовании, отверженности, имея биографическую основу, все же слишком хорошо проецировались на известный уже в литературе мотив раннего сиротства и бездомности героя.

Таким образом, французские письма и дневниковые записи О. Сомова оказываются отраженными двойным светом. Предвещая новые открытия в русской литературе — и, прежде всего, открытия «души человеческой», — предвосхищая рефлектирующий тип письма в переписке литераторов 30-х годов (участников кружка Станкевича), они в то же время легко укладываются во французскую эпистолярную и литературную традицию.

Насколько хорошо владел Сомов французским языком? Вспомним, что к началу переписки Сомов только что вернулся из Парижа. Помимо критической и беллетристической деятельности, в это время он выступает и как «один из лучших» (по свидетельству Н. И. Греча) русских переводчиков с французского языка. С французского он переводит Вольтера, Буф-

флера, Жанлис, Лемонте и других. На французский язык им переведен IX том «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина.

Публикуемые письма и дневник также свидетельствуют о высоком мастерстве Сомова как литератора-билингва. Особенно интересны его искания в области стиля. Иногда для выражения одной и той же мысли в рукописи подбирается до четырех стилистических вариантов. «Hélas, ce droit est le seul dont je reux jouir», — пишет Сомов, заменяя далее вторую часть фразы на: «qui me soit réservè», и т. д.

Первоначально употребленные руссизмы заменяются впоследствии более адекватным французским идиоматическим выражением. «J'ai été comme sur des aiguilles» Сомов зачеркивает (ср. русское: быть как на иголках) и вписывает новый вариант: «J'ai été à la torture».

Вообще, чем спокойнее Сомов, тем безупречнее его французский язык. И наоборот, всякий раз внутреннее волнение сказывается в появлении руссизмов (vous vous rirez вместо vous rirez и др.), грамматических и орфографических ошибок.

Основная масса ошибок приходится на случаи употребления значков accent aigu, accent grave, отрицательных частиц (je ne veux pas non plus вместо je ne veux non plus), порядок расположения местоимений, управление глаголов, согласование времен, а также употребление вспомогательных глаголов «avoir» и «être» (напр., «je ne suis nullement vous trahi»). Встречаются также ошибки, связанные с фонетическим письмом (toute suite вместо tout de suite).

При публикации текстов в настоящем издании их орфография приведена в соответствие с современными нормами правописания: проставлены надстрочные знаки, унифицировано употребление заглавных букв в именах существительных. Исправлены оговоренные выше грамматические ошибки в том случае, если это не вносило сколь-либо заметных изменений в общий характер построения фразы.

Переводами снабжены те части переписки и дневниковых записей Сомова, которые не были использованы в основной части книги (см. главы IV и V).

Ce 30 avril 1821.

Vous m'avez permis de vous écrire, Madame: cette faveur me comble de joie: je pourrai donc confier au papier les sentiments que ma bouche, trop timide près de vous, n'a jamais osé avouer. Il fut un moment où j'aurais pu hasarder cet aveu, mais dans ce moment je n'ai su que vous adorer: j'a vu le ciel se dévoiler devant moi et tout mon être est devenu le sanctuaire où brûlait l'encens le plus pur à la divinité que j'adore. Femme divine! vous m'avez vu plus humble et plus circonspect que jamais; à peine osai-je articuler quelques mots entrecoupés, à peine osai-je vous prodiguer des caresses les plus chastes, lors même que je ne pouvais plus maîtriser mes sentiments... Vous rirez en lisant ces lignes, Madame! Vous rirez d'une pauvre créature qui s'est enhardie

jusqu'à vous adorer et même à vous le dire; et bien! mon état est déjà à plaindre, il ne pourra pas le devenir davantage; je me suis résigné à tout. Mais, du moins, imitez en indulgence ces habitants du ciel dont vous êtes ici la plus belle image; laissez-moi mon erreur, laissez-moi au moins un simulacre de félicité.

Chose étrange: j'affectais l'indifférence et même la froideur et en même temps mon cœur s'embrâsais. J'aurais peut-être dû vous cacher ma défaite pour m'épargner la honte de paraître ridicule à vos yeux; mais c'est un si grand bonheur pour moi de pouvoir vous dire que je m'étourdis sur les suites, que cet aveu pourra amener. Pardon, Madame, mille fois pardon si j'ai pu vous déplaire: plaignez-moi plutôt: l'espérance est cachée pour moi sous une crêpe funèbre.

Tout à vous pour la vie  
O. Somoff.

Ce 1 Mai 1821.

Ah, Madame, quelle soirée que celle d'hier! Mon cœur se brise jusqu'en ce moment-ci, malgré la contenance affectée que je tâchais de prendre... Soyez sincère et convenez que vous avez voulu m'humilier, et de quelle manière... Ce vin que vous me feriez à boire; non, plutôt un poison prompt et efficace qu'une goutte de ce vin, et le fatal je ne veux pas est parti de ma bouche. Oh! de quoi ne l'aurais-je racheté un moment après — j'ai été à la torture tout le reste du souper; je me suis cru perdu sans ressource dans votre esprit: un seul mot m'a rendu à la vie. C'est vous qui l'avez prononcé, ce mot de grâce et de salut: j'ai vu que vous ne vous fâchiez plus et mes remords n'en étaient que plus puissants.

J'ai été souvent victime de mes premiers mouvements: un emportement momentané avait coûté bien de larmes à ma mère, à la seule flemme qui aurait partagé avec vous, si elle vivait encore, les sentiments de tendresse et d'adoration que je vous voue maintenant sans partage. Et hier... ô que je voudrais perdre même le souvenir de cette soirée! à côté de moi l'on m'insultait par un sourire infernal qui voulait dire: *tu es perdu et j'en suis très aise!* L'on ne se donnait pas même la peine de me cacher sa joie... Oh! si l'on voyait mes yeux enflammés, mon sang qui se portait à la tête; si l'on entendait le mot d'insulte et de menace qui volait déjà sur ma bouche.

Cependant j'ai su me dompter. Dieu veuille lui pardonner comme je lui ai pardonné cette fois-ci.

Comment arrive-t-il, madame, que loin de vous je ne pense qu'à vous? que lorsque je veux adresser un mot de compliment à une dame, votre nom est toujours sur mes lèvres? Que tout ce qui n'est pas vous, m'ennuie mortellement? Hier j'ai été chez Izmaïloff, triste et rêveur, je ne disais que des mots sans suite. Arrive votre époux... et comme si quelque chose m'avait électrisé, je suis devenu gai et causeur; j'ai conçu l'espoir de vous revoir dans la soirée même.

Monsieur votre époux a eu la bonté de m'inviter à passer chez vous et je ne me le suis pas fait répéter une seconde fois; j'ai volé vers votre maison de



sorte que j'y suis arrivé, à pied, presque en même temps que la drochki de monsieur Ponomareff. Vainement je vous cherchais des yeux, vainement je rappelais ma gaîté; elle s'est envolée pour le reste de la soirée, et mon âme l'était aussi pour découvrir vos traces.

Adieu, madame! mon coeur n'est pas encore à sa place: une inquiétude mortelle l'opprime encore, Il se peut bien que vous n'avez pas tout-à-fait oublié ma faute; dites-moi comment dois-je l'expier?

Votre esclave,  
soumis et repentant  
O. Somoff.

Ce 2 Mai 1921.

J'ai passé une nuit blanche, Madame: mais cette nuit était délicieuse; le plaisir ranime les forces: la preuve en est que je ne suis pas du tout abattu. Je n'ai été séparé de vous que par l'espace d'une chambre, j'ai été bercé par le souvenir de vous avoir vue endormie devant mes yeux; je respirais le même air que vous, l'air qui recevait des vibrations de voire haleine: que de délices! que de bonheur! Et ce bras nu glissant dessus la couverture, et cette figure enchanteresse plongée dans le sommeil, ce repos, cette tranquillité de l'âme qui se peignait sur vos traits... j'y serais resté jusqu'à votre réveil, si votre époux ne m'avait entraîné hors de la chambre. Aussi je n'ai pas pensé à dormir: une seule fois je me sentis la paupière appesantie, mais cette espèce d'assouvissement avait ses douceurs: votre image s'y reproduisait sous mille formes immortelles.

De grâce, apprenez-moi. Madame! pourquoi j'ai été traité d'abord si froidement dans la soirée d'hier? Par quelle faute me suis-je attiré cette espèce de dédain avec lequel vous m'avez alors entendu et répondu? Est-ce ma lettre? Qu'y avez vous trouvé qui pût vous blesser? Non! vous n'avez pas dû donner une fausse interprétation aux expressions des sentiments les plus vrais et les plus purs.

Enseignez-moi à vous peindre les sentiments! pourquoi suis-je à demi muet en votre présence? C'est par le respect que m'impose la vue de l'objet que j'adore

pour la vie  
O. Somoff.

Ce 3 Mai 1821.

Une assez belle matinée et la perspective d'une très belle journée — telles étaient mes espérances d'hier. Madame! oh! qu'elles étaient loin de se réaliser. Pourquoi suis-je allé sur cette fatale barque? Pourquoi ne suis-je pas retourné sur mes pas tout en arrivant chez vous? Pourquoi le malin m'a-t-il poussé dans la barque où vous étiez avec votre époux? — Je l'ai attrapé ce regard de dédain que vous m'avez lancé, il m'a glacé le sang. D'autres regards que vous promeniez loin du bateau, annonçaient plus d'intérêt... J'ai eu l'honneur de vous dire, Madame, qu'un rien est capable de m'indisposer et d'ôter

ma gaïeté pour le reste de la journée. Convenez que le triste rôle que j'ai dû jouer hier, n'était pas faite pour m'égayer. Et pourquoi ne pas me laisser partir après avoir vu que tous mes efforts pour me rendre restant soient peu supportables, restaient sans effet.

Je me perds dans le labyrinthe de mes conjectures à l'égard de l'important personnage d'hier au soir; Madame assure qu'elle ne peut pas le souffrir, que c'est bien l'être le plus vain et le plus insolent etc. etc. et cependant les procédés de Madame envers ce même personnage prouvent le contraire. J'ai voulu vous conjurer à me mettre sur la voie de me conduire envers un autre jeune homme et j'ai remarqué que vous avez cherché à éluder cet entretien, qu'à travers le peu de mots que vous avez daigné me dire perçait une espèce de crainte — très outrageante pour moi. Quoi, Madame, Vous, douce, d'un esprit supérieur, et d'un admirable aplomb dans vos démarches, vous craindriez un oiseau comme celui-là: il suffirait d'une attitude assurée pour lui en imposer. Et suis-je à votre sentiment un être aussi méprisable pour que l'on craigne de s'abaisser en me parlant?.. De grâce, Madame! dites-le moi, pour que je puisse agir en conséquence. Je ne le sens que trop et je le répète encore: j'aurais dû me confiner dans mon réduit et ne jamais me rapprocher de vous: il eût suffi de vous en avoir vue une seule fois pour m'éclairer sur les dangers que je courais. Mon pauvre cœur est incorrigible et les malheurs qu'il a déjà essayés n'avaient pas réussi à le mettre à même de se tenir sur ses gardes. Mais ces mêmes malheurs ont contribué à débrouiller un peu ma cervelle, de sorte qu'avec cet air bête que vous me connaissez, j'ai à présent un certain tact pour voir les choses comme elles sont. J'ai ri intérieurement, puis en entendant le maître Celiboron disserter sur l'amour platonique, j'ai parlé exprès d'amour sensuel pour lui faire comprendre l'inconvenance de la conversation où il s'embarque. Est-ce à lui d'en parler? L'aveugle ne pourra-t-il jamais juger de la peinture, et le sourd de la musique?

Pardon, Madame, si ce griffonage vous ennue. Le sort est jeté, il n'est plus à rétracter, arrive soit qui arrive: mais je ne suis pas morveux <HP36.>

Votre esclave, qui meurt  
<HP36.>

Ce 5 Mai, 1821

Je l'ai vu couler, ce sang si beau, si vermeil, j'ai vu se marier son doux vermillon à la blancheur éblouissante du plus joli pied du monde, de la jambe la mieux arrondie que j'aie eu le bonheur de voir de ma vie. Oui, Madame, j'étais ravi, extasié; et un moment après je vous en voulais mortellement. Peut-on ménager si peu une santé précieuse comme vous le faites? Et pourquoi? pour le vain plaisir de braver les dangers, ou plutôt, si j'ose le deviner, pour le plaisir de narguer tout le monde. J'ai poussé jusqu'à l'imprudence le tendre intérêt que je vous porte. Grondez-moi, Madame! j'ai perdu le tête, j'ai été bête, je ne comprenais plus ce que je disais. Et quel en fut le prix? Madame m'a refusé une manche qu'elle-même m'avait promis un instant d'avance. Ah!

si vous voulez me faire perdre le souvenir pénible de ce refus, consentez à me faire une grâce que je vous demande au nom de cet amour qui me consume: c'est de me remettre l'appareil ensanglanté qui a été mis sur votre pied après la saignée.

Je le porterai souvent sur mon cœur et peut-être parviendra-t-il à soulager les peines que ce pauvre cœur endure. Le sang frais et pur a toujours eu la vertu de neutraliser les effets dévorants d'un poison lent et infallible.

Je crus remarquer quelque chose de sinistre dans les regards de M. le Bel-vison: se pourrait-il? Non, loin de moi cette idée, elle me serre le coeur.

Une misérable petite conquête comme celle de mon pauvre individu, ne peut flatter personne: aussi je ne mérite pas qu'on me ménage: on peut me permettre d'attraper l'ombre du bonheur quand on n'a rien de mieux à faire. Mais je me rappelle bien que vous m'avez autorisé à vous suivre partout. Oui, Madame, je vous suivrai comme votre ombre, je vous suivrai partout, au risque d'être souffleté ou chassé par vous. Foi d'homme d'honneur, je le ferai (sauf de blesser les convenances) et je vous répéterai sans cesse

Tout à vous, de cœur et d'âme  
O. Somoff.

Ce 8 Mai, 1821.

Une journée entière sans vous voir, Madame! jugez de ma peine cruelle! Depuis quelque temps je suis si accoutumé, si heureux d'être près de vous, que tous les instants que je passe loin de vous me semblent perdues pour mon existence. Hélas! je me crée un bonheur basé sur ma perte! je m'enivre dans une coupe dont le fond contient ma mort.

Ce 9 Mai 1821.

Encore vingt-quatre heures mortelles! mon âme se déchire. Si vous m'avez vu pleurer, comme un enfant, pleurer à chaudes larmes dans mon lit, et manger mes ennuis en présence des personnes qui me connaissent, peut-être que vous n'auriez pas ri de mes tourments; peut-être que vous auriez même été attendrie en me voyant souffrir. Je ne peux ni rien penser, ni rien faire; la première idée, la première image qui se présente à mon esprit, c'est toujours vous. Je veux tracer quelques lignes, et c'est votre portrait que je vois sur le papier, je veux articuler quelque phrase, et c'est votre nom que je prononce involontairement: je me tais, je rêve et je ne rêve que vous.

J'ai fait, dans la nuit d'hier, un rêve qui semble pronostiquer ma future destinée. D'abord c'est toujours votre image qui m'avait apparu: elle planait au-dessus de ma tête, elle avait quelque chose d'incorporel, elle était entourée d'une clarté céleste. Ensuite j'ai vu qu'on me mariait à feu ma mère. Un froid mortel a coulé dans mes veines, je me suis éveillé en sursaut et j'essuyai la sueur mortelle qui inondait mon visage. J'ai cru lire dans le livre du destin: c'est vous. Madame, oui, c'est vous qui ne tarderez pas de me marier à la mort. Ne croyez pas que je vous en accuse, c'est mon sort, c'était écrit là-haut où

peut-être même avant que j aie commencé d'exister. C'est là qu'il était prescrit que je devrais être un jour entraîné par un charme irrésistible, entraîné sous les lois d'une femme incomparable, que dis-je? d'une divinité à qui je sacrifie tous les pulsations de mon cœur, tout le souffle de ma vie, et qui devrait me payer d'une indifférence, d'une froideur, qui opprime le cœur malheureux et qui abreuve mes jours d'une amertume de la mort.

Ma pauvre tête s'égaré, c'est un état d'exaltation, c'est une fièvre lente que j'éprouve. Je ne peux plus écrire, je peux pleurer.

Pardon, Madame, si j'ose Vous décèler une partie de ce trouble de mon âme, de ce dérangement de mes idées... Oh! qu'il m'est doux de pouvoir dire encore

Tout à vous, jusqu'à ma  
dernière respiration  
O. Somoff.

<Ce 11 Mai 1821>

... Madame m'a dit au souper d'avant hier, que je la compromettrai. En quoi, donc, Madame, je me rappelle bien de n'avoir dit tout ce temps-là, que des choses très indifférentes, et j'espère que je n'ai nullement vous trahi. Aucun mot, aucun geste ne m'ont échappé qui aient pu prêter à faire allusion à quelque chose.

Oh, ma cousine, ma chère Nanine! pardonne si j'ose ici faire une comparaison qui ne sera peut-être pas tout à l'avantage de tes charmes qui jadis naissaient sous la pression de ma main amoureuse. Je dois le confesser, quoique tu fusses plus belle et moi plus jeune: je n'ai jamais ressenti un plus grand bonheur auprès de toi. Je connais toutes les sinuosités, tous les contours de ton beau corps, je nageais dans le plaisir, sans oser jamais franchir les bornes que tu me prescrivais. Couchés l'un à côté de l'autre, nous passions des nuits entières; mille et mille fois je touchais déjà au faite du bonheur: mais un mot suppliant, une larme de tes yeux me désarmaient: tu craignais l'inceste.

Любовница, сестрица!  
Подруга, милый друг!

Pardonne, je le répète, si, dans ce moment-ci, quand j'ai douze ans de plus qu'alors, je n'ai pas pu tenir contre le charme qui séduisait, et si j'ai trouvé ce sein dans toute la plénitude d'une beauté faite, cette bouche vermeille, ces baisers de feu, préférable à tout ce que j'ai vu chez toi, à tout ce que j'ai reçu de toi. Jamais je n'ai été aussi amoureux, que dans cet embrassement subit,

Oh maraviglià! Amor, ch'appena é nato  
Già grande vola e già trionfa armato.

Et vous, pauvre Catiche! vos quinze ans et les faveurs dont vous m'avez comblé ne sont à présent que glissés sur la surface de mon souvenir. Cet esprit supérieur, les grâces d'une éducation soignée, ces talents séduisants, joints à

des yeux qui n'ont que très peu de pareils, à une humeur au-dessus de tout ce que l'on s'imagine, à une gorge dont l'élasticité semble repousser une main téméraire, une gorge qu'est un problème chez une femme mariée depuis 9 ans, tant pour la forme que pour la fermeté — enfin ce jeu d'une physionomie animée, — tout cela ferait oublier les félicités du séjour des dieux.

О, моя кузина, моя дорогая Нанина! прости, если я осмелюсь сейчас сделать сравнение, которое, возможно, не вполне польстит твоим прелестям, расцветавшим когда-то под моей влюбленной рукой. Я должен в этом признаться: хотя ты была прекраснее, а я моложе, но никогда я не ощущал большего счастья рядом с тобой. Я знал все изгибы, все очертания твоего прекрасного тела, я купался в наслаждении, не смея преступить границы, которые ты мне поставила. Лежа друг с другом рядом, мы проводили целые ночи; тысячи и тысячи раз я достигал уже вершины блаженства, но одно слово мольбы, слеза на твоих глазах меня обезоруживали; ты боялась инцеста.

Любовница, сестрица!  
Подруга, милый друг!

Еще раз прости, если теперь, когда я старше на двенадцать лет, я не смог устоять против очарования, соблаздившего меня, если я предпочел эту грудь во всей полноте созревшей красоты, этот алый рот, эти страстные поцелуи всему, что я когда-то видел в тебе, всему, что я получал от тебя. Никогда я не был так влюблен, как во время этих внезапных объятий.

Oh maraviglià! Amor, ch'appena é nato  
Già grande vola e già trionfa armato`.

А вы, бедная Катишь! ваши пятнадцать лет и милости, которыми вы меня осыпали, ныне оставили лишь едва заметный след в моей памяти. Выдающийся ум, прелести хорошего воспитания, обольстительные дарования в соединении с глазками, равным которым найдется очень немного, нравом, превосходящим всяческое воображение; грудью, чья эластичность должна была бы оттолкнуть всякую бестрепетную руку, — грудью, которая обычно составляет проблему для женщины, находящейся замужем более 9 лет, как в отношении формы, так и упругости — наконец, эта игра оживленного лица — все это заставило бы забыть блаженство рая.

Ce 19 Mai 1821.

Et c'est moi qui eu osé renouveler la même dispute! Que me sont donc les Grands de la terre, auxquels je n'envie rien, pas même le sort d'être vanté

---

\* О диво! Любовь только еще родилась, а уже большая: летит и торжествует (*ит.*).

dans tout l'univers. Pardon, Madame, je suis prêt à expier ma faute par toutes sortes de sacrifices que vous aurez la bonté de m'imposer. Combien de fois, après m'être séparé de Mr. Kouschinnikoff et me trouvant seul sur un frêle bateau me suis-je répété :

Вперед люби, да будь умнее,  
И знай, пустая голова,  
Что всякой логики сильнее  
Прелестной женщины слова.

Ces vers, je me les suis gravé dans la mémoire, comme le précepte de ma conduite à l'avenir. Tandis que je faisais ces réflexions, la brise s'élevait, les vagues venaient en écumant se briser aux bords de ma nacelle, un pauvre rameur maussade comme on nous représente Caron, travaillait de toute la force de ses bras nerveux. Faut-il vous dire la vérité, Madame? Il m'est arrivé mainte et mainte fois de désirer que le vent par son souffle violent ou bien les vagues par leurs chocs m'eussent arraché de mon embarcation et plongé dans fin fond de la Neva: tant j'étais mécontent de moi-même. Ce n'est pas que je ne fusse puni, en expiation de mon crime, ayant gagné un gros rhume et quelques petites attaques de rhumatisme par-ci par-là, mais je l'ai bien mérité.

Pour Dieu, Madame, ne revenons plus sur le chapitre des Grands de la terre: c'est une bien triste matière pour moi: je les estime quand ils sont bons, je les plaîne quand ils sont méchants. Voilà ma profession de foi sui leur compte.

J'ai une toute autre sur le Vôtre, Madame! Vous êtes ma divinité! Je n'ose plus vous dire que je vous aime d'amour, mais il m'est permis, il m'est doux de répéter que je vous adore, que je vous déifie: je tiens beaucoup à cela.

J'ai encore un aveu à vous faire. Madame: j'ai fait des tentatives pour pacifier mon pauvre cœur, pour apaiser le feu qui le dévore; mais, hélas! ne le fait pas qui veut. Encore une fois: je m'étourdie sur ma future destinée, je cours droit au précipice la tête la première, je n'ose plus vous le dire et je m'en ressens davantage.

Combien l'homme est faible et versatile dans ses projets: je vous ai promis d'être gai dans mes lettres et je suis tout au plus neutre: quand est-ce que je me corrigerai?

Souffrez, du moins, Madame, que je continue toujours de me nommer  
Tout à vous pour la vie  
Orest Somoff.

Ce 23 Mai 1821.

Vous l'avez prononcé, Madame! vous m'avez rendu le droit de vous conter mes peines, de vous parler de mon amour? Hélas, ce droit est le seul qui me soit réservé: je n'ai, pour toute réalité que mes tourments et la liberté de gémir. D'autres, plus heureux que moi, respirent la douce haleine de la rose; je n'en recueille que les épines. Oh! pourquoi ne puis-je répandre mon âme sur ce papier? pourquoi ne puis-je pas écrire avec le sang de mon cœur: ces ca-

ractères seraient brûlants, ils vous auraient embrasés des mêmes feux dont ce pauvre cœur est consumé!

Croiriez-vous, Madame, qu'il m'arrive souvent d'être plus heureux, seul et loin de vous, qu'en votre présence? Je vais vous expliquer cette énigme: votre image est toujours avec moi: tout mon être intellectuel en est rempli:

... Je t'aime en cent façons,  
 Pour toi seule je tiens ma plume:  
 Je te chante dans mes chansons,  
 Je te lis dans chaque volume.  
 Qu'une beauté m'offre ses traits,  
 Je te cherche sur son visage:  
 Dans les tableaux, dans les portraits,  
 Je veux démêler ton image.

Voilà la peinture la plus vraie de ce qui passe dans mon cœur, dans mon imagination, enfin dans tout mon individu. Que je suis fâché que ce ne soit pas moi-même qui ait fait ces vers! ils expriment si bien ce que j'éprouve et que je sens... Hé bien, Madame, ajoutez à cela le doux souvenir de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, et ces mots de bonté, ces mots de consolation qui flattaient de temps en temps mon oreille. «Вот милая попинька! Où est mon Oreste? Jouez, mon ange!» — Croyez-vous que je les oublierai? Ja sais bien comme je viens de le dire, que c'étaient seulement des mots de bonté, des mots de consolation, des expressions presque banales, mais je vous le répète, et je le répéterai toujours: mon cœur aime à se tromper, il est tout à ces illusions... Aussi la réalité est trop dure pour lui... je vois bien que j'ai cessé même d'être l'objet de votre indulgence: quelquefois je suis là, près de vous, et vous avez l'air de ne pas vous en apercevoir. Oh! c'est l'unique occasion où je fais des reproches amères à la nature, à la providence de ne m'avoir pas comblé de leurs dons.

Pourquoi en effet ne m'ont-elles pas donné une figure attrayante, une taille avantageuse, des talents agréables surtout celle de plaire, un esprit aigre et cultivé, enfin tout ce peut attirer et attacher. De tous leurs dons, elles ne m'ont laissé en partage qu'un cœur tendre et aimant et une âme élevée au-dessus de mon état, deux choses qui au lieu de faire le bonheur de celui qui les possède, ne contribuent qu'à le rendre encore plus malheureux. Ayez pitié de moi, Madame; rendez-moi du moins mon bonheur illusoire, ce bonheur qui m'a été accordé naguères: je vous jure, je fais le serment le plus solennel d'être aussi circonspect que vous l'exigez, de vous épargner la peine de me faire encore les mêmes reproches que votre jolie bouche m'avait prononcé autre jour.

---

tandis que je vous vois si affectueuse envers les autres, si ingénieuse à leur procurer des occasions de pouvoir vous dire leurs sentiments, si prompte à aller les chercher vous-même. Et je suis là, et je reste seul, absorbé dans mes tristes pensées... (Вписано на полях.)

Et en quoi suis-je fautif? J'a toujours été si respectueux, si soumis devant vous, Madame (en même temps que j'ai vu un jeune homme se permettre de vous faire les réprimandes un peu dures en présence de tout le monde: voilà à qui peut vous compromettre et prêter au scandale...)

Veillez bien, Madame, me pardonner ma franchise excessive: c'est dans l'intérêt de tout ce qui vous concerne, et par conséquent de tout ce qui m'est plus cher que ma vie, que je me suis permis de vous exprimer mon sentiment à ce sujet. Si vous saviez toute la force de mon amour, vous ne vous fâcheriez point de ma sincérité. Je tombe à vos pieds, je m'anéantis en disant toujours

Tout à vous pour la vie  
O. Somoff.

Ce 25 Mai, 1821.

Ce n'est donc que mon talent d'écrire que vous voyez dans mes lettres, Madame. L'éloge que vous en avez fait hier n'était qu'une satire contre mon cœur: aussi vous avez pu remarquer mon embarras et mes sottes réponses à vos aimables compliments: j'étais pétrifié, anéanti. Ah, Madame! si par pitié seulement vous m'eussiez dit: tu as un cœur, tu sais aimer, je le vois; ces expressions ne peuvent partir que d'un cœur aimant, elles ne sont point enveloppées dans une froide recherche des mots et dans le fade jargon d'un amant trouvé dans mille romans. C'aurait été plus flatteur pour moi que toutes les louanges pompeuses des toutes les académies du monde. Mais ici je vois que Madame a voulu seulement plaisanter sur mon amour et tourner en ridicule mon pauvre cœur: quelle récompense!.. Vous avez beau faire. Madame! je vous aimerai toujours: ni vos rigueurs, ni vos plaisanteries n'étoufferont jamais une passion qui va chaque jour croissant, qui fait mes peines, qui f'ait mes délices, et qui enfin n'expirera qu'avec le dernier souffle de ma vie.

Qu'il est pénible, le moment fatal où l'on voit tomber le bandeau rose qui couvrait nos yeux, laissant apercevoir, dans le lointain, un demi-bonheur et des demi-jouissances! Qu'il est pénible, dis-je, cet état où le cœur se voit dé trompé! Voici précisément l'état où je me trouve, Madame! Les espérances se sont toutes envolées: un vide affreux que rien ne remplit, règne à présent dans mon cœur... Autrefois il s'ouvrait à la douce amitié, depuis quelque temps il a osé palpiter pour l'amour...

Eh bien, Madame! l'amour l'ayant trompé et le désir même de l'amitié. Vous, Madame, vous ne le croyez pas, j'ai vu par tout ce que vous m'avez dit que vous n'en croyez rien; ou du moins, si vous condescendez à le croire, ce sentiment ne fait qu'effleurer votre cœur sans y laisser aucune trace, tandis qu'il se grave dans le mien à de traits de feu, à de traits ineffaçables.

Hier j'ai osé encore me disputer avec vous, et vous, ange de bonté, vous excusez cet excès de folie? Je vous prie, Madame, de me faire la grâce d'imposer à l'avenir silence à cette langue hardie qui devient alors comme antipode de mon cœur. Quelques fortes que puissent être mes raisons, il suffit que vous me disiez: *C'est mon opinion!* et vous verrez que je rentrerai aussitôt dans mon



caractère, dans celui d'un amant humble et soumis, comme je le suis toujours et comme je veux toujours l'être pour

Tout à vous pour la vie O. Somoff.

Ce 26 Mai 1821.

Oui, Madame! Vous le voulez; vous voulez mortifier, atterrer un cœur qui vous aime tant! Hier encore j'en ai eu une preuve indubitable: vous avez fait appeler un de ces Messieurs, vous lui avez parlé, vous avez eu l'air de vous intéresser beaucoup à sa conversation... il sort, je m'approche de vous, j'ose vous adresser la parole et vous prétendez que vous voulez vous exercer. Il est beau, le compliment que vous m'avez dit: «que vous ne voulez pas avoir deux plaisirs à la fois: me voir et lire mes lettres». Je l'ai traduit mot par mot en langage du cœur, en langage de vérité: voilà ce qu'il signifie: «aurais-je le temps de penser à toi et à tes lettres». La mine qui accompagnait le compliment l'exprimait ainsi. — Vous me méprisez, Madame; vous craignez de faire voir aux autres que vous avez même la patience de m'écouter; je ne l'ai que trop compris; vous cherchez toujours des moyens pour éviter un moment d'entretien que je m'empresse de saisir: c'est clair, vous m'avez dit vous-même, ce que je dois faire...

Eh bien, Madame! quelque pénible que soit pour moi le sacrifice, je le consommerais: j'ôterai de vos yeux l'objet de vos dégoûts et de vos mépris, je vous épargnerai la peine de me voir.

Les égards que je vous dois, Mme, à vous et à Mr votre époux m'obligeront de paraître de temps en temps chez vous jusqu'à une certaine époque afin d'éviter une interprétation; mais ces visites seront courtes et ne vous compromettront point, comme vous avez eu la bonté de me le signifier.

La fierté naturelle à des gens qui n'ont pas le front d'airain, me le commande; je ne peux pas supporter qu'on me méprise, je ne veux pas non plus être à charge à personne.

Je me rappelle bien ce que vous avez dit une fois des gens pauvres qui ont du caractère, au sujet d'une de nos connaissances: «Il est fier, parce qu'il est pauvre». Eh bien, Madame, je suis plus pauvre encore, et je suis fier, bien que la pauvreté ne soit pas un mérite à étaler, comme ce n'est non plus une honte à cacher!

Une de mes lettres précédentes vous aura instruite de la justice que je sais me rendre à moi-même, de la vraie opinion que j'ai de mon individu. Il reste encore un grand défaut que je n'ai point nommé, mais que j'ai fait voir dans plusieurs occasions: c'est l'excès de franchise.

Que vous ai-je fait, Madame? je vous aimais!...

Si vous m'eussiez vu hier dans l'état angoissé où je me trouvais, mon visage enflammé, mes yeux égarés, si vous eussiez pu sentir les palpitations intermittentes de mon cœur... etc. Non! je n'ai pas voulu vous offrir ce spectacle (qui vous aurait peut-être attristé: je me suis enfui à toute force). Arrivé près de corps-de-garde, en face de la petite église, je me suis trouvé mal; un bon soldat, qui était en faction, eut pitié de mon état, il a sonné des camarades, qui

m'ont introduit ou plutôt porté dans l'intérieur et m'ont prodigué tous les secours qu'ils pouvaient imaginer; grâce aux soins de ces excellents militaires, je me suis un peu remis au bout de quelques moments et je suis parti. Etant rentré chez moi, j'ai eu un accès de fièvre; le sommeil fuyait de mes yeux; mon coeur était serré et ma poitrine oppressée comme si un poids énorme m'écrasait et me cessait la respiration. Vers dix heures du matin, deux ruisseaux de larmes, de ces larmes brûlantes de désespoir, m'ont un peu soulagé; mais je n'ai pas pu fermer la paupière.

Quand je me souviens que voilà un mois, que j'ai été traité bien autrement! Oh! ç'était le jour de mon bonheur, trop <нрзб.>, il est seul dont le souvenir me soit doux, dont l'agréable image effleure encore mes lèvres d'un sourire des bienheureux, il m'ouvrait les cieux pour me replonger dans l'abyme du néant. Je me dit alors: Oh, de qui dépendait mon bonheur? et qui s'est joué du crédule? Confiant, je me livrai entièrement... <незак.>

Simple et confiant, je me sens si faste; malheureux par ma condition, détrompé du bonheur et des plaisirs de la vie, presque mort dans l'âme... Oh! Si j'étais mort en effet, ce serait pour moi une félicité...

Jouissez, Madame, du bonheur qui doit toujours être votre partage. Oubliez un malheureux qui n'est pas digne de votre souvenir, arrachez son nom partout où il se trouve, ainsi que tout ce qui peut le rappeler à votre mémoire. Adieu, Madame!

J'ai l'honneur d'être avec une estime sans bornes (je veux cacher au fond de mon âme l'expression des sentiments plus tendres).

Madame!

Votre très humble, très dévoué serviteur  
Oreste Somoff.

Ce 27 mai, à 1 heure après minuit.

Que l'opinion de l'objet adoré a de puissance sur nous! Elle nous élève l'âme, nous communique une dignité ou nous abaisse et nous atterrie. Peu de jours avant, lorsque j'étais honoré d'un gracieux accueil, lorsque j'avais la permission de vous suivre sans m'attirer votre indignation j'étais aux cieux, je me supposais même plus de mérite que je n'en aie, je prenais un maintien plus sûr et si j'ose le dire, plus noble, afin de pouvoir vous contempler avec plus de dignité... Aujourd'hui méprisé, proscrit, je m'humilie à mes propres yeux, je n'ose presque <оторван край листа> mes regards sur votre personne. Dans ce même instant rentré sous mon humble toit, j'hésitais si je devais allumer la

---

\* Вписано на полях. Далее текст в рукописи зачеркнут: «S'il est des péchés mortels, celui buter un homme simple et crédule doit être du nombre; surtout quand cet homme est malheureux par sa condition, désabusé du bonheur et des plaisirs de la vie: presque mort dans l'âme. Autant vaut-il alonger un poignard dans son sein, il mourrait par la suite de ce coup, et la mort serait presque une félicité».

lumière; <оторв.> craignais de remarquer quelque chose d'odieux <оторв.> et dans mes propres traits j'avais peur de moi-même.

Ce 28 Mai, à 11 heures du matin.

Le sort en est jeté; cette lettre doit parvenir à sa destination; c'est mon droit de mort... Quel supplice! mon âme est déchirée, mon cœur en proie aux mille tourments qui le torturent, ma tête s'égaré!... Soutiens-moi, juste Ciel! prête-moi assez de forces pour pouvoir remettre cette lettre fatale.

à midi.

Ah! un mot de salut, Madame! et vous m'arrêtez sur le bout du précipice.

Ce 31 mai 1821.

Je sais que je ne devais plus vous écrire, Madame! peut-être suis-je fautif envers vous: mais vous, Madame, vous qui êtes une divinité par la figure, par l'esprit, par le cœur, vous devrez aussi avoir une bonté divine, vous devrez pardonner à un homme dont la tête s'égaré, dont la raison se trouble, dont le cœur est malade, et malade sans espoir de guérison. Je vous ai conjuré, comme un signe de grâce, comme un signe de vie de m'écrire petit billet de votre main pour lundi; un billet qui m'aît dit que je ne suis pas encore tout à fait perdu dans votre opinion, que je ne suis pas méprisé, proscrit. — La journée passe, le billet n'arrive point, et je suis dans des transes mortelles qui ne s'apaisent pas même jusqu'en ce moment-ci.

Eh bien, Madame, tout vient à l'appui de mes soupçons; par excès d'humanité, seulement, vous n'avez pas voulu me le confirmer en face, pour ne pas réduire au désespoir un homme dont les sentiments ne vous sont que trop connus. Vous dirai-je, Madame? c'est exprès que dans ma dernière visite, resté seul auprès de vous, j'ai hasardé ce mot de caresse: c'était une pierre de touche, une espèce de sonde: vous n'avez pas manqué à me demander d'un air grave et d'un ton de voix sévère: *Quelle caresse*. C'est alors que j'ai balbutié pour vous répondre. Soyez sincère une seule fois avec moi, Madame! Dites que je vous déplaît, que je vous ennuie: un aveu de cette nature sera dorénavant la boussole de ma conduite.

C'est une chose inexplicable que le cœur: torture que j'acquiers, la triste certitude de n'être plus agréé, il ne bat que pour vous: mon imagination est rempli de votre image, je me promène, je vois une dame de votre taille, et c'est vous que je crois reconnaître en elle: j'écris sur ma table, je détourne la tête, et c'est vous encore que je vois à côté de moi. C'est une fièvre blanche; je bats la campagne, Madame: n'en soyez point fâchée, plaignez-moi. Hélas! que j'en vie... je n'ose pas achever: mon père là-haut s'en fâcherait... je me prosterne devant lui.

Malheureux! et j'ose aussi me traîner à vos pieds

Madame!

Votre très-humble et très dévoué serviteur O. Somoff.

## ДНЕВНИК О. СОМОВА

J'aurais payé de mon existence si j'avais pu être heureux avec elle une seule fois dans ma vie: oui, je le jure même à présent, quand je veux l'oublier, que si on me disait: tu seras comblé de ses faveurs, mais tu seras mort une heure après par le plus cruel des supplices,— je n'aurais point hésité. Elle a beau prêcher contre l'amour sensuel et pour l'amour platonique: elle n'est point faite pour ce dernier. Ces regards provoquants, cette haleine qui respire le plaisir, ces attitudes, ces gestes involontaires si voluptueux, si propres à inspirer et à exciter un amant passionné, ces demi-mots qui entre'ouvrent le paradis; tout cela n'est pas en harmonie avec cette chaleur douce et monotone qu'exige un amour platonique.

Depuis ce temps-là elle a changé totalement sa conduite à mon égard. Elle me boudait, elle me reprochait même le désir d'être heureux pendant ce fatal tête-à-tête. J'ai vu alors son triomphe et ma défaite; j'at vu que je perdais dans son opinion et qu'elle voulait se prévaloir de l'ombre de faveur qu'elle m'avait une fois accordée. Enfin, donnant la préférence à mes yeux tantôt à celui-là, tantôt à cet autre, elle avait cru me blesser, m'outrager par ses démarches. Parlant sans cesse à l'écart aux autres, elle n'a pas voulu me laisser dire deux mots de suite; si je me trouvais seul avec elle, elle affectait une hauteur et une espèce de mépris, dont elle voulait sans doute m'accabler. Elle s'y trompe: je suis le premier à reconnaître mon peu de mérite; et surtout j'étudiais bien mon extérieur simple et bénin, que je n'ai jamais pris la peine de composer. Et dernièrement, sachant que je suis venu, elle envoyait sa fille de chambre, tantôt pour prendre un livre, tantôt pour lui apporter un coussin ce qui voulait dire d'une manière très visible: je sais que tu est là, mais je veux te mortifier, te outrager... Et pourquoi? pour un vain caprice... Oh! cela n'a pas de nom... Mes résolutions sont prises: adieu, Madame! j'ai vingt huit ans et je suis déjà las d'être le jouet de vos fantaisies; il est temps de se reposer un peu.

Ce 31 Mai 1821, à 3 heures après midi.

Elle ne veut plus me voir! Oui, c'est une preuve qu'elle me méprise; mais pourquoi y mêler encore ce persiflage amer qu'elle me fait essayer. Elle m'envoie dire par sa femme de chambre que c'est une honte de m'en aller, et si j'ai un billet pour elle, que je la remette par cette fille. C'est donc de mes lettres qu'on a besoin, et non pas de celui qui les a écrites; on en fera une lecture agréable à quelqu'un plus heureux que moi! Néanmoins je me suis soumis à cette nouvelle humiliation, j'ai remis le billet et le dicton que j'ai préparé pour elle, et n'ai rien dit à la fille et je suis parti. Mon cœur était navré, ma tête prête à se fendre; je n'ai jamais éprouvé un si grand tintement dans les tempes; j'étais prêt à tomber en défaillance. J'ai marché toujours: j'ai oublié qu'il existe des bateaux sur la Neva, de sorte qu'au sortir de ma rêverie je me suis trouvé au pont de la Trinité. Je me suis glissé le long du jardin sans me laisser apercevoir, malheureusement Pletneff et sa femme m'ont reconnu: j'ai

dû faire un tour avec eux. En passant près d'un banc j'ai remarqué son père, et quelqu'indisposé que j'eus été à rencontrer tout ce qui la rappelle, j'ai pourtant salué bien respectueusement ce bon viellard.

Arrivé chez moi, par mouvement involontaire dont je ne peux pas me rendre compte à moi-même, j'ai cherché mes pistolets, que je n'ai pas pris depuis l'affaire de S... Je n'ai pas voulu certainement me brûler la cervelle: mais pourquoi ces pistolets, cette poudre et balles? Encore un moment, avec mon caractère propre à s'enflammer, et peut-être s'en était fait. Le bon viellard Schubnikoff m'apporta les mouchoirs que la blanchisseuse lui a laissé en mon absence; il a vu les pistolets, il a vu mon air sombre et il a paru frémir. Je l'ai rassuré; je lui ai dit que comme nous étions sur le point d'aller à la campagne, j'en aurais peut-être besoin pour être en sûreté dans mes promenades solitaires au fond des bois: il en a paru satisfait. Je me suis remis au bout d'une demi-heure.

A 5 heures.

Au dîner le Prince m'a demandé, comme c'était mardi, pourquoi je ne dînais pas chez mes connaissances. Madame Gol... m'a jeté un regard scrutateur, j'étais interdit et mal à mon aise: j'ai balbutié quelque chose au Prince et ce quelque chose n'avait pas le sens commun.

Pauvre Archippe! mourir à 26 ans! un si bon sujet, un excellent sujet, comme il nous a servi tous, en route, à Paris: il m'était très attaché. Le prince a beaucoup pleuré: moi-même j'ai versé des larmes à la mémoire d'un ami plutôt que d'un serviteur zélé; car l'intérêt qu'il me témoignait était plus tendre, plus cordial que celui d'un domestique. Le prince n'a pas pu dormir de toute la nuit; il a fait des gratifications au garde-malade du pauvre Archippe. Comme il était assidu à apprendre le vocabulaire allemand et français pendant le voyage, ce pauvre garçon! comme il se répandait en civilités à sa manière devant la petite génévoise de Paris. Et mourir à 26 ans, dans toute la force de la santé! Mais je te porte envie, bon Archippe, on ne te tracassera plus. Repose-toi en paix!

Ce 1 Juin, 1821 à 6 heures du matin.

Hier à 7 heures je suis allé à Société des Zélateurs. J'arrive et je ne trouve personne, pas une âme humaine; la porte est encore fermée. J'entre chez Menschenine, il est sorti avant midi. Je vais frapper à la porte de Boulgarine, de Jakowleff, de Senkowsky — personne à la maison. Yakowleff, m'a-t-on dit, dîne chez elle; peut-être lui parlera-t-elle de ma prétendu impolitesse: elle taxe ainsi ses connaissances lorsqu'elle leur fait des injustices. Cependant, que devenir? M'en retourner sur mes pas, le trajet est assez long et puis à 8 heures demi il faut encore revenir. Allons rôder sans but et sans raison. Me voilà devant le Grand Théâtre. On donne les Deux Figaros. Entrons-y en attendant. J'occupe la place du Prince; j'applaudis à tous les propos lancés contre les femmes, je me fais quelquefois allusion à ma propre situation. Oh! que

j'étais fâché! que j'en voulais à tout le sexe. Ça m'a plongé dans une longue rêverie: j'ai passé en revue les avances de ma charmante cousine, l'inconstante Nanine: puis la volage Annette L...vitz, puis Antoinette T...rgersky: je ne me suis reposé que sur le souvenir de la douce Joséphine: celle-là ne voulait pas me tromper, elle ne me donnait point d'espérances, mais elle m'aimait d'amitié. Bonne, aimable Joséphine, tu pleurais en quittant W...ting, tu me disais: si vous passez un jour en France, venez me voir. Et j'ai été en Yasselonne à six lieues de Saint-Diez sans pouvoir venir te voir. Reçois un soupir, bonne D...

Je rêvais, je me transportais tantôt dans la terre de mon oncle, tantôt à Charkoff, chez aimable Catiche Str..., tantôt à W...no, tantôt en Pologne, et les heures s'éculaient. Me voilà reveillé de mes pensées par une voix qui me souhaite le bonjour, je me retourne, je vois Mr. Fleury: je lui demande l'heure qu'il est. — Il est neuf heures passées, dit-il. Je me lève et je m'enfuis pour arriver à temps à la société. Glinka, Boulgarine, Baratynski, Delvig etc. me font force amitiés. Je me contrais à rire avec eux et je ne joue pas mal mon rôle. J'ai proposé le Colonel Noroff pour être admis comme membre de la société: lundi en huit il sera reçu, je l'en prévienrai jeudi.

A minuit j'ai passé de nouveau chez Jakowleff, j'y ai trouvé Baktine. Nous avons passé en revue les personnes du haut partage, les gens en places et nous avons ri de très bon cœur. Le cernement de ces deux jeunes gens m'est infiniment agréable, surtout quand nous faisons le trio. De l'esprit sans prétentions, des observations vraies, un tact juste — voilà leur caractéristique; c'est à la fois amusant et instructif.

Elle n'a pourtant rien dit à Jakowleff sur mon compte. Elle le boude.

Je suis rentré à dix heures et je me suis couché, je n'ai pu rien lire selon mon habitude: je n'ai pas eu le cœur à la lecture.

Aujourd'hui je me suis réveillé à six heures. Ma tête est pesante et mon cœur vide.

Je réfléchissais sur ce que j'ai à entreprendre. Ne plus y revenir serait le plus salutaire à mon repos: mais ça aurait blessé les convenances; ça aurait donné des soupçons au mari de la dame. Pourquoi la compromettrais-je? Le plus convenable est d'engager le Prince à déménager le plutôt possible à la campagne — ceci m'aurait servi d'excuse et m'aurait épargné la mortification de m'exposer encore aux caprices de Madame.

Mr Schydlofsky doit arriver dans quelques jours. La Princesse Barbe m'a dit bien des choses de sa part. C'est sur le sein de cet ami que je me reposerai de la tourmente que j'ai essuyée en son absence. En vérité s'il était ici dans ce temps-là, j'aurais toujours été avec lui et son aimable épouse, je n'aurais pas alors écouté Yakowleff qui voulait absolument me faire faire connaissance avec la maison de Mme P...reff. Il me persuadait qu'on désirait m'avoir dans cette maison: je me proposais le plaisir de connaître une femme accomplie, qui possède une infinité de connaissances et de talents, qui est aimable, folâtre, etc. etc. Son époux vient deux fois aux soirées d'Ismaïloff, nous faisons connaissance ensemble, il m'invite à venir chez lui et je lui ai dit que j'y viendrais, bien sûr de ne jamais faire usage de ses avances. Je viens un soir

chez Jakowleff, j'y trouve un jeune Portugais et M. Baktine; nous causons ensemble et voilà une voix de femme qui se fait entendre dans l'antichambre. J'avais déjà sur la bouche le compliment à faire à Yakowleff, lorsqu'il dit: C'est S... D... Je vois entrer une jeune dame, je reconnais M-r P...reff dans celui qui la suivait; je crois encore voir un visage que j'ai vu quelque part et que je me remets dans la mémoire pour celui de M. T...hoff que j'ai vu autrefois à Charkoff.

Cette première entrevue ne fit pas une grande impression sur moi: j'ai vu en elle une dame très-aimable, d'un babil charmant: j'ai tâché, autant que je l'ai pu, d'être gai et poli auprès d'elle; il me paraissait d'abord que je ne courais aucun danger, ce qui m'a rendu peut-être un peu trop franc et jaseur cette soirée. Je n'aime pas la contrainte, mais cette fois-ci je me suis mis à une table de wiste que je déteste, ce qui m'est aussi arrivé mainte et mainte fois par la suite. Je parlais moi-même, j'ai remarqué que c'était trop, mais j'allais toujours mon train pour faire voir que je n'aime pas à me contraindre ni à envelopper mon peu de mérite dans un dehors de la fausse réserve: je ne sais si j'ai plu ou deplu par là. Le hasard m'a procuré l'honneur de jouer deux roberts de suite avec la Dame; Mr. Baktine, frère aîné de Nicolas, a voulu faire briller son talent de bel-esprit, en disant que nous étions inséparables; la politesse exigeait que je dise un mot de compliment; aussi je n'ai pas manqué de dire que ce serait un bonheur pour moi. La Dame a bientôt interrompu la partie; elle m'a paru un peu piquée. Un moment après je l'ai entendu dire à Mr. Jean Baktine: qu'est-ce que ce compliment? J'ai cru entendre qu'il s'agissait du mien, mais j'ai eu bien l'air de n'y faire aucune attention, je n'ai pas changé d'humeur tout le reste de la soirée. En passant la Dame m'a dit force compliments, qu'elle serait, par exemple, enchantée de me voir chez elle, etc. etc. J'y ai répondu tant bien que mal et nous nous séparâmes.

La première fois que j'ai été chez elle, j'étais enchanté; elle a été d'une gaieté charmante: beaucoup d'esprit, une saillie naturelle, quelquefois du sentiment. Je ne l'ai jamais vu depuis de cette humeur-ci. Je peux me vanter d'avoir été d'abord traité avec plus d'égard que Panaïeff et quelques autres de mes connaissances: avec eux elle ne s'y prenait que par des enfantillages; la comparaison que j'ai fait depuis a dû flatter ma petite gloriole. Cependant j'ai toujours tenu ferme; j'ai été d'une politesse et d'une réserve désespérante; et même par la suite faisant pour elle des poésies bien tendres, j'ai toujours été circonspect et même froid dans ma conduite personnelle; de sorte qu'ayant une fois pris congé d'elle lorsqu'elle me demandait quand je reviendrais et que je lui ai répondu que mon unique bonheur est de la voir aussi souvent que possible, elle m'a dit qu'on ne me prendrait jamais, et que je suis ardent dans les paroles et froid dans le cœur. C'était déjà un avis au lecteur: quelqu'un plus prudent et plus défiant que moi aurait compris qu'on ne tarderait pas à se venger de cette prétendue froideur; moi je n'ai pas voulu être sur mes gardes et j'ai donné dans le panneau.

C'est pour se venger sans doute de mon indifférence qu'elle m'a retenu au chevet de son lit le 24 avril. Elle a su renvoyer tout le monde, mais elle a

pris la précaution de laisser la porte de sa chambre à coucher ouverte. Elle me parlait de la confiance qu'elle avait en moi, de la préférence qu'elle me faisait à tous les autres: le tout était accompagné d'un regard si tendre, d'un air si caressant, que j'a oublié mes belles résolutions d'être impassible. Son épaule se découvre, puis son sein se dévoile devant mes yeux. Je n'y tiens plus: je le couvre, je le mange de mes baisers, ce beau sein qui semble ne se soulever que pour l'amour et le plaisir, ma main indiscreète s'égare en caressant cette gorge d'albâtre: je tremblais, j'étais au supplice d'un homme torturé: dès ce moment-ci je me suis voué à elle, et, sot! je lui en ai fait le serment. Elle me disait que je voulais la perdre, et dieu sait où j'en serais, si Jakowleff n'était survenu sous le prétexte de lui porter des excuses. Dans ce moment même ma bouche était collée sur la sienne, elle même me donnait des baisers qui embrasaient tout mon être, ses yeux étaient presque éteints; encore une minute... et je m'abreuvais peut-être dans la coupe de félicités... Mais non! ce n'étaient que des grimaces: elle a vu qu'il n'y a que ce seul moyen de m'attacher à son char de triomphe et elle a voulu sauter par-dessus quelques considérations pour atteindre son but... L'impitoyable Jakowleff m'entraîne de sa chambre; confus et hors de moi, je le laisse faire, j'entre dans le cabinet de Mr. P... reff, et j'ai été bien longtemps avant de me remettre: je tremblais de tous mes membres, je tréssaillais du plaisir en me souvenant de cette scène qui me fait encore la plus douce souvenance et un tréssailement universel, comme si une étincelle d'électricité eut passé par tout mon individu.

Ce 2 Juin 1821, à 11 du matin.

On enterre le pauvre Archippe dans ce moment-ci; je l'ai vu en passant; ce visage pâle, défiguré, et le repos de la mort qui veille au chevet de son cercueil. Вечная память, добрый, любезный Архип!

Mr. A. Toumansky m'envoie dire que mon cher Basile va bientôt revenir de son voyage, qu'il est déjà en route, quelles nouvelles m'apportera-t-il de Paris?

Fleury m'a dit dernièrement qu'il a aussi reçu une lettre de Mr. Rousseau. Comme j'en ai reçu une de Madame par le jeune Bourgeois, et que ces lettres ne contiennent rien d'intéressant, si ce n'est des nouvelles de famille, je n'ai pas voulu demander à Mr. Fleury la lecture de celle qu'il vient de recevoir. NB.

Il faut aussi passer à la maison de la Princesse Golitzin pour m'informer si l'on a reçu des nouvelles du Prince Alexis, et s'il n'y a point un petit bout de billet pour moi. Je crains beaucoup des suites du duel qu'il projetait avec le comte Meller. Voilà mes connaissances chez la Princesse Pauline dispersés

---

\* NB. Il faut pourtant me souvenir que je dois écrire une réponse à la lettre de Madame Rousseau et la remettre à Monsieur Leclerc ou à Mr Labinsky pour la lui faire passer.



sur la surface du globe! Mar<ieu> est à Langbach, celui-là va se battre, les autres sont allés faire la campagne contre Dieu sait qui!

Ce 1 heure et demi.

J'ai lu ce matin *La Gerusalemme di Tasso*. Je ne sais trop pourquoi, lorsque je trouve quelque chose de beau, d'agréable, d'enchanteur, je cherche toujours une comparaison ou une allusion à faire à elle. Toujours elle! Elle absorbe toutes mes idées et cependant je suis résolu de l'oublier ou du moins de ne penser plus à elle. Le portrait d'Armide arrivée au camp de Godefroi, me parut être le sien: j'y cherchai le sourire, le regard de mon enchanteresse; mais voilà surtout un passage qui m'arrêta:

E in tal modo comparte i detti suoi,  
E il guardo lusinghiero e in dolce riso,  
Ch'alcun non è che non invidii altrui,  
Nè il timor dalla speme è in lor diviso.  
La folle turba degli amanti, a cui  
Stimolo è l'arte d'un fallace viso,  
Senza fren corre, e non li tien vergogna, —  
etc.

Hier, en revenant de chez Mr. Ostolopoff, j'ai passé exprès dans la rue de Sellerie pour me donner le plaisir de battre encore de mes pieds le même pavé par lequel j'allais et revenais chez elle. Il me semblait que je venais de sa maison au beau milieu du mois d'avril, lorsque j'ai eu encore la tête remplie des rêves d'un bonheur imaginaire, je ne sais quel contentement se répandit subitement dans mon âme à cette seule idée; mais bientôt je suis descendu des nues et j'ai soupiré en pensant à la triste réalité qui m'est restée en partage.

Ce 3 Juin 1821 à 7 heures du matin.

Hier à 7 heures je suis allé à la séance de la société au Château S. Michel. J'y ai trouvé Gretsck. Nous avons parlé (lui et moi, s'entend) des affaires actuelles de la France et de notre patrie. Il m'a raconté plusieurs faits qui se trouvaient dans les journaux libéraux. Entr'autres le vote d'un ultra pour élever les enfants des Protestants dans la religion Romaine. Ont-ils le sens commun, ces gens-là? prennent-ils les français pour des votéistes?

Dans la séance on a élu Bulgarine que j'ai proposé, à l'unanimité; cela a fourni à Gretsck une observation sur les effets de la civilisation et des lumières du siècle; vu qu'un ennemi littéraire propose son ennemi; que ces mêmes ennemis se chérissent comme des amis véritables, etc.

Izmailoff m'a demandé des nouvelles de Mme. Je n'ai pas pu lui répondre ne l'ayant pas vue depuis six jours. Gretsck m'a autorisé d'écrire à Mr. Katschénowsky pour lui annoncer l'article méchant et d'une bassesse extrême que Woïeikoff va lancer contre lui dans le Fils de la Patrie. Gretsck m'a prié même de le lui écrire; il a beaucoup bataillé avec Woïeikoff au sujet

de cet article, mais comme il n'a pas le droit de s'opposer à l'insertion de cet article, il laisse faire son cher camarade jusqu'au 1 Janvier 1822, où ils doivent se désunir.

Bulgarine va bientôt lire une diatribe sanglante contre Woïeikoff sous le titre «*Le Cachet de l'abjection*» (Печать отвержения).

Nous sommes partis avec Gretsch vers 9 heures pour aller chez Bulgari-ne. Chemin faisant nous avons parlé de Madame. J'ai parlé avec beaucoup de feu de ses grâces, de son esprit et de ses talents. Gretsch m'a dit que c'est bien dommage qu'elle ne l'entende pas.

Nous n'avons pas trouvé Bulgarine chez lui; j'ai passé ensuite chez Jakowleff et chez Baktine, également sans les avoir trouvés l'un et l'autre.

A dix heures et demi je suis rentré. J'ai voulu me mettre à écrire et voilà qu'on frappe à ma porte. J'ouvre et je vois entrer Yakowleff; je lui demande des nouvelles de Madame, mais il ne l'a pas vue non plus depuis mardi. Nous nous sommes convenus d'y aller demain (c'est à dire aujourd'hui). Voyons ce qu'elle me dira. Je ne sais pas, mais depuis mardi ce n'est plus pour moi un plaisir d'y aller, c'est une peine. Il me semble que j'y porterai une bien triste mine, mais je tâcherai de me contraindre et de paraître gai, indifférent, autant qu'il me sera possible.

On vient me dire que le Prince m'invite à venir prendre le thé chez lui. Puis cessons notre journal pour le reprendre demain ou ce soir.

Ce 4 Juin 1821 à 7 heures du matin.

J'ai été chez elle. J'y ai passé toute la journée d'hier. Yakowleff n'étant point venu, je n'y ai trouvé que Panaïeff et cet éternel Lopès qui est pourtant un très brave garçon: mainte et mainte fois il m'a invité chez lui et comme je veux à présent changer de conduite à l'égard d'elle, je veux bien aller chez lui un dimanche.

Quel salut froid de sa part! Elle avait un peu l'air fâché en me demandant l'état de ma santé: je lui ai répondu que je me portais *parfaitement*. Un moment après Lopès prenait congé d'elle, prétextant d'aller à la chasse ou quelque chose de semblable. Elle a couru après lui, comme pour arrêter son chien qui voulait le suivre. J'ai vu ce manège, et je suis resté dans les appartements. Après un quart d'heure je suis sorti pour prendre un peu d'air et je l'ai aperçue au bout de la fabrique à cordages. Comme il était impossible qu'elle ou Lopès ne m'eurent remarqué, je pris le parti de les aller rejoindre. Il s'est en allé et j'ai reconduit Mme dans les appartements. Voilà un court entretien qui s'engage entre nous deux où elle me fait des reproches de ne l'avoir pas attendue mardi et d'être parti sans la voir: elle a répété, comme de raison, sa querelle accoutumée sur les prétentions que j'ai etc. etc. Son époux et Panaïeff vinrent nous rejoindre et les pourparlers ont cessé. J'ai voulu partir tout de suite mais elle me forçait à rester. La curiosité m'a piqué et j'ai renvoyé mon cocher. Après le déjeuner elle s'est mise à piano, j'ai la priée de chanter Ragazze <русб.>, ce qu'elle fait d'assez bonne grâce. Panaïeff lui a rappelé ma roman-

ce «Ты мне пылать» etc: elle l'a chanté de même. Cela m'a déplu et je voudrais ne l'avoir jamais faite cette maudite romance, car c'est une pierre de touche de mes sentiments. Aussi je suis allé vite chercher ma canne et mon chapeau et je sortis pour aller faire un tour de promenade jusqu'à la campagne de comtesse Besborodko.

En revenant je rencontre M-me avec Panaïef qui sont aussi sorti pour la promenade. La politesse exigeait que je les suivisse, ce que je n'ai pas manqué de faire. La promenade s'est passé assez gaiement, dans la conversation on en est venu à Mr. Yakowleff: je lui dit qu'elle le maltraitait et c'était lui donner un champs libre pour faire une sortie contre les prétentions etc. etc. Il veut, dit-elle, qu'on s'occupe de lui exclusivement, il croit qu'on le méprise... (NB. Ce n'est pas lui, c'est moi qui l'ai dit dans mes lettres, aussi que j'ai très bien compris à qui cela s'adressait indirectement). En rentrant je l'ai fait beaucoup rire au dîner, de sorte qu'elle a eu une attaque des nerfs par la suite. Qu'il est dommage, qu'un si beau corps soit sujet aux affections vaporeuses! Elle, qui devrait être la santé même, elle qui devrait compter tous les instants de sa vie par autant de jouissances, a les nerfs trop faibles: tous les plaisirs un peu excessifs, toutes les peines un peu sensibles la dérangent et lui coûtent plusieurs heures de souffrances.

Dans tout le cours de cette visite, cependant, j'ai remarqué chez elle une tendance de me peiner. Elle riait quelquefois d'un rire offensant, elle faisait ressortir l'esprit de Panaïeff aux dépens du mien, etc. etc. Une fois Panaïeff a dit à peu près une bêtise, une inconséquence sur mon compte; et *bien* involontairement, elle en a rit jusqu'aux pâmoisons. Elle a cru que j'en serais piqué, et elle s'y est trompée: je compris son intention et je ris avec elle. Il faut bien autre chose pour me décontenancer. Elle ne connaît pas mon caractère, elle ne sait pas que je supporte tout de la part d'une femme, surtout d'une femme aimable, mais je ne supporte point des propos d'un homme et que je sais parer les paroles en décochant traits pour traits, ainsi comme j'ai su dans plus d'une occasion, montrer de la fermeté et me battre avec des armes bien plus graves.

Je suis parti vers 11 heures et demi et à dire la vérité, pas trop content de ma journée.

Dimanche, ce 5 juin 1821.

La soirée d'hier que j'ai passé chez Izmaïloff, n'a pas été trop bien remplie, je ne sais trop pourquoi. Il y a eu une quinzaine de personnes presque toutes mes connaissances. Madame Izmaïloff a un peu diminué de sa sécheresse et de son ton froid qu'elle affecta depuis quelque temps à mon égard, parce que j'ai fait une fois l'éloge de la charmante Mme P... ff en sa présence. C'était encore dans le commencement de ma connaissance avec cette aimable dame. Je ne sais pourquoi Mr. Kniagewitsch l'ainé m'a paru piqué d'une plaisanterie toute innocente. Je n'ai pas voulu l'offenser d'aucune manière. Son frère est revenu de Laybach, il m'a fait le récit de son voyage à Ve-

nise. Noroff, Ostolopoff et moi nous avons parlé de la littérature italienne, française, et russe. J'ai promis à Noroff de passer chez lui lundi matin. Je l'aime beaucoup, ce brave militaire; la noble marque de sa valeur, une jambe de bois, est le meilleur certificat pour lui aux yeux de ses concitoyens. Je suis rentré à 11 heures et demi, et j'ai rencontré Jakowleff, tout près de la porte; il était venu me dire le bonsoir. Nous avons parlé une demi-heure; Madame a eu aussi sa part dans notre conversation: nous avons parlé de son amabilité et lui avons désiré un caractère un peu moins changeant, et de ne pas traiter avec rigueur les gens qui lui sont bien sincèrement dévoués.

Lundi, 6 Juin, à 7 heures du matin.

La journée d'hier m'a tout à fait reconcilié avec elle. Je l'ai cru passer bien autrement, cette journée, et je suis enchanté que le proverbe: Homo proponit, Deus disponit avait servi cette fois à mon avantage. A midi j'allais chez Gretsck à la campagne; je l'ai rencontré au quai de Petersbourg, nous avons causé un peu ensemble et puis nous nous sommes séparés. Comme l'heure du dîner était encore très éloignée et que j'étais déjà dehors, par conséquent ne voulant pas rentrer avant d'avoir faire quelque chose, me voilà qui me décide d'aller voir Mme. Je trottait déjà sur le pont de Wibourg, clopin-clopant comme je le pouvais à cause des bottes qui me torturaient les pieds, lorsque j'aperçois Mr. Woïeikoff qui courait en droschki à deux places; je le salue, il s'arrête, m'invite à prendre place dans son droschki, et quoique je serais bien content de m'excuser là-dessus, je n'ai pas voulu faire des grimaces, j'accepte donc son offre obligeant d'aller bonne grâce et nous voilà à converser et sur le mauvais temps, et sur l'intempestibilité du climat de St. Petersbourg, et sur la fumée de Londres, et sur les 93 marches de l'escalier de Gretsck, et sur la maladie de Madame Woïeikoff, et sur les talents et l'amabilité de Mr Noroff. Bref, nous avons fait le caquet bon-bec depuis le pont jusqu'à l'Académie de la médecine et chirurgie. Là je l'ai prié de faire arrêter la voiture, disant que j'avais une visite à faire à l'académie. Nous nous sommés dits force compliments et j'ai été très charmé d'avoir éluder une conversation plus longue.

Je viens chez Madame, j'y trouve Yakowleff et Kouschinnikoff qui arrive un moment après. Madame me reçoit d'abord assez sèchement; elle veut retenir Yakoveff qui s'évade. On s'arrange à faire un tour de promenade avec Mme Goffard et les enfants, elle y va en effet. Je l'atteins et la plaisante sur ce qu'elle a l'air d'une maîtresse de pension, elle retourne à la maison. Nous déjeunons, nous parlons, et tout d'un coup elle me fait cadeau d'un mouchoir pour porter en chemise sous le gilet. Nous nous mettons de nouveau en marche pour aller à la campagne où demeurent les enfants de Mme Goffard; notre suite est composée de Mr Ponomareff, Madame, M. Kouschinnikoff, Mme Goffard, Alexandrine et moi. Madame me donne le bras, nous arrivons en face de la campagne de Mr Dournoff et prenons un bateau qui nous transporte jusqu'à la campagne Bezborodko; nous passons par le jardin. Madame me donnait toujours le bras pour la mener; au bout du jardin nous trouvons un pont couvert à

demi écroulé et qui n'a pour tout plancher que deux poutres touchant le milieu du pont couvert. Je mène Madame avec toutes les précautions et sollicitude possibles; Hector reste au milieu du pont, n'osant point passer; elle l'appelle, il jappe et reste indécis. Je me précipite sur la poutre, je prends le chien sur mes bras, tout crotté qu'il était et je le porte sur l'autre bord, ce qui m'a valu des expressions très aimables, même tendres de la part de Madame. *Какая милая попинька: qui aurait fait comme lui.* Ces peu de mots m'ont tout à fait captivé et m'ont de nouveau soumis sous ses lois; je ne me sentais pas de joie; je jurais intérieurement d'être toujours à elle. Dans ce moment-ci elle m'a paru plus belle que jamais, et si je l'avais pu je l'aurais étouffé de mes baisers: même j'aurais embrassé mille et mille fois son chien; mais j'ai craint de la compromettre devant les jeux de tant de témoins. Ce son de voix lorsqu'elle dit quelque chose d'aimable, d'obligeant, pénètre dans mon cœur et y attire une nouvelle flamme, je suis alors aux anges et si confus, si heureux, que je ne sais que répondre: les phrases me manquent avec la respiration, je me pâme d'aise. Non! jamais je n'ai été aussi amoureux, j'étais plus jeune et les sensations n'étaient pas encore aussi profondes, aussi décidées.

Le reste de la journée s'est passée assez agréablement pour moi. Après diner nous sommes allés en bateau à Krestowsky; là je me suis absenté pour quelques minutes; je les rejoins déjà sur le bateau et j'inventais des excuses et des incidents. Elle m'a pourtant grondé avec assez d'amertume: *Toujours nous faites de ces farces; c'est joli!* Le malheur est qu'elle s'est mouillée les pieds; moi qui les avais aussi mouillés jusqu'aux genoux, je me taisais. Elle se plaignait du froid sur le bateau, et je craignais pour elle. Arrivée à la maison, elle se fait frotter les pieds, à nos instances réitérées, avec du rhum et s'est couchée ensuite. Elle a voulu retenir de force Mme Goffard, Kouschinnikoff et moi, pour passer la nuit à la campagne; mais ensuite elle a consentie à nous laisser partir. Je me suis approché d'elle pour prendre congé... Délayé j'ai vu encore ce beau sein qui fait mon martyre, je fais des efforts pour ne pas me trahir, je ne me possède presque plus. J'imprime un baiser sur sa main et je m'arrache de cette île de Calypso.

J'ai oublié de noter qu'elle m'a grondé pour je ne sais quelles prétentions lorsque je lui ai demandé le pardon pour je ne sais quelles fautes. Ensuite elle s'est radoucie, elle m'a marqué du regret de ce que je ne lui écrivais plus, je lui ai renouvelé la prière de me permettre de lui écrire, ce que m'a été accordé.

Mardi, à 11 heures du matin, ce 7 juin.

J'ai écrit presque toute la matinée du lundi, le cœur et la tête toujours remplis d'elle. Je suis sorti à midi et demi pour aller chez Noroff que je n'ai pas trouvé à la maison. Ensuite, je suis entré chez Slenine, par désœuvrement, et j'y ai trouvé mon colonel à la jambe de bois. Il parcourait quelques ouvrages italiens. Nous sommes allés déjeuner chez Talon; puis nous sommes montés chez Pluchard où nous avons encore parcouru quelques uns de nos chers ita-

liens en attendant le droschki du colonel. Le droschki arrivé nous avons été rentrés à terre chez lui pour prendre la pièce de vers que je dois lire pour lui dans la société. Il me charme de plus en plus cet aimable colonel; pas ombre de la morgue militaire, beaucoup de prévenance et d'honnêtetés; une conversation variée et instructive, il ne paraît pas aussi savant qu'il l'est en effet. Voilà des gens que j'aime parceque j'aime à être toujours avec des gens qui valent mieux que moi: c'est une espèce d'égoïsme, j'en conviens, je gagne ici tandis que je perds mon temps et mes paroles avec ceux que sont plus bêtes que moi. Je suis sûr qu'on est aussi dans les mêmes rapports envers moi, parce que c'est le *primo mihi* universel.

A 7 heures je suis venu chez Yakowleff: nous avons encore parlé d'elle; c'est elle qui fait les délices de ma conversation. Mais je tâche bien de cacher à Yakowleff mes véritables sentiments, qui tout pénétrant qu'il est ne s'en doute guère. Je crois que nous trompons l'un l'autre.

A 8. Je suis allé à la Société; j'ai insisté qu'on élit Noroff comme membre effectif; lorsqu'on est venu en scrutin, il s'est trouvé qu'il y avait 15 votes pour et un seul contre sa réception; il a donc été élu presque à l'unanimité. J'ai remis à Glynka l'épître de Noroff à Panayeff où il lui dit que la nature humaine se détériore de plus en plus; beaux vers à quelques incorrections du style près. Glynka l'a lu dans la séance même, et tout le monde l'a approuvé.

Ce 7 Juin 1821.

Vous me pardonnez, Madame! vous me rendez vos bontés! Non! je ne me suis pas trompé, vous tenez de la divinité la plupart de ce que vous êtes, et ces grâces, et cette bonté, tout cela est d'une origine céleste. Eh! Suis-je digne d'un de vos regards, de ces regards qui font tant de bien à celui sur qui vous daignez les arrêter. Oh! si vous aviez vu, combien je souffrais en voulant combattre, subjugué une passion qui est devenu pour mon âme ce que les esprits vitaux sont pour le corps de l'homme, — inséparable de mon existence; j'ai cru perdre à jamais les douces illusions de ce bonheur, qui, sans être réel, n'en est pas moins cher pour moi puisqu'il me représente l'image d'un bonheur plus parfait, plus palpable, auquel je n'ose attenter que dans mes rêves.

Il me semble pourtant que vous paraissez quelquefois vous défier de la véridité de mon amour. Hélas! est-ce ma faute si cette figure sans expression, si ces yeux sans feu ne vous disent que faiblement ce que j'éprouve? Tout le feu, qui manque à mes yeux et qui n'anime point mes traits, est concentré dans mon cœur: c'est là que vous avez votre autel, où vous êtes sans cesse adorée, encensée. Non! une flamme si forte ne pourra pas mourir même avec mon être, elle me survivra, elle suivra au delà du tombeau et sera pour mon âme le plus bel apanage d'immortalité. Je vous y reverrai. Madame! vous serez l'ange de bonté qui me fera participer à la félicité éternelle: sans vous je n'y trouverais qu'un état de langueur infinissable.

Et vous n'êtes plus fâchée, Madame? est-ce bien sincèrement que vous m'avez pardonné? et vous ne rebuterez plus un cœur qui ne palpète que pour vous? Oh! si je n'avais pas de témoins, j'aurais embrassé dernièrement cent mille fois votre Hector, qui m'a attiré de votre part ces paroles douces qui sont à jamais gravées dans ma mémoire; c'est lui qui a contribué à vous persuader de même en partie de tout l'amour dont je brûle pour vous. Jugez donc, Madame, si je dois le chérir, si je peux regarder d'un œil indifférent un être qui est en quelque sorte mon bienfaiteur? Et quel précieux fardeau que je trouvais en lui? je portais dans mes bras une créature que vous affectionnez, Madame! et tout ce qui vous est cher, l'est encore davantage pour moi, car toutes vos affections se communiquent à mon âme, s'y augmentent et s'y multiplient! Quel sympathie pour moi que celle de sympathiser avec votre cœur. Si j'avais pu aspirer à un retour... mais je n'ose pas y prétendre: ce serait un bonheur qui ne m'est point destiné en partage. Je me contente donc de mes propres sentiments, je me contente aussi de la seule prérogative qui me soit accordée, celle de vous l'oser dire.

Que tous vos mots d'amitié ou de bonté répandent une douce chaleur dans toute mon existence. *Какая милая попинька!* qui aurait pu faire comme lui? ces aimables paroles resonnent sans cesse dans mon oreille et coulent de veine en veine comme des flots de félicité indicible. Ah! répétez-moi souvent des expressions pareils, il coûte si peu d'en dire et heureux celui qui peut procurer aux autres, à si peu de prix, un bonheur impayable! On se ressent du bonheur qu'on fait participer aux autres: on est heureux soi-même.

Je vais de nouveau, Madame, mettre à vos pieds l'hommage de mon cœur, qui est, ainsi que toute mon existence

Tout à vous, pour l'éternité.

Mercredi. Ce 8 Juin, à midi.

Ma matinée d'hier s'est passée assez tranquillement. J'ai écrit ma première lettre à Madame après la reprise où je lui peins ma flamme. Elle est trop longue, cette lettre, et j'ai peur qu'elle ne l'ennuye: ennuyer une jolie personne ce serait pécher contre la nature. J'ai dû dîner chez le Prince, mais je me projettais d'aller chez elle tout de suite après dîner. Voilà que la Princesse me prie de lui trouver dans la bibliothèque les livres qu'elle même n'a pas pu trouver. Je cache le mécontentement, qu'a produit sur moi une commission aussi intempestible, je cherche les livres et les trouve presque aussitôt. La princesse a été très aimable avec moi, je lui ai apporté dans son cabinet les livres qu'elle m'a demandés et elle m'a parlé des plaisirs que nous allions goûter à la campagne; pour trancher court, je lui ai répondu que j'aimerais autant rester en ville, vu que l'été ne permettait point d'être beau. Sur les cinq heures je suis parti pour aller à la campagne de Md P-ff.

J'y ai trouvé Lopès qui partit presque aussitôt, et le colonel Slatwinsky. Madame a été indisposée, elle a gagné une attaque de rhumatisme sur la bançoire. Elle s'est un peu trouvée mal et s'est couchée, et moi je suis allé faire un tour de promenade. J'ai rencontré les deux Kotschubey qui s'en retour-

naient en ville de chez la Princesse Lobanoff; je les ai salué en passant. Près de la campagne de Mr Dournoff, j'ai rencontré ses deux fils et Mr Dougoulz, j'ai causé avec eux et l'aide de camp m'a comblé d'honnêtetés; tous les deux à l'envi ils m'invitaient de passer chez eux, mais je me suis excusé! En rentrant j'y ai trouvé Izmailoff; Madame était encore couchée; un moment après Andréef étant venu, elle l'a fait inviter à passer dans sa chambre, puis elle a voulu se lever et elle a crié de douleur. Je suis accouru pour l'aider si je le pouvais; et à l'aide de Mr Slatwinsky nous l'avons relevée. Elle a été très aimable avec tout le monde. Les autres étant partis, nous ne sommes restés au souper que moi et Izmailoff. Elle a été d'une gaieté charmante. Après souper je suis entré dans sa chambre à coucher et je l'ai vu caresser le chien de Lopès. Que je l'enviais, ce chien. Je le lui avais dit plusieurs fois, enfin je me suis rapproché d'elle, je lui ai baisé la main avec ardeur et à plusieurs reprises: et en sortant je lui ai imprimé un baiser sur les lèvres; elle m'a aussi embrassé. Elle a voulu me retenir pour coucher à la campagne, mais je m'excusais sur l'impossibilité, vu que le prince avait à faire avec moi. Malgré tout cela elle m'a fait préparer le lit dans le salon, et elle-même arrangeait les oreillers de ce lit. Je n'ai pas pu y tenir, j'y aurais resté toute l'éternité, je me soumis en lui baisant la main... Hélas! faut-il me borner à cela? Je n'ai dormi que deux heures, après quatre heures du matin son chien qu'on a blâmé dans la journée, est venu près de mon lit; il m'a reveillé, il était souffrant, et je ne peux pas voir souffrir un être quelconque, je ne dis pas déjà son chien. Je me suis levé, je l'ai pris dans mes bras et l'ai fait coucher sur mon lit que je lui ai cédé: pour ne point le toucher et lui faire mal, je me suis habillé et je partis pour retourner à la maison. La journée d'hier est une de celles dont je conserverai le plus doux souvenir. Quel prix ont à mes yeux ses moindres caresses, ses mots de bonté, ses plus petits soins de ma personne! Oh! si j'étais aimé en effet, comme j'aurais su sentir toute l'étendue de mon bonheur.

Judi, ce 9 Juin, 1821.

Dans la matinée d'hier j'ai reçu un billet d'invitation pour la soirée de la part de Mr Ostolopoff. Le billet étant écrit en italien, j'ai dû répondre, comme j'ai su, en cette langue. J'ai passé ensuite chez Boulgarine pour l'inviter aussi au nom de Mr Ostolopoff; après cela je me suis rendu chez Nikitine. Je lui ai insinuée l'idée de la réunion des deux sociétés et j'ai pu voir que ce n'était nullement de son goût.

Bulgarine ne m'a pas laissé entrer dans sa chambre à coucher: j'ai vu qu'on y a apporté à son ordre un portrait et j'ai cru remarquer la figure d'un peintre de portraits en miniature. Le domestique polonais a laissé tomber par maladresse la toile qui couvrait le portrait et j'ai reconnu les traits de Mme Woïeïkoff. Hé, Mr. Bulgarine! je vous félicite: mais je ne lui ai pas dit ce que j'ai vu.

Ce 10 Juin 1821.

Que je rends grâce au mauvais temps qui me retient en ville. Madame! j'ai encore de vouloir <прзб.> la douce perspective de vous voir deux ou trois



fois avant mon départ pour la campagne. Il me vient de temps en temps des idées qui n'ont pas le sens commun: je désire quelquefois qu'il fasse continuellement la mauvaise saison afin que vous déménagez plus promptement pour venir demeurer en ville et que j'aie le bonheur de vous voir tous les jours. Grondez-moi si vous voulez, Madame, mais sur ce point-là je suis égoïste, et très égoïste, et ce n'est pas tout-à-fait sans raison. Il me semble que quand je suis près de vous, mon existence est alors plus complète, plus entière, tandis que loin de vous je me crus privé d'une grande partie de moi-même, et c'est la vérité: mon coeur, mon âme, mes pensées, mon imagination sont constamment attachés à vos pas et semblent voltiger autour de votre image adorée. Tout ce qui constitue la meilleure partie de moi-même est donc absorbé dans vos perfections et que me reste-t-il? de la glace au lieu du cœur, un vide continu dans l'esprit et dans l'âme et une enveloppe grossière qui tient à mon origine terrestre.

Ah! Madame! ne me privez point de la seule consolation que j'ai en vue en m'éloignant de votre personne! écrivez-moi aussi souvent que vous le pourrez, écrivez-moi de longues lettres afin que je puisse boire à longs traits le plaisir de voir quelque chose qui émane de vous! Je sais que ma prière est trop hardie, mais c'est à un ange que je l'adresse et un ange ne se refuse jamais de consoler les pauvres humains. Que mon coeur battra avec force lorsque j'aurai à attendre de vos nouvelles! Oh! je les porterai sur mon cœur, vos lettres, elles y feront revivre cette douce chaleur qui s'amortira par votre absence ou qui ira plutôt se réfléchir dans vos yeux.

Chaque fois que j'ai le bonheur de vous voir, Madame, je reviens encore plus amoureux. La dernière fois surtout... oh! cette soirée se gravera dans ma mémoire parmi les instants les plus heureux de ma vie. Je vous ai vu arranger de vos propres mains les oreillers du lit qui a été destiné pour me recevoir; oh! avec quels transports j'imprimais des baisers sur ces mains incomparables! L'oserai-je dire... non! mon cœur est encore trop plein de ce bonheur et les plus belles expressions seraient froides et insuffisantes.

Puissiez-vous sentir, Madame, la moindre parcelle de ce que je sens pour vous! je serais encore le plus heureux des hommes comme j'en suis le plus amoureux.

Tout à vous pour l'éternité  
O. Somoff.

Vendredi, ce 10 Juin, 1821.

Hier j'ai attendu le colonel Noroff pour aller ensemble à midi lui faire faire connaissance avec Monsieur et Md Ponomareff, mais il n'est venu que vers deux heures, de sorte que toute ma matinée a été manquée. Nous avons parlé de Md Ponomareff, je lui ai inspiré le désir de la connaître, et comme il ne trouve pas convenable de venir dîner à la première visite, il m'a promis d'y venir demain vers 6 heures. Ensuite nous avons parlé de la littérature russe et étrangère. Je lui ai prêté 4 volumes de Parny pour lire. Il ne faut pas oublier de lui communiquer la note du meilleur commentaire de Dante. Le voici: *La*

*Divina Commedia di Dante Alighieri, col commento di G. Bignioti; 2 toms. Parigi, 1818, in 8. Presto Dondey Dupré in via S. Luigi, 10 c. 44. Il m'a promis de m'en faire venir un exemplaire de Paris. Vers trois heures le colonel est parti.*

Après 7 heures j'ai été à la Société des Amis de Lettres, des Sciences et des Arts, au Palais St. Michel. Bulgare nous a lu ses souvenirs de la guerre d'Espagne, qui sont très intéressants. Il peint avec beaucoup de feu le beau sexe de ce pays, le climat, la nature. Après lui Ostolopoff a lu le traité de la tragédie, qu'il veut intercaler dans le Dictionnaire de la Poésie ancienne et moderne. Bonne compilation, mais un peu trop détaillé pour un article d'un grand ouvrage. A dix heures j'ai proposé à Izmailoff d'aller faire ensemble une visite à Panaïeff que nous avons trouvé plus souffrant que jamais. J'y suis resté jusqu'à minuit et je suis rentré chez moi vers minuit et demi.

Samedi, ce 11 Juin, 1821, à 7 heures du matin.

Non, c'est trop! pour prix de mon amour, pour prix de mon dévouement ne recevoir que mépris, outrages, mortifications! Elle s'est peinte hier avec des couleurs bien noires: elle m'a poursuivi, déchiré... et pourquoi? pour un rien, pour une vétille qui ne mérite pas même que l'on en parle.

J'ai été très affairé la matinée et j'ai pourtant trouvé le moyen de lui faire un billet bien tendre, où je lui peignis mes sentiments. Vers deux heures je suis parti; le temps était brumeux et triste; mon cœur éprouvait aussi une atteinte de la tristesse: je ne sais quels pressentiments vagues s'en étaient emparés. J'arrive chez elle et je trouve le mari dans le salon; l'on dit que Madame fait sa toilette. Le vent sifflait avec force, la pluie tombait de temps en temps; tout contribuait à m'indisposer. Enfin au bout d'une demi-heure il a cessé de pleuvoir et le temps parut un peu de remettre. J'ai dit à m-r P...ff que j'allais faire un tour de promenade et je suis allé en effet. En rentrant, j'ai vu arriver en balcon Izmailoff, Ostolopoff et les deux Kniagewics. Un moment après j'allai frapper à la porte où Madame s'habillait et je lui ai remis mon billet. Elle m'a parlé par la porte, ne voulant pas me laisser entrer parce que elle était, disait elle, en chemise. Lorsqu'elle a paru, je pus remarquer en elle une espèce de froideur et d'affectation à mon égard et je me prédis tous les désagréments en butte desquels j'ai été exposé par la suite. Elle m'a envoyé chercher son journal, voulant faire voir un dessin à ces messieurs; puis elle a paru ne pas retrouver les billets de Panayeff qui se trouvaient, disait-elle, dans ce journal; elle accusait en ricanant tout le monde de les avoir pris; je n'en ai rien cru parce que je connaissais déjà ces stratagèmes de femmes.

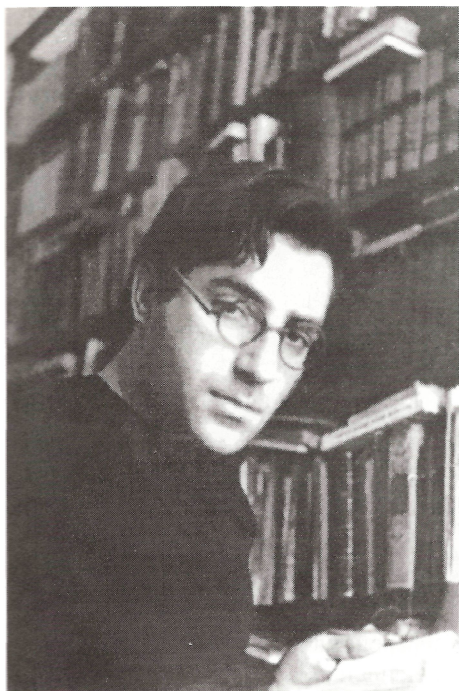
Tout se passait pourtant assez bien jusqu'à l'après diner, excepté qu'elle ne s'adressait plus à moi et qu'elle me répondit d'un ton affecté. Lopès étant survenu, elle est allée lui parler dans sa chambre à coucher et y restée près d'une demi-heure. Je me suis ennuyé et je vins prendre mon chapeau pour aller faire encore un tour de promenade, quoiqu'il ait plu à verse tout le temps du diner. Elle m'a demandé où j'allais et je lui répondis avec humeur: je vais, Md, ce que j'ai répété à plusieurs reprises. Elle m'a grondé un peu, mais malgré cela je suis parti. Elle a regardé par la fenêtre et a rappelé Hector qui



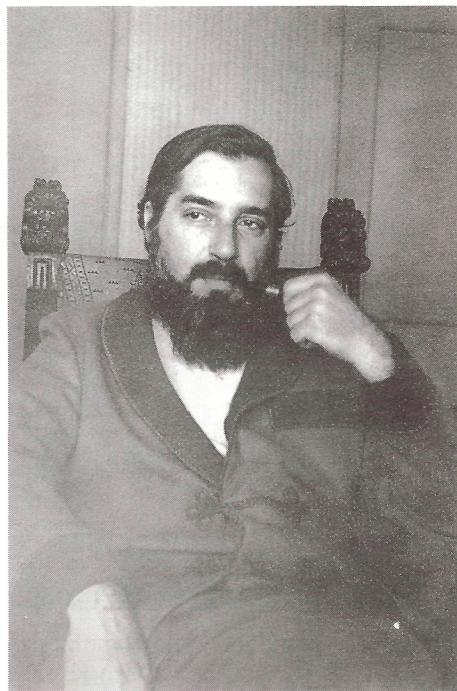
В. Э. Вацуρο в детстве, с матерью Людмилой Валентиновной



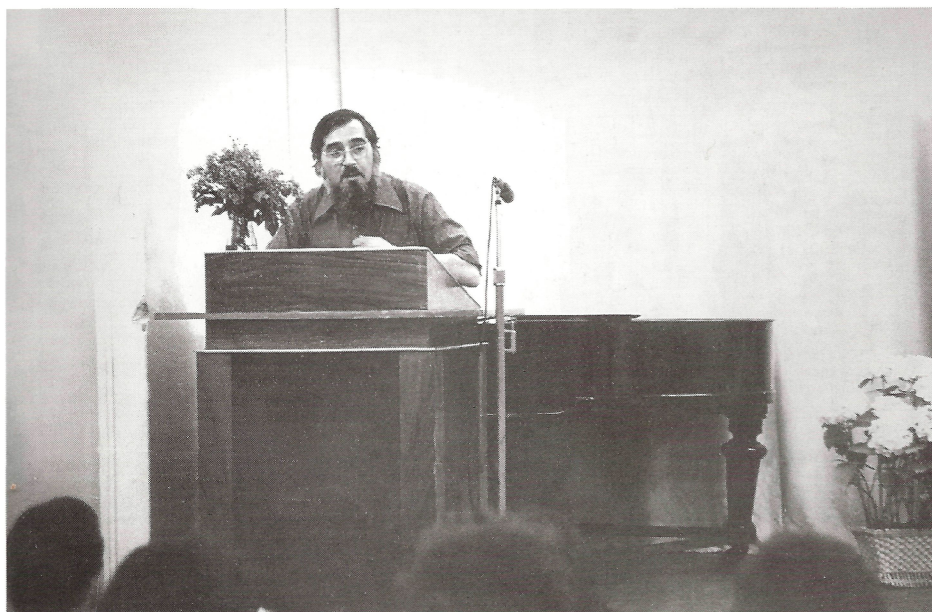
Эразм Григорьевич Вадуρο,  
слушатель Ленинградской Военно-медицинской академии. 1929 г.



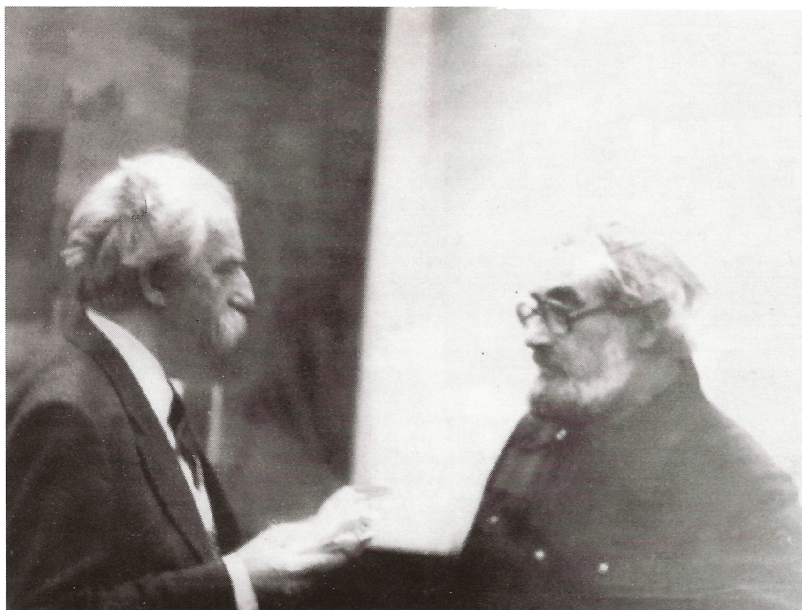
В. Э. Вацуро. 1962 г.  
Фото Т. Ф. Селезневой



В. Э. Вацуро. 1971—1972 гг.  
Фото Т. Ф. Селезневой



Пушкинская конференция к 180-летию поэта. 1979 г. ИРЛИ



В. Э. Вацуру и Ю. М. Лотман. Блоковская конференция в Тарту. 24 марта 1991 г.  
Фото К. Немировича-Данченко



На Лермонтовском симпозиуме, организованном Е. Г. Эткингом.  
Норвич (США). 30 июня — 2 июля 1989 г.  
Слева направо: И. З. Серман, В. Э. Вацуру, Е. Н. Дрыжакова, С. Давыдов,  
Л. И. Вольперт, Р. А. Зернова, М. Г. Альтшуллер, И. Ефимов, И. С. Чистова



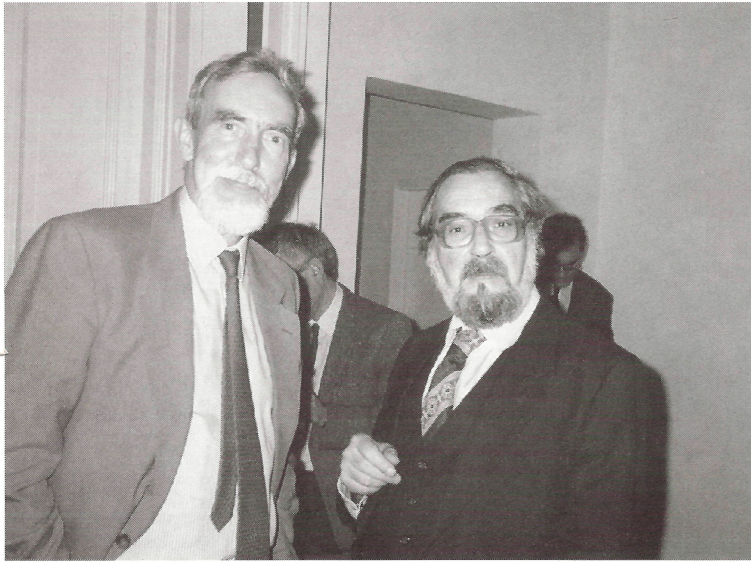
На I Международной Пушкинской конференции. Пушкинские горы. 1991 г.



На II Международной  
Пушкинской конференции. Тверь.  
1993 г.



На I Международном научном  
семинаре «Графика писателей и  
творческий процесс». Пушкинские  
Горы. 9—11 июня 1994 г.

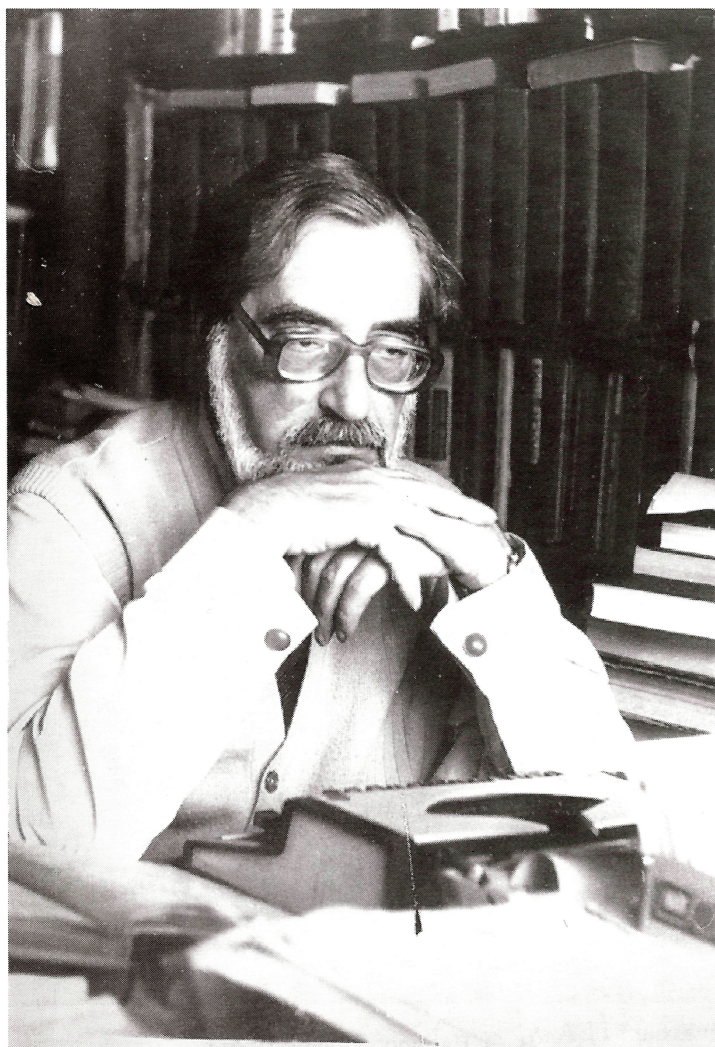


На Международной конференции «Просвещение в России XVIII века». Потсдам. 1996 г. В. Э. Вацуру и Энтони Кросс (Великобритания).  
Фото Ю. В. Стенника

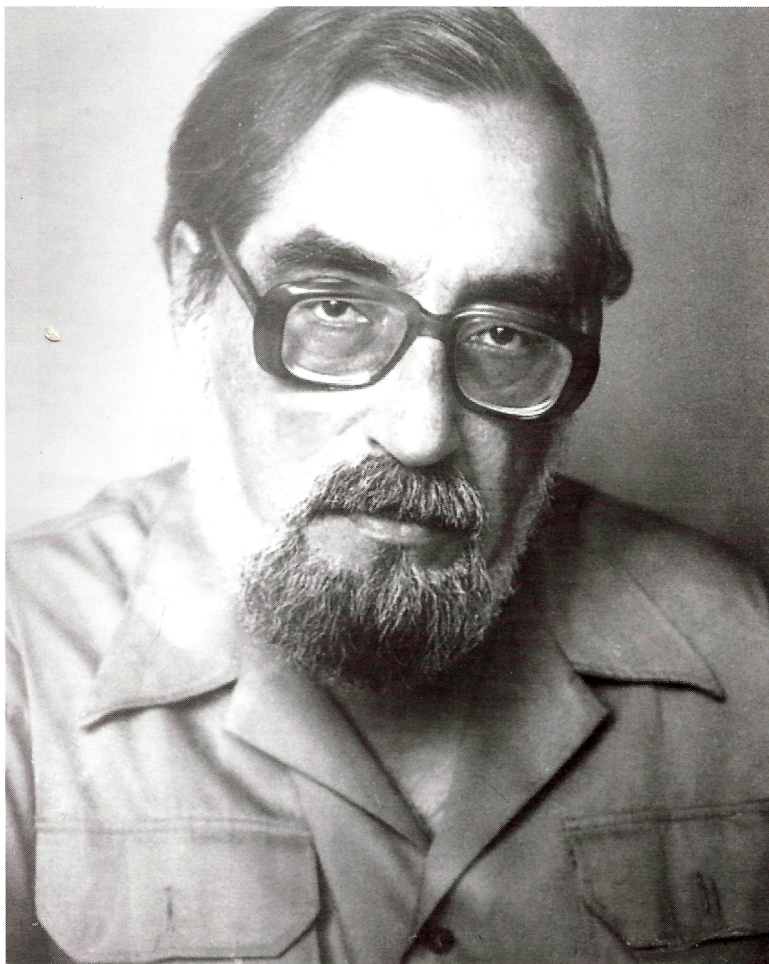


На Международной юбилейной Пушкинской конференции к 200-летию со дня рождения поэта. Стэнфорд (США). 1999 г. Слева направо: В. М. Маркович, В. Д. Рак, В. Э. Вацуру, С. А. Фомичев, Вл. Паперный, К. Ю. Рогов





В. Э. Вадуро. 1995 г.  
Фото Т. Ф. Селезневой



В. Э. Вацуро. Январь 1996 г.  
Фото Т. Ф. Селезневой

voulu me suivre. Je lui dit qu'elle pouvait être tranquille et que je n'avais pas l'intention d'emmener son chien. Elle m'a fait là-dessus une grimace qui m'aurait fait rire si je n'en avais saisi toute la méchanceté. J'ai rodé sans but dans la campagne de Bezborodko et de retour j'ai trouvé la dame sur la balançoire, je l'ai abordée et l'ai saluée. Elle me dit d'un ton d'humeur très prononcée: Que me voulez vous dire? Là-dessus je repondis que rien et je n'ai pas perdu la contenance. Un peu après, je l'ai suivi et lui ai demandé le sujet de son mécontentement, elle m'a dit que je ne suis pas digne qu'elle me parle et qu'elle me traite de même que Yakowleff. En ce cas, Madame, lui dis-je, vous voudrez bien souffrir que je ne revienne plus. Au souper elle cherchait tous les moyens de me déconcerter, elle s'accrochait à tout ce que je disais et souvent d'une manière ridicule. Je parlais toujours en riant, sans paraître faire attention à ses dispositions hostiles. Je ripostais à ses propos et les démontais souvent, ce qui semblait lui faire de la peine en présence de tant de personnes et dans le moment où elle voulait faire briller son esprit aux dépens du mien. Après souper je l'aborde et lui souhaite le bon soir, lui disant que je n'aurai peut-être pas sitôt le bonheur de la voir, parceque j'allais bientôt déménager pour aller à la campagne. Elle m'a tendu d'abord la main en détournant le visage, puis elle m'a rappelé, m'a fait un signe de la main, m'a demandé si je ne voulais plus rester et sur la réponse négative elle m'a dit: Baisez-donc ma main. Elle a paru sourire. Je suis parti assez content de moi-même, mais très mécontent de ma journée.

Dimanche, ce 12 Juin, 1821.

J'ai travaillé toute la matinée; je n'ai eu le temps que pour faire un petit tour dans le jardin. Je pensais à ma disgrâce; j'ai été triste et cherchais la solitude. Mais dans l'après-dîner je pris la résolution d'aller chez Izmaïloff afin qu'on ne croie pas que je conserve de l'humeur de la soirée d'hier. Comme je devais passer presque devant la porte de Panaïeff, je suis entré chez lui pour lui souhaiter le bon jour. Il me reçoit assez froidement et j'y vois Richter feuilletant quelques papiers. Panaïeff me dit qu'il a entendu de Mr Ostolopoff, Kniagewicz et Izmaïloff qui sont venus le voir dans la matinée que j'ai été maltraité par Md. Je lui conte tout et il me remet le billet de Madame, très offensant et très dur où elle me reproche d'avoir volé les billets de Panaïeff. Je ne me serais jamais attendu à cette sortie: Panaïeff me communique qu'elle lui a aussi écrit en faisant part de ce prétendu vol.

A 11 heures du matin.

Le domestique qui la servait, Wladimyr est venu me demander de lui procurer une place. J'ai été charmé de pouvoir obliger quelqu'un qui la servait, mon cœur est très gâté sur ce point; si j'aime quelqu'un, j'aime tout ce qui dépend de lui, tout ce qui lui est attaché, même tout ce qui l'était connu. Je me suis donc offert de très bonne grâce de rendre un service à son ancien domestique, et j'en parlerai au Prince.

A 4 heures et demi de l'après-midi.

Le Prince m'a recommandé de lui amener Wladimir, et comme ce domestique m'a dit qu'on peut l'avoir en payant sa rançon, le Prince y consenti, d'autant plus qu'un de ses laquais est mort et l'autre malade. Le Prince m'a dit des choses très obligeantes que ma recommandation suffit et que je ne lui ai jamais présenté que ce qui était vraiment bon. Il est vrai que je lui ai procuré un homme excellent, M. Kolomytsoff pour être économe de l'institut des Sourds et Muets; aussi le P. se reposa parfaitement sur ma recommandation. Je serais ravi s'il me réussit de même de délivrer ce pauvre Wladimir des griffes de son maître actuel.

Ce 12 Juin 1821.

Madame!

La dernière fois que j'ai eu l'honneur de passer la journée chez vous, j'ai pu remarquer que vous avez cherché toutes les occasions et tous les moyens pour m'aigrir, m'humilier et m'attirer du ridicule sans que je vous en aie prêté la moindre raison. Entièrement tranquille sur votre compte, fort de la loyauté de ma propre conduite et me reposant sur les bons accueils dont vous m'avez honoré antérieurement, j'ai pu, je l'en conviens, n'être pas autant sur mes gardes que je l'aurais été. Aussi lorsqu'il vous a plu de me demander ce que je voulais taire, j'ai eu l'honneur de vous répondre que j'allais faire un tour de promenade comme c'est mon habitude quand je n'ai rien de mieux à faire. J'ai vu la mine menaçante que vous m'avez faite alors mais j'étais persuadé que vous me jugeriez mieux par la suite. En vérité, Madame, ne dois-je pas voir clairement que lorsqu'il y a du monde chez vous ou que vous me faites venir à vos dîners invités, je suis toujours là comme un de ces magots de la Chine qu'on met sur la cheminée uniquement pour occuper une place. Si je prends la liberté de vous adresser la parole, de vous offrir mes services, vous les recevez de si mauvaise grâce que cela ne peut pas manquer d'être aperçu de tout le monde, mais la plupart du temps vous avez l'air de ne pas vous apercevoir si j'y suis ou non. Et pourquoi donc faire venir un homme à qui on veut marquer du mépris ou qu'on veut laisser dans l'oubli? Autant vaudrait-il laisser en repos celui à qui l'on ne s'intéresse point. Vendredi, par exemple, vous avez taché mettre à son aise chacun de votre société, et moi j'étais le seul qui n'a reçu pour son compte que des grimaces ou des outrages.

De mon côté j'ai pris la hardiesse de vous faire remarquer, Madame, qu'on ne parvient pas si facilement à me décontenancer, j'ai été encore forcé d'adopter le rôle qui convient le moins à mon caractère — celui d'insolent, et ce rôle, comme vous l'avez vu ne m'a pas mal réussi; j'affectais une légèreté et même une gaïeté qui étaient diamétralement opposés à ce que je sentais alors intérieurement.

Vous m'avez dit, Madame, que vous ne me parlerez plus comme vous le faites avec Mr Yakowleff. De grâce, Madame, ayez la bonté de me dire, est-ce bien sincèrement votre intention. Je dois le savoir afin de pouvoir modeler là-

dessus ma conduite. Je n'ai pas oublié non plus le rang de bas officier qui vous a parût si bas: cette petite sortie pourra servir de pendant à une autre de la même espèce qui a eu lieu au sujet des gens qui sont pauvres. Je sais bien que je suis pauvre et sans rang; mais j'ai l'avantage de connaître bien de personnes qui sont éminemment riches et d'un rang infiniment au dessus du mien et qui cependant ne croient point s'abaisser en me traitant d'une manière amicale. Aussi je ne cherche jamais moi-même des nouvelles connaissances; je les trouve ou par hasard, ou par des avances qu'on me fait, ce qui n'a pas peu contribué à rendre mon âme assez fière pour savoir apprécier à leur juste valeur les injustices qu'on me fait.

Permettez-moi, Madame, de revenir sur le chapitre de prétentions, mot qui se trouve toujours dans votre bouche et qui doit y avoir plus d'un sens. Quelles prétentions me supposez-vous à moi, Madame? Je n'ai jamais prétendu point qu'on s'occupât exclusivement de mon chétif individu, mais je ne présente non plus l'homme de servir de plastron aux outragers lorsque vous jugez à bon de boudier quelqu'un. Toutes mes prétentions se bornent dans le vouloir être traité comme tout le monde et comme moi-même je suis traité; et si non, non.

En prenant la liberté de vous exposer le sujet et les motifs de mes peines, j'ose encore vous prier, Madame, de ne pas m'ôter vos bontés et votre bienveillance qui sont pour moi le seul bonheur auquel j'aspire; ainsi que de vouloir bien croire aux sentiments de la plus parfaite estime avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Madame,  
Votre très humble et très  
obéissant serviteur

Est ce bien digne de votre caractère, Madame, que de me traiter de la sorte! Peut-on apostropher du nom de voleur les gens qu'on daigne admettre chez soi et qui n'ont jamais démenti par aucune action illicite la bonne opinion que vous avez paru en avoir? La propriété d'autres est pour moi une chose si sacré, qu'il m'est pénible d'être même soupçonné de fouiller dans les papiers qui ne m'appartiennent point, car j'ai toujours donné la preuve d'une confiance aveugle dans les personnes qui m'honorent de leurs connaissances. Et avez-vous jamais remarqué quelque chose de semblable? m'avez-vous trouvé lisant ou feuilletant les lettres qui sont sur votre table à écrire? Hé, Madame! vous avez mal étudié mon caractère si vous me jugez capable d'une telle indignité. Et si c'est une autre intention qui a pu motiver ce prétendu soupçon, je vous plains, Madame, de n'avoir pas choisi quelque autre expédient, car M-r Panaïeff, qui connaît assez mes principes, est parfaitement rassuré sur mon compte.

Lundi, le 13 Juin 1821.

C'est demain que nous allons à la campagne. J'en suis enchanté; cela pourra me servir d'excuse aux yeux de Mr. Ponomareff de ce que je ne serais pas venu si souvent.

Hier, à une heure de l'après-midi, j'ai porté moi-même ma réponse à Md. J'ai choisi exprès ce temps pour lui faire voir que je l'estime encore beaucoup pour venir me justifier moi-même, et que je suis trop sûr de mon innocence pour éviter de me rencontrer avec elle: mais en même temps je savais qu'ils devaient n'être pas à la maison, parceque Mr. m'en dit encore vendredi qu'ils ne dîneraient pas chez eux dimanche. De sorte que j'ai su concilier mes devoirs de courtoisie envers Madame avec l'intention d'éviter une rencontre fâcheuse où je pourrais bien m'emporter et lui dire des choses désagréables, et je ne veux pas manquer au respect que je lui conserve. Ma lettre dira tout: je l'ai remise, bien enveloppé et cachetée, au seul domestique que j'ai pu trouver. J'aimerais mieux la remettre à la femme de chambre, mais elle ne s'y trouvait point.

Après dîner je suis allé chez Izmaïloff qui m'a promis la veille de me mener chez le fameux Ganine, chez qui il y a tous les dimanches la musique etc. Izmaïloff m'a pourtant manqué de parole: il n'a pas dîné à la maison et n'était pas encore rentré. En revenant, j'ai passé encore chez Panaïeff qui va mieux: j'ai pris le thé chez lui. Il m'a reçu avec plus de franchise que la veille. Nous avons parlé de Madame, enfin de matière en matière je suis resté chez lui jusqu'à onze heures. Yakowleff est aussi venu le voir. Il a conté plusieurs traits du prêtre Mansuetoff qui m'ont confirmés dans la bonne opinion que j'en avais conçue.

En sortant de chez Panaïeff j'ai passé une heure chez Amélie qui était venu depuis trois mois vainement frapper à ma porte. Je me ris quelquefois de moi-même. Je me venge toujours sur ma personne des injustices qu'on me fait. Dans l'Ukraine, en Pologne, après la disgrâce d'une femme comme il faut, je me précipitais entre les bras d'une courtisane, comme pour tirer vengeance de mes propres sentiments. Amélie pourtant fait exception: elle est jolî, modeste, même sensible comme elle le s'expose et sa petite figure chiffonné d'allemande, et sa taille svelte et gracieuse, sa belle chevelure, son beau sein peuvent faire une illusion au défaut de mieux. Elle a été enchantée de me revoir, mais elle s'est aperçue que j'étais trop distrait.

J'ai été trop sage les trois mois derniers; je faisais le sacrifice de mes plaisirs, reprimant mon tempérament de feu à une personne qui s'en moquait. Parlons maintenant des folies, tâchons de nous étourdir en buvant dans la coupe des plaisirs faciles et d'oublier les rêves séduisants d'un bonheur imaginaire. Ici, où je me peins tel que je suis et que personne ne lira, du moins avant ma mort, je n'ai pas besoins de me déguiser.

Mardi, le 14 Juin 1821.

La matinée d'hier s'est passé à écrire. Je suis pourtant sorti avant deux heures pour respirer l'air frais dans le jardin. J'y ai trouvé le compte Kwostoff qui me faisait subir mort et martyre avec la traduction de son épître: il me menace de venir à la campagne du Prince et de m'apporter plusieurs exemplaires de la traduction de S. Maure.

A 7 heures j'allais dans la société des *Zélateurs* pour passer avant l'ouverture chez *Bulgarine* et chez *Yakovleff* ayant eu à parler à tous les deux. J'ai rencontré le colonel *Noroff* en droschki dans la Grande *Meschtschansky*: il allait me trouver ou, à défaut de moi, *Mr. Izmailoff* pour faire ensemble son entrée chez les *Zélateurs*. Je lui ai dit qu'il était encore trop de bonne heure, la séance ne s'ouvrant qu'à 9 heures et je l'ai invité à passer chez *Bulgarine* que nous avons trouvé entouré de deux Polonais, gens de lettres. Peu de moments après, viennent chez lui *Woïeikoff*, *Gretsch*, *Gnéditsch* et *Nicolas Bestougeff*; nous passons ensemble à la Société et sur l'escalier le pauvre colonel tombe, sa jambe de bois ayant glissé sur une pierre trop aplanie. Pendant la séance, *Gnéditsch* nous lit un très beau discours, très pathétique, pour remercier la Société de l'avoir reçu son membre effectif. Il prononçait avec beaucoup de feu et avec cet art de déclamer que personne ne peut lui disputer. Tous les cœurs ont été électrisés; j'étais tout ouïe et tout attention. Le discours a été assez long et pourtant j'aurais voulu qu'il durât deux fois autant. Dans la suite de la séance on l'a élu président en second de la Société.

La séance étant levée et les membres fonctionnaires élus pour le semestre qui vient, on a fermé la Société pour un mois et demi. *Gneditsch*, *Gretsch*, *Borotynsky*, *Glinka*, *Delwig*, *Lobanoff* et moi, nous sommes allés prendre le thé chez *Bulgarine*. La réunion a été extrêmement animée, on causait, on racontait des anecdotes etc. *Gnéditsch* m'a demandé si je n'ai pas dîné ce jour-ci chez *Md. sa tante*? Je lui ai dit que non. — Il y a eu pourtant un dîner invité. — J'étais sûr d'avance que je n'y serais pas invité. — Pourquoi? — *Madame* est fâchée contre moi. — Elle s'apaisera avec le temps; cela ne dure pas longtemps chez elle. J'en conviens; mais j'ai aussi mes raisons pour y aller le plus rarement possible.

*Lobanoff* a été à ce dîner. Il m'a dit qu'il n'y a eu que lui et sa femme et le gros *Kryloff*.

Tout le monde étant parti, nous sommes restés à trois:

*Bulgarine*, *Glinka* et moi. Je leur ai lu mes stances à la *Liberté*, ils les ont trouvés bons, mais ils m'ont conseillé de ne les donner à personne.

Je suis rentré après deux heures.

\* \* \*

Non! je ne pourrai pas venir demeurer chez elle. Je dois partir aujourd'hui à la campagne. Il y a une lettre qui m'inquiète beaucoup et qu'on a reçu de *Twer* adressée à la *Princesse Barbe*; la main qui a mis l'adresse m'est inconnue. Je serai au désespoir si elle dit des nouvelles fâcheuses d'*Alexis* ou de son aimable épouse; ils sont au voyage et il y a si longtemps qu'on n'en a reçu aucune nouvelle, et elle surtout qui est enceinte! S'il arrive quelque malheur, adieu mon pauvre *Alexis*! je devrai pleurer une double perte de deux êtres qui m'étaient si chers dans la vie.

A 11 heures du soir. A la campagne.

J'ai été dans des angoisses mortelles. Heureusement que ce n'est qu'une lettre de Mr Ossipoff, comme je l'ai su de la Princesse Barbe elle-même. Je ne sais qui aurait pu prendre plus d'intérêt à ses amis, à des personnes qu'il chéris, comme je le fais. Mon cœur était oppressé d'un poids énorme, et je n'ai repris ma gaieté qu'après la connaissance de la chose. Je n'ai pas pourtant quitté la ville sans avoir vu le colonel Noroff: je l'ai trouvé écrivant en italien une lettre à sa sœur. J'ai causé avec lui plus de deux heures. Nous nous sommes arrangés pour aller jeudi chez Md Panaïeff; je ne sais si cela aura lieu.

En arrivant ici, nous avons été tout de suite au carrousel. Le Prince menait sur la calèche tantôt la Psse Natalie, tantôt Md Golovine. Il n'y a eu d'abord d'étrangers que Fabre et un autre français nouvellement débarqué, et un Anglais de la société de Mylady Chagot auquel j'ai donné le sobriquet de *Nonchalent noir*, car il en a bien l'air avec sa mine niaise et son habit noir de pied en chef. Un moment après, nous avons vu caracoler une cavalcade. C'était le Comte Chernyscheff avec les deux Konownitzin, Simoni, un <нрзб.> et deux palefreniers. Le Prince les a invité d'entrer dans la lice. Le Comte lui seul a fait les prix de la bague, de la balle, de l'épée et de l'étendard, mais il n'a pas pu se résoudre au prix du pistolet à cause de son cheval ombrageux. Il a fait manœuvrer son cheval de toutes les manières. C'est un joli cavalier que ce petit comte; il n'est pas moins habile à monter que son écuyer même. Ce soir j'ai joué au billard avec Kürchner.

Нет! я не смогу остаться с ней. Я должен сегодня же уехать на дачу. Меня очень беспокоит письмо из Твери, адресованное княжне Варваре и надписанное незнакомой для меня рукой. Я был бы в отчаянии, если бы в нем сообщались дурные новости об Алексее и его милой супруге; они путешествуют, и уже так давно от них нет никаких известий, тем более, что она еще и в положении. Если случится несчастье, прощай, мой бедный Алексей. Я должен буду оплакать двойную потерю людей, которые так дороги мне были в жизни.

11 часов вечера.

На даче.

Я был в смертельном страхе. По счастью, это всего лишь письмо от г-на Осипова, как мне сообщила об этом сама княжна Варвара. Я не знаю, кто мог бы более, чем я, интересоваться своими друзьями, теми, кто ему дорог. Мне было так тяжело на сердце, я смог вновь обрести веселость, лишь когда узнал, в чем дело. Тем не менее я не уехал из города, не повидав полковника Норова; я застал его за письмом, которое он писал на итальянском языке своей сестре. Мы проговорили с ним более двух часов и договорились в четверг пойти к г-же Панаевой: не знаю только, удастся ли это сделать.



Приехав сюда, мы тотчас же отправились на карусель<sup>\*</sup>. Князь катался в экипаже то с княжной Натали, то с г-жой Головиной. Из иностранцев сперва были лишь Фабр и другой француз, недавно прибывший сюда, а также англичанин из общества миледи Шаго, которого я прозвал *Черной беспечностью* из-за его простоватого выражения лица и черного одеяния с головы до ног. Через некоторое время мы увидели гарцующую кавалькаду. Это были граф Чернышев с двумя Коновницынами, Симони и двумя конюхами. Князь пригласил их принять участие в состязании. Граф сам сорвал все призы: в

\* В дневниковых записях этого периода Сомов постоянно упоминает садовые увеселения: разного рода качели и, в особенности, карусель. Особый интерес к ним Сомова неслучаен. Еще год назад, будучи за границей, он подробно описывал в письмах к А. Е. Измайлову празднества и народные гуляния во Франции и Австрии (см.: «Праздник в саду Тиволи (письмо к издателю “Благонамеренного” из Парижа)» // Благонамеренный, 1820. № 13). Термин «карусель» к 20-м годам XIX века обладал двумя основными значениями: карусель как вид конного состязания, игрища, и карусель как кружильное устройство. Причем для обозначения конной игры слово употреблялось чаще в мужском роде (см.: «Ода на великолепный карусель...» В. Петрова, «О каруселях» В. Л. Пушкина), а для обозначения катального устройства — в женском роде. В имени, где жил Сомов, судя по всему, имелись обе разновидности карусели (каруселя). В данной записи Сомов, конечно же, имеет в виду карусель конный. Обычно такой карусель совмещал в себе игровую сторону со зрелищной (классическим образцом каруселя в России был карусель, данный Екатериной II в 1766 году). Участники, одетые в маскарадные платья и представлявшие разные народности: славян, индейцев, турок и т. д., разделялись на четыре группы — кадрили. Скача верхом на лошади с большой скоростью по кругу, они должны были при этом продемонстрировать свою ловкость в так называемых карусельных играх. Наиболее распространенной была «колечная игра» (*jeu de bague*). Целью ее было поддеть на полном скаку копьём или шпагой кольцо, подвешенное, укрепленное, либо лежащее на земле. Существовали и игры следующего рода: всадник на всем скаку должен был вонзить шпагу, меч или копьё в специально поставленное чучело (вариант: разрубить чучело); на полном скаку попасть мячом в сетку или корзину, подвешенную в центре ристалища, и т. д. Все эти игры упоминает Сомов, хваля наездническое мастерство графа Чернышева. В отличие от конного каруселя, карусель как кружильное устройство была излюбленным развлечением прежде всего для дам. Живые лошади в такой карусели заменялись деревянными фигурками коней, располагавшихся на концах горизонтальных шестов, серединой насаженных на бревно-ось. Шесты приводились в движение слугами. Возможна была и иная конструкция: деревянные лошадки располагались на «ходячем круге», составлявшем центральную часть восьмигранного помоста. На нем размещались коляски для дам (одноколки), обитые сукном, «запряженные» деревянными «коньками» с натуральными гривами и хвостами и седлами часто из алого сукна. Верхом, либо в колясках, так же, как и в настоящем конном ристалище, можно было участвовать в карусельных играх-состязаниях: колечной игре, состязании с мячом, копьём, шпагой и др. (см.: Левинсон А. Г. Развитие фольклорных традиций русского искусства на гуляниях. Дис. на соиск. ученой степ. канд. искусствоведения. М., 1980. Гл. 1). (Примеч. пер.)

коленной игре, в состязании с мячом, шпагой и штандартом. Но он не решился на состязание с пистолетом из-за своей пугливой лошади. Этот малютка граф — прекрасный наездник. Он ездит верхом не хуже своего берейтора. Вечером я играл на бильярде с Кюрхнером.

Ce 15 Juin 1821.

La première nuit que j'ai passée à la campagne a été fort agréable. Hier je suis arrivé ici vers 9 heures avec Princesses. En passant près de la porte d'Yakowleff, j'ai fait arrêter la voiture et je suis entré un instant chez lui pour m'excuser de ce que je n'ai pas pu l'attendre dans la journée. J'ai demandé de nouvelles de M-me P... ff. Pas un souffle de vie: *il semble qu'on veut nous oublier tous les deux*. Il est vrai que ma lettre a été un peu dure — mais j'étais outré par l'injustice qu'on m'avait faite. Pouvait-on penser que je me fusse jamais permis une action reprochable et m'en écrire sur le ton que si c'était la vérité déjà prononcée? Et qu'ai-je besoin de lire ces maudits chiffons de papiers? De quel intérêt sont-ils pour moi?

En arrivant nous avons de faire un tour dans la campagne. Madame Golowine m'a reçu avec son amabilité accoutumée. Peu d'instant après les deux princesses sont venues. Nous avons été tous ensemble faire encore un tour jusqu'à grand canal. J'ai fait à M-me Golowine des compliments de la part des jeunes Dournoff, et elle n'a pas manqué de me demander des nouvelles de M-me Ponomareff. Il y entrait un peu de malice. Je lui ai dit simplement qu'il y a plusieurs jours que je l'aie vue et que je ne comptais pas la revoir de sitôt. Elle m'a fait comprendre que ces disputes ne font que resserer les liens qui nous attachent à l'objet aimé, c'est de quoi je douta fort, connaissant mieux mon caractère.

Il semble que je respire ici plus à mon aise. Aujourd'hui nous nous sommes promenés à 9 heures avec le Prince, Madame Golowine et la jeune Princesse. Puis je suis entré un instant chez M-me Golowine pour lui apporter le roman d'Iwangoë que j'ai acheté exprès pour le lui faire lire, car elle m'a tourmenté depuis longtemps en me priant de lui procurer ce plaisir. Sa petite a été charmante: elle est endormie dans sa petite calèche, tandis que je causais avec la maman. M. Gol. m'a dit de paraître avec elle sur le balcon, afin d'éviter mauvaise interprétation qui pourrait bien avoir lieu avec les personnes dont on est ici entouré. J'aime beaucoup le caractère paisible de cette dame, elle rit, elle plaisante, elle ne donne aucune espérance ni permet d'en avoir, et pourtant on passe son temps auprès d'elle avec beaucoup de plaisir, c'est une espèce d'amitié si ce mot peut être placé pour exprimer les rapports indifférents de deux personnes d'un sexe différent. Je l'ai plaisanté sur son voisinage avec les beaux anglais de la suite de Mylady Chagot; elle m'a raconté qu'il y a deux jours que cette dame l'a comblée d'amitiés et qu'elles roulaient ensemble en calèche sur les Montagnes Russes de la campagne de M-er N<aryschkine>, qu'elle l'a invitée à passer chez elle, mais qu'aimant la solitude elle s'y est refusée.

A 8 heures du soir.

J'ai lu quelques pages de mon Tasso, j'ai eu quelques moments de tristesse; voilà le domestique qui vient de la part du Prince pour m'inviter au carrousel.

A 11 heures du soir.

Tout le monde s'est retiré; je ne veux pas encore dormir; c'est surtout ce temps de réconciliation et de solitude qui me rend à mes tristes réflexions: j'ai été trop gai pendant toute la journée.

C'est pourtant une jolie chose que ce carrousel avec des calèches attelées de chevaux: la Princesse Natalie a fait tous les prix: M-me Golovine aussi. J'ai tant sautillé, j'asé, ri, qu'on m'aurait pu prendre pour un échappé de la maison jaune. Nous nous sommes ensuite balancés la P. Natalie, Mme Gol..., Mr Sweschnikoff et moi, sur la flotte aérienne et sur la balançoire française que le Prince a imitée du jardin de Tivoli. Le soir j'ai joué deux parties au billard avec Mme Golovine que je lui ai fait gagner et une avec la Princesse Barbe que j'ai gagnée: je donne 15 d'avance à chacune de ces dames. La Princesse Natalie s'est mise au piano, elle a joué et chanté la Ronde du Chaperon et la Romance du Comte Robert de la même pièce, puis *La Placida Campagna*. Jolie voix, très bonne manière, mais ce n'est pas celles de M-me P... ff: l'âme n'y est pas; j'en ai fait la remarque à Mr Sweschnikoff: il ne revient pas du tout ce que je lui dis du bien de M-me P... ff, lui qui aime tant les jeunes femmes. J'aime assez le chantre de M-me Golovine, elle ne surcharge pas sa voix de ce style maniéré et pourtant est agreable.

Ce 16 Juin à 11 heures du matin.

A neuf heures la Princesse Natalie m'a envoyé dire à M-me Golovine de venir la joindre pour aller ensemble au canal de Ligoff: je suis entré chez M-me et je l'ai trouvé toute en pleurs: son enfant se trouve mal depuis cinq heures du matin. Enfin l'enfant s'est un peu pacifié et nous sommes partis, en partie carré, comme je le dis en plaisantant à la Princesse: elle, M-me G., Sw. et moi; Kürchner est parti pour la ville avec le Prince. A moitié chemin du canal de Ligoff nous avons rencontré une dame anglaise à cheval avec un chevalier à côté, qui courraient à tout bride par la grande allée. C'est une des nouvelles connaissances de M-me Golovine. Après une promenade de 4 verstes nous sommes rentrés vers 11 heures. La jeune Princesse a été très aimable et très gaie: elle vient de recevoir une lettre du cmte Zuboff.

A 11 heures du soir.

La soirée s'est passée fort agréablement. A 7 heures le Prince est revenu de la ville. Mr. Golovine après avoir fui la partie de boston avec la Princesse, Sweschnikoff et moi est parti. La Princesse et sa fille sont allées en voiture,

le Prince, Kürchner et Sweschnikoff se promènent à pied, je reste dans le salon avec Md Golovine qui se met au piano. Tout en jouant et en chantant elle me fait subir un interrogatoire; elle plaisante, je veux me fâcher et je ris: les Princesses sont rentrées. La Princesse mère, nous voyant seuls, en a fait une remarque en ricanant: elle nous a apostrophé d'inséparables. Ce mot m'a choqué; je me rappelai un mot semblable de Baktine et l'ai envoyé à tous les diables. J'ai été un peu confus, et ne me suis remis qu'à bout d'une demi-heure lorsque Md Golovine m'a proposé une partie de billard. Je lui ai dit en riant que cette fois-ci je ne la laisserai pas gagner et lui ai tenu la parole dans trois parties que j'ai jouées avec elle.

La jeune Princesse s'est mise au piano; elle a joué et chanté plusieurs airs de Borgondio et même de Catalani avec beaucoup de goût et de justesse; elle a été d'une humeur charmante. Kürchner lui a proposé d'être son maître de chapelle ce qu'elle a accepté. *Di tanti palpiti*, *Ombra adorata*, *Corne cervo foribondo* etc. etc. ont été très bien exécutés. Kürchner finit par parodier quelques paroles des airs et je l'ai aidé. Nous avons fait rire la Princesse, le Prince et tout le monde. La gaité de Md. Golovine et de la jeune Princesse ont beaucoup contribué à rendre cette soirée fort agréable. La Princesse Barbe n'a pas reparu toute l'après-dîner.

Au souper, le Général Prévost de Lamianc arrivé, nous a raconté les nouvelles du jour, comme c'est ordinairement son habitude. Il nous a dit le malheur qui est arrivé à l'acteur Durand dont le bateau a choppé près de Krestowski ostrow: le pauvre Durand y a perdu un enfant à la mamelle.

Ce 17 Juin à 9 heures.

Nous avons déjeuné, le Prince, le général, M. Sweschnikoff, Kürchner et moi, à 8 heures. Un moment après le Prince est encore parti pour la ville. J'ai vu un moment la P-sse Natalie; elles vont aussi à Kamenny-ostrow chez la maréchale. Le temps m'ayant paru détestable, je pris le parti de rentrer. J'ai écrit une lettre à M. Rousseau qui quitte bientôt Paris pour aller transplanter son embonpoint sur le sol d'Angleterre.

A 11 heures du soir.

La soirée a été assez belle; après le carrousel et la promenade on s'est réuni au salon. J'ai joué au billard avec le Prince. Madame Golovine a chanté en se faisant accompagner par Kürchner qui faisait la grimace en exécutant plusieurs airs des romances françaises. Il a pourtant joué avec plaisir l'accompagnement de *Per una sola fila* et la musique du Prince Serge Golitzin pour la romance *Je l'aime tant* que Md. G. a chanté avec beaucoup de goût et de sentiment. Il faut que ce Prince Golitzin fût un homme sensible pour avoir composé un air si tendre et qui vient droit au cœur, surtout il est dans un parfait accord avec les paroles. Cette simplicité de sentiment, cette peinture d'un amour qui trouve dans toutes les choses l'objet de sa tendresse, se fait entendre et sentir dans la musique du Prince G. comme dans les vers de <np36.> Madame Golo-

vine a aussi chanté plusieurs airs des opéras comiques françaises qui ont rappelée au Prince le séjour à Paris: il a été ranimé.

Samedi, ce 18 Juin, 1821, à 11 heures.

Nous nous sommes promenés avec le Prince et les Dames. La Princesse Nathalie a été d'une très bonne humeur, parcequ'elle a vu la veille des futures belles-soeurs et qu'elle a reçu une lettre du Comte Zouboff.

La soirée s'est passée sur la plaine de jeux. Je me suis balancé sur la balançoire à cordes avec la Princesse Natalie: nous même mettions en mouvement la balançoire. J'ai saisi cette occasion pour lui parler de son promis. Elle a paru très satisfaite de l'intérêt que je prends à lui.

Dimanche, ce 19 Juin, à 11 heures.

Le Prince est parti pour Pawlowsk, parcequ'il ne veut point dîner chez l'Impératrice le jour de gala le 26 juin. Les deux princesses et Md Golovine sont allées chez la maréchale. La princesse Barbe est malade. Elle m'a communiqué la lettre de sa sœur qui lui écrit qu'Alexis et son aimable épouse ne sont partis que 4 Juin de Charkoff. C'est Schydlowsky qui en fait part à Savva Martynoff. Le général Prévot boit comme une souche; Sweschnikoff est allé se promener en bateau sous le golfe; Kürchner accompagne le Prusse. J'attends vainement le zéléteur Anastacéwitz pour aller avec lui en ville.

A 10 1/2 heures du soir.

Le Prince est revenu vers 7 heures. Nous avons eu beaucoup de monde dans le jardin d'en haut. Le Comte Schérémeteff et Mr Simonin ont paru contents de me revoir; je n'ai pas encore été cette année-ci à la campagne du Comte: il m'en fait des reproches. Les deux Miss Simples, toute la famille de Séverine, Lady Bouzot avec son époux; son cousin Cotzeroff. Mr Bainqueur et plusieurs autres anglais; les enfants du Cte Orloff-Dénissoff; ceux du Cte Konownitzin, beaucoup d'étrangers etc. ont peuplé le jardin. On se balançait aux différentes balançoires, on se roulait, on se promenait, et la soirée a été très animée. Nous sommes rentrés à six heures. Immédiatement après souper tout le monde s'est retiré, parce que le Prince s'est levé de très bonne heure et qu'il n'a pas eu le temps de faire sa sieste.

Demain j'irai en ville, j'irai aussi voir Md Ponomareff. Voyons de quel air je serai reçu.

Кажется, здесь мне дышится легче. Сегодня в девять часов мы прогуливались с князем, госпожой Головиной и молодой княжной. Потом я зашел на минутку к г-же Головиной, чтобы занести ей роман «Айвенго», который я специально купил, чтобы она смогла его прочесть: она давно уже одолевала меня просьбами доставить ей это удовольствие. Малышка ее была прелестна; она заснула в своей колясочке, пока я разговаривал с маман. Г-жа Головина попросила меня

появиться с ней на балконе, дабы избежать кривотолков со стороны окружающих нас здесь людей. Мне очень нравится спокойный характер этой женщины, она смеется, шутит, сама она не подает никакой надежды и не разрешает ее иметь, и тем не менее с ней проводишь время с большим удовольствием; это вид дружбы, если это слово может быть употреблено для обозначения безразличных отношений между представителями различных полов. Я подшутил над ней по поводу соседства двух красивых англичан из свиты миледи Шаго; она рассказала, что два дня назад эта дама проявила к ней чрезвычайно дружественное расположение: вместе они катались на Русских горках на даче у г-на Нарышкина, миледи приглашала ее к себе, но, любя одиночество, г-жа Головина отказалась.

8 часов вечера.

Я прочитал несколько страниц своего Тассо, у меня было несколько грустных минут; но вот и слуга, который пришел от имени князя пригласить меня на карусель.

11 часов вечера.

Все разошлись, я не хочу еще спать; это время успокоения и одиночества отдает меня во власть грустных размышлений: мне было слишком весело в течение всего дня.

Все-таки это хорошая выдумка — карусель с колясками, запряженными лошадьми; княжна Натали выиграла все призы, г-жа Головина тоже. Я столько прыгал, болтал и смеялся, что меня можно было бы принять за сбежавшего из желтого дома. Потом мы вместе с г-ном Свешниковым качались на подвесных лодках<sup>\*</sup> и на французских качелях, которые князь построил по образцу качелей Тивольского парка. Вечером я сыграл две партии на бильярде с г-жой Головиной, которая выиграла, и княжной Варварой, у которой выиграл я: обеим дамам я даю 15 очков фору. Княжна Натали села за фортепиано, она сыграла и спела рондо дуэньи и романс графа Роберта из этой же оперы, затем *La Placida Campagna*. Прекрасный голос, чудесная манера исполнения, но это не г-жа П... ва: души в этом нет. Я сказал об этом г-ну Свешникову, но он совершенно не откликнулся на те лестные слова, которые я произнес в адрес г-жи П...вой, — он, который так любит молодых женщин. Мне вполне нравится пение г-жи Голови-

\* Сомов упоминает известный в те времена вид качелей *flotte aérienne* — подвесные лодки, или *флот*, имевший некоторое сходство с каруселью. «Качающиеся на них сидят вместо кресел в лодочках, украшенных флагами разных цветов: круг, на котором лодочки сии оборачиваются, устроен наклонно к земле, и на нем сделаны местами то углубления, то возвышения, так что лодочки в самом деле как бы плавают по волнам» (Благонамеренный, 1820. № 13. С. 34 — *Примеч. пер.*).

ной, она не насилует своего голоса изощренным исполнением и тем не менее приятна.

16 июня, 11 часов вечера.

В девять часов княжна Натали послала меня за г-жой Головиной составить ей компанию в прогулке к Лиговскому каналу; я вошел к мадам и застал ее всю в слезах: ее ребенок плохо себя чувствует с пяти часов утра. Наконец ребенок немного успокоился, и мы пошли на увеселительную прогулку парами, как я шутя назвал ее в разговоре с княжной: она, г-жа Г., Свешников и я; Кюрхнер уехал в город с князем. На полдороге к Лиговскому каналу мы встретили англичанку верхом в сопровождении кавалера, они скакали во весь опор по большой аллее. Это одна из новых знакомых г-жи Головиной. Пройдя 4 версты, мы вернулись домой к 11 часам. Княжна была очень мила и весела: она только что получила письмо от графа Зубова.

11 часов вечера.

Вечер прошел очень мило. В 7 часов князь вернулся из города. Г-н Головин, отказавшись от партии в бостон с княгиней, Свешниковым и мной, ушел. Княгиня с дочерью отправились на прогулку в карете, князь, Кюрхнер и Свешников прогуливались пешком, я остался в салоне с г-жой Головиной, которая села за фортепиано. Во время пения и игры она подвергла меня допросу, она шутила — я хотел рассердиться, но рассмеялся; в это время княгиня с княжной вернулись. Княгиня, заметив нас одних, обратила, подсмеиваясь, на это внимание, назвав нас неразлучными. Эти слова меня неприятно поразили; я вспомнил подобные же, произнесенные Бахтиным, и послал их ко всем чертям. Я почувствовал себя смущенным и оправился лишь через полчаса, когда г-жа Головина предложила мне сыграть партию на бильярде. Я смеясь сказал, что на этот раз не позволю ей выиграть — и сдержал свое обещание в трех партиях, которые мы с ней сыграли.

Княжна села за фортепиано; она сыграла и спела несколько арий Боргондио и Каталани с большим вкусом и тактом; она была в прелестном настроении. Кюрхнер предложил ей быть ее капельмейстером, и она согласилась. *Di tanti palpiti. Ombra adorata. Come cervo fogibondo* и т. д. и т. д. были великолепно исполнены. Под конец Кюрхнер стал пародировать слова некоторых арий, я его поддержал. Мы насмешили князя, княгиню и всех остальных присутствовавших. Веселость г-жи Головиной и княжны во многом способствовала тому, что вечер удался. Княжна Варвара не появлялась с обеда.

Пришедший во время ужина генерал Прево де Ламьянк рассказал нам по своему обыкновению новости дня. Он сообщил нам о нес-

частью, приключившемся с актером Дюраном, лодка которого перевернулась вблизи Крестовского острова: бедный Дюран потерял при этом грудного младенца.

17 июня, 9 часов.

Мы, то есть князь, генерал, г-н Свешников, Кюрхнер и я, позавтракали в 8 утра... Вскоре князь уехал в город. Я мельком видел княжну Натали; они тоже едут на Каменный остров к жене маршала. Так как погода была отвратительная, я решил вернуться домой. Я написал письмо г-ну Руссо, который вскоре покидает Париж, дабы переселить свое упитанное тело на английскую почву.

11 часов вечера.

Вечер был довольно хорош; после каруселя и прогулки все собралось в гостиной. Я играл на бильярде с князем. Г-жа Головина пела под аккомпанемент Кюрхнера, который морщился, исполняя мелодии французских романсов. Тем не менее он с удовольствием исполнил аккомпанемент *Per una sola fila* и музыку князя Сергея Голицына на романс *Я так ее люблю*, который г-жа Г. исполнила с большим вкусом и чувством. Видимо, этот князь Голицын был человеком весьма чувствительным, сочинив нежную мелодию, так много говорящую сердцу, тем более, что она еще и идеально соответствует словам. Эта простота чувства, изображение любви, которая во всем находит предмет своего обожания, ощущается, слышится в музыке князя Г., как и в стихах <нрзб.> Госпожа Головина спела множество арий из французских комических опер, которые напомнили князю о его пребывании в Париже; он был оживлен.

Суббота, 18 июня 1821,

11 часов.

Мы совершили прогулку с князем и дамами. Княжна Натали была в очень хорошем настроении, поскольку она повидалась накануне со своими будущими невестками и получила письмо от графа Зубова.

Вечер прошел на спортивной площадке. Я качался на веревочных качелях с княжной Натали, мы даже раскачали качели. Я воспользовался случаем, чтобы поговорить с ней о ее женихе. Кажется, она была весьма довольна тем интересом, который я проявляю к нему.

Воскресенье, 19 июня,

11 часов.

Князь уехал в Павловск, так как не хочет обедать у императрицы 26 июня во время празднества. Обе княжны и г-жа Головина от-



правились к супруге маршала. Княжна Варвара больна. Она показала мне письмо своей сестры, которая пишет, что Алексей и его милая супруга лишь 4 июня выехали из Харькова. Об этом сообщил Савве Мартынову Шидловский. Генерал Прево пьет мертвую, Свешников отправился на прогулку на лодке под парусом; Кюрхнер сопровождает пруссака. Я тщетно ожидаю соревнователя Анастасевича, чтобы поехать вместе с ним в город.

В 10<sup>30</sup> вечера.

Князь вернулся около 7 часов. У нас было много народу в верхнем парке. Граф Шереметьев и г-н Симонен были рады меня увидеть; в этом году я еще не был на даче у графа, за что он мне попенял. Обе мисс Симплз, вся семья Северина, леди Бузо с супругом, ее кузен Кочеров, г-н Бэнкер и другие англичане; дети графа Орлова, Денисова, графа Коновницина, много иностранцев и проч. заполнили сад. Качались на различных качелях, катались, гуляли, вечер был очень оживленным. Вернулись мы в шесть часов. Сразу же после ужина все разошлись, так как князь встал рано и у него не было времени отдохнуть после обеда.

Завтра я поеду в город и зайду к г-же Пономаревой. Посмотрим, каким образом меня там примут.

Ce 21 Juin. Mardi, à 11 heures du matin.

J'étais arrivé en ville lundi à 11 heures. J'ai passé tout de suite chez Noroff, mais il était déjà sorti. J'ai passé ensuite à la banque d'amortissement et j'y suis resté plus d'une heure avec Mr Golovine. En sortant de la banque, j'ai été voir ce qui se fait chez Sleunine. Rien de nouveau. J'ai dîné chez Mr. Golovine, où nous n'étions que deux. Instantanément — après dîner, je suis allé chez M-me Ponomareff, pour voir quel accueil l'on me ferait. Je l'ai trouvée prête à se mettre à table, avec son époux, son frère et Panaïeff. Ell m'a fait l'accueil assez froid d'abord mais dans la suite nous nous sommes raccomodés. Ce n'est pas que je ne lui aie fait une petite reprimande pour le billet qu'elle m'avait écrit; elle a demandé à voir ce billet et l'a déchiré. Je me suis mis à genoux devant elle, je lui ai demandé pardon pour la lettre que lui ai écrit à ce sujet, en la suppliant de la déchirer aussi, mais elle m'a répondu qu'elle la garderait comme toutes les autres qu'elle tient de moi. Je n'ai pas insisté davantage, mais je lui ai dit que je suis désolé d'avoir perdu son billet, parcequ'il était le seul que j'ai eu le bonheur de recevoir d'elle. Elle m'a dit de ne pas désespérer d'en avoir d'autres. J'ai été très gai, même trop gai, sur quoi son frère m'a fait la remarque m'ayant dit qu'il ne connaissait personne qui soit plus que moi garçon sans souci. Comme c'était le jour des fiançailles de sa sœur avec Mr Andreyeff Madame m'a prévenu qu'ils devaient y aller; et moi, ayant vu que Panaïeff doit être aussi du bal, je suis parti de bonne heures. J'ai voulu faire une visite à l'aide de camp, Dournoff, mais je ne l'ai pas trouvé au logis, ni son frère.

J'ai donc été obligé de rentrer chez moi, par la grande pluie, qui m'a mouillée presque jusqu'aux os. N'importe, j'ai eu quelques moments agréables.

Je ne sais si je pourrai tenir ma promesse à Md de venir passer la journée de mercredi chez elle; je le ferai volontier, si rien n'empêche.

Ce 22 Juin, à 11 heures du matin, Mercredi.

La matinée est superbe. Le Prince est allé en ville. Je voudrais aller dîner chez le Comte Pouchkine, mais comme on dit que nous aurons du monde aujourd'hui, je veux bien rester à la maison.

A 11 heures du soir.

Nous avons eu à dîner Mrs Toumansky et Golovine. Mr Anastacéwitz est aussi venu. A 7 heures la Princesse Anne Scherbatoff avec ses deux filles, le Prince Dmitry, Mrs Moreau et le Docteur Rosemann, étant venus, on a été au carrousel. Le cheval du Prince se cabra et manqua de renverser le cabriolet où se trouvait le Prince avec la Psse Natalie qui criait de toutes ses forces. Je suis accouru dans l'arène et lui ai présenté la main pour l'enserrer du cabriolet. Heureusement il ne lui est arrivé rien de fâcheux. Puis nous nous sommes promenés en bas sur l'étang du jardin avec le Prince Dmitry, nous nous sommes balancés, etc.

A propos des promenades sur l'eau. Hier les trois jeunes Comtes Konownitzin se promenaient en bateau sur la pièce d'eau du jardin de Kra <нрзб.>. Le père était sur le bord. Tout à coup le bateau a chaviré et les jeunes gens s'enfoncent dans l'eau. Le père les voit tomber et ne peut les secourir.

Ce 30 Juin à 7 heures du matin.

La fête du Prince s'est passée d'une manière assez <tran> — quille. Le matin il a reçu les visites et félicitations <de> ses connaissances de voisinage. Nous avons eu aussi <quelqu>es personnes à dîner. Le Comte Orloff-Denisoff <a> été, ainsi qu'Alexis avec toute la famille Metschnikoff, après 7 heures presque tout le <mon>de est parti. La maigre mine de la Psse les a dispersés. <...> l'anniversaire de la naissance de la princesse Natalie: <nous> aurons beaucoup de monde le soir, de la musique; <les> jeux seront en mouvement etc. etc.

Ce 31 Juin, à 7 heures du matin.

*Homo proponit, et deus disponit.* Je suis porté cependant à croire que le bon Dieu ne se mêle point de tous les vains projets de l'homme, tels que ses fêtes, rejoissances etc. et qu'il a créé, exprès à cet effet, une fatalité qui est presque toujours là pour contrecarrer les plaisirs et les jouissances que l'homme se promet.

---

\* Край письма оборван. В скобках предположительно восстановлены утраченные части слов.

La matinée d'hier a été très pluvieuse: il n'y a presque pas eu de beau temps. J'ai félicité la Psse Natalie chez son papa, à 9 heures du matin. Vers une heure d'après midi je suis venu chez la Psse mère: je trouve la jeune Psse sur la terrasse et lui demande si Md sa chère maman voudrait bien recevoir mes félicitations et hommages. Elle entre chez elle, reparait et me dit que je serais le bienvenu, c'est à quoi je ne m'attendais guère, sachant que la Psse fut la veille continuellement occupée d'Alexis et de sa charmante épouse, ce qui n'a pas dû contribuer à la disposer en ma faveur. J'ai été d'autant plus surpris de l'accueil gracieux, qu'elle m'a fait; elle m'a parlé plus d'une demi heure avec un sourire plein de grâces qui ne lui est pas toujours propre. Après maints quolibets coup sur coup renoués par S. Exell. la Psse, moi et une tierce personne qui était la Psse Natalie, car nous n'étions que trois, j'ai pris congé d'elles, et je suis rentré pour faire ma toilette.

22 июня, 11 часов утра, среда.

Утро великолепное. Князь уехал в город. Мне хотелось бы пойти на обед к графу Пушкину, но говорят, что у нас будут сегодня гости, поэтому я останусь дома.

11 часов вечера.

С нами обедали г-а Туманский и Головин. Г-н Анастасевич также пришел. В 7 часов приехали Анна Щербатова с дочерьми, князь Дмитрий, г-н Моро и доктор Роземан и все отправились на карусель. Лошадь князя встала на дыбы и чуть было не опрокинула кабриолет, в котором находились князь и княжна Натали, кричавшая изо всех сил. Я поспешил в манеж и подал ей руку, чтобы выволить ее из кабриолета. По счастью, ничего страшного с ней не произошло. Потом мы с князем Дмитрием прогуливались на лодке по пруду нижнего парка, качались на качелях и проч.

Кстати о водных прогулках. Вчера трое молодых графов Коновницких катались на лодке на пруду <нрзб> парка. Отец был на берегу. Внезапно лодка перевернулась и молодые люди оказались под водой. Отец видел, как они падали, и не мог их спасти.

30 июня, 7 часов утра.

Праздник князя прошел довольно спокойно. Утром он принимал визиты и поздравления своих знакомых, живущих по соседству. На обеде также присутствовало некоторое количество человек. Был граф Орлов-Денисов, а также Алексей со всем семейством Мечниковых; после 7 часов почти все разошлись. Кислое выражение лица княгини их распугало. ... день рождения княжны Натали, у нас будет много народу вечером, музыка, игры и т. д. и т. д.

---

В этом месте и в некоторых других край письма оборван.

31 июня, 7 часов утра.

*Homo proponit, et deus disponit*. Я склонен, однако, думать, что Боженька не вмешивается во все пустые помыслы человека, такие, как празднества, увеселения и проч., проч., и что он создал специально для этого провидение, почти всегда готовое помешать удовольствиям и радостям, на которые надеется человек.

Вчерашнее утро было очень дождливым, небо почти не прояснялось. Я поздравил княжну Натали в кабинете у ее отца в 9 часов утра. Около часа дня я пошел к княгине; на террасе я нахожу молодую княжну и спрашиваю, сможет ли г-жа ее любезная матушка принять мои поздравления и свидетельства глубокого почтения. Она входит к ней, вновь появляется и говорит, что меня с радостью ждут, — то, на что я вовсе не рассчитывал, зная, что накануне княгиня была постоянно занята Алексеем и его очаровательной супругой, а это не должно было расположить ее в мою пользу. Тем более я был удивлен ласковым приемом, который она мне оказала; она разговаривала со мной более получаса с милой улыбкой, которая ей не всегда свойственна. После множества шуток, которыми мы обменялись с княгиней и еще одним присутствующим лицом, которым была княжна Натали — ибо мы были втроем, — я попрощался с ними и вернулся к себе, чтобы переодеться и привести себя в порядок.

Ce 7 Juillet 1821. A la campagne.

Dix sept jours sans vous voir, Madame! Jugez donc si mon pauvre cœur devrait être déchiré. Mille fois j'étais sur le point d'aller me précipiter, voler à vos pieds, mais un génie ennemi me suscitait toutes les fois quelques fâcheuses contrariétés, quelque circonstance qui venait là-dessus près pour déjouer mes résolutions. Pour comble d'infortune, le Prince s'étant demis le pied devait garder la chambre et moi son compagnon dans les affaires et dans les adversités, je devais rester cloué au chevet de son lit. Enfin je saisis la première occasion favorable qui se fût présentée, je cours, je vole me prosterner devant ma souveraine et lui réitérer foi et hommages jurés tant de fois et si sincèrement.

Ne croyez pas cependant, Madame, que cette cruelle absence eût diminué, affaibli les sentiments dont mon âme pour vous est remplie! Eloigné de vous, peut-être oublié, effacé de votre souvenir, mes plus chères pensées, celles que je caressais le plus dans mon imagination vous furent toujours consacrées; je ne vivais, ne respirais que dans l'avenir, que dans l'espérance de pouvoir un jour vous les transmettre. Eloigné de vous, j'étais sans cesse entouré de votre image; je ne lisais que les ouvrages dont nous avons parlé ensemble, que ceux que vous avez eu la bonté de me prêter. Je suis devenu plus dévot, je prie le bon Dieu avec fureur deux fois par jour et c'est afin de pouvoir

\* Человек предполагает, а бог располагает (лат.).

redire plus souvent votre nom que j'ai placé dans mes prières. Vous pouvez bien deviner que votre image est alors l'ange tutélaire qui volage autour de ma <нрзб.> et si je desirais voir celui que le bon Dieu m'avait donné à ma naissance, j'aurais voulu qu'il m'apparût sous vos traits: je l'adressais, je l'en aimerais davantage. J'aime ici la solitude: c'est alors que je suis seul avec vous. Je m'imagine encore d'être auprès de celle que j'adore, j'admire ses grâces, ses talents, son amabilité, je me la représente sous tous les aspects, sous toutes les formes, avec cette variété d'humeur qui la caractérise. Tantôt je crois la voir rire, j'écoute ses babils aimables et enjoué, où l'esprit perce toujours à travers le voile de la gaieté dont elle veut le cacher, tantôt je l'entends chanter ces airs que j'aime tant et qu'elle embellit de sa voix; je deviens tout ouïe, je n'ose plus respirer, je crains de perdre le moindre son, la moindre inflexion de sa voix. Tantôt je l'entends raisonner, parler de la littérature, avec ce goût pur, cette justesse du tact juste qui lui sont naturel. Tantôt je suis absorbé dans la contemplation de ses perfections extérieures, rien ne m'échappe alors: cette figure noble et spirituelle, ces traits qui ont pour moi la régularité d'un beau idéal, cet heureux accord de la beauté et des grâces, ce sourire plein d'appâts, ces yeux dont le feu embrasse le téméraire qui ose les fixer, cette blancheur éclatant du teint, cette peau si tendre et si mince, ce joli pied si élégant, que les Grâces elles-mêmes avaient moulé sur modèle, ce beau sein, ce sein, le trône de l'amour et de la volupté... mes yeux croient se promener, caresser tous les contours de ce corps enchanteur, mon imagination m'entraîne, m'égare, je m'enflamme, je brûle, je m'anéantis par l'excès de mes sensations si cuisantes, de mes rêves si séduisantes!...

Helas! qu'elle est triste, cette réalité que je vois autour de moi lorsque j'ose descendre sur la terre après avoir quitté ces belles régions des illusions où mon imagination m'emporte! Je me vois seul, dans le désert, les beautés de la nature ne font sur moi aucune impression et celui de l'art moins encore.

Je vous ai dit une fois, Madame, que j'ai souvent des idées qui paraissent n'avoir pas le sens commun. Ici, loin de vous, c'est encore pire. Voici quelques une de ces aberrations d'une imagination effrénée qui cherche à travailler dans l'absence d'une réalité plus douce. Je fais des reproches à la nature, à ma malheureuse étoile non pas déjà de ne m'avoir pas fait beau et bien-fait, mais de ne m'avoir pas créé laid et difforme. En voilà la raison: vous seriez d'abord rebutée par mon extérieur, puis vous auriez comparé vos perfections avec ma difformité, vous auriez été frappée par le contraste, vous auriez dit: pourquoi cet être est-il si laid tandis que je suis si belle? pourquoi doit-il rebuter tout le monde tandis que j'attire... et vous m'auriez plaint: et dans la plainte de vous est encore un bonheur plus grand du moins que de vous être tout-à-fait indifférent... Vous auriez peut-être voulu me consoler mon triste sort et ce serait déjà une jouissance!... Ah! veuillez me consoler de aussi d'une similitude de l'espérance, veuillez pénétrer dans le fond de mon cœur, y lire l'amour qu'il vous porte et alléger le poids qui le pèse! Mes souffrances deviendraient autant de félicités à proportion que vous daignerez croire à la

sincérité de mes sentiments, de ces <hp36.> que je ne saurais mieux peindre qu'en répétant sans cesse

Tout à vous pour l'éternité  
O. Somoff.

Ce Août 1821.

Me voilà rapproché des lieux que vous habitez. Madame! j'ai quitté la brillante campagne pour me réinstaller de nouveaux sous l'humble toit qui me sert d'abri à Petersbourg. Que de plaisirs, que de dissipations me promettait le séjour de la ville! Mes amis, Schydowski et Toumansky sont de retour, St. Thomas est là pour me conter ses aventures d'Italie et d'Espagne, pour me rappeler sa belle patrie et de me tanner de temps en temps des bordées de calembourgs et de jeux de mots. La douce amitié va dorénavant rouvrir ses bras pour me recevoir: en sera-t-il autant de l'amour? — Non! mon cœur me le dit et ce prophète, bien qu'il ne fût consolent, ne m'a jamais trompé. C'est une triste chose que l'espérance qui ne voit point de terme à ses atteints: on aime à se nourrir des vains illusions qui s'évanouissent au moindre souffle de la réalité, et c'est alors que le cœur gémit de voir disparaître les douces erreurs dont il était berlé.

---

Votre opinion, Madame, doit être en toutes choses la boussole de la mienne. Dans mes lettres suivantes je prendrai la liberté de vous entretenir sur la littérature Russe, sur la littérature de notre langue maternelle; ce sujet ne peut pas vous paraître ennuyeux, Madame, à vous, qui aimez les productions de nos poètes et de nos prosateurs. Je me promettrai donc d'y énoncer mes sentiments sur chacun de ceux de notre temps qui se sont acquis une sorte de célébrité. Mais je vous prie, Madame, de m'éclairer par vos observations, de m'aider par votre lumière: je m'en rapporterai toujours à votre jugement si sain, à votre tact si juste, à votre goût si pur. Espérant d'avance en votre indulgence, je dépose à vos pieds l'hommage des sentences d'amour et d'adoration, dont mon cœur est rempli pour vous, Madame, pour vous qui êtes mon idéal de tout ce qui est beau, de tout ce qui est sublime.

Tout à vous pour la vie  
Oreste Somoff.

## СТРАЖДУЩИЙ ПОЭТ К ИЗДАТЕЛЮ БЛАГОНАМЕРЕННОГО

М. Г.

Покорнейше прошу вас о напечатании в издаваемом вами журнале прилагаемого при сем отрывка моих беспечных досугов, излившейся из сердца элегии: она последняя; я простился с музами — и навсегда повесил цевницу — потому... потому что... слушайте, и сочувствуйте мне:

До прошедшей весны я жил по делу целые три года в Петербурге. Еще с первых дней юности расцветали во мне наклонности Поэта; по прибытии же в столицу новые, трогательные элегии и баллады пленили меня, и гармония романтической поэзии наполнила весь мой слух и душу. Баловни-поэты, воспевающие в тиши времена года, говор пернатых, родные края и приветы юных красот — очаровали меня, а послания их друг к другу и к юным знакомым подругам первых, незабвенных лет — наполнили чувства мои счастливою негою; кроткая спутница ее лень дала сердцу моему тихий приют в самом себе. Посвятив себя досугу, оставил я дело свое в небрежении и, одинок, на Петербургской стороне, в тиши Зеленой улицы, взирая на чашу развесистых берез, поверял в чужбине звукам цевницы моей тайные ощущения унылого поэта. Так миновали три весны: несколько элегий, послания к родным, друзьям, к рощам и зефиру юности и воспоминания о ней были плодами моего досуга. Не желая помещать их в журналах, и пленяясь беспечным разнообразием «Полярной Звезды», хотел я на немой привет ее отозваться ответным отголоском. Уже приводил я в порядок знакомые звуки сердечного рассказа, для помещения их в издании «Звезды» юного 1824 года, как вдруг со сжатым сердцем, коего безмолвных ощущений не могу передать вам, прочитал указ о потере моего дела. Сей переворот игривой Фортуны оставил меня не только почти без имени, но и без возможности наслаждаться уединением столицы! В тоске советовался я с сердцем — отзыв его мелькнул, как молния... и легкокрылый зефир, быстрым полетом, сваял со взоров моих уныние, наваянное указом.

К вам, к вам, ручьи, кусты родные!  
Я понял ваш немой привет,  
Призывы сердца молодые,  
Призыв знакомых, прежних лет!

Душе любимые долины,  
И прежняя родная сень,  
И юности беспечной лень..!  
Примите друга из чужбины! —

Я уложил книги и бумаги, бросил последний взгляд на гостеприимный кров и перенесся душою в любимый сердца край, к неоплаканной радости вечно памятных юных дней — златокрылых, мечтательных. Семь раз в пути ловил я очарованным взором улетающие утренние туманы; в осьмое утро кибитка вскатилась на знакомый пригорок; я въехал в рощу, пробираюсь...

Вдруг роща ветви растворила,  
Открылся ряд родных домов...  
И вот бывалый, верный кров,  
Младенчества свидетель милый.  
Вот скромных хижин красота,  
Вот шум дубрав под тень зовущий,  
И ручеек в тиши бегущий,  
И лес, и леса пустота.  
И вот Поэт, с душою мирной,  
Спешит на голос ваш призывный.

Природа для меня обновилась. В домашнем углу повесил я моих Пенатов, и с растроганною душою предался пленительным мечтам, ласкающим воображение юных моих досугов.

Как сельская красавица, румянилась заря, когда рассеявшийся утренний туман открывал ей меня, уже сидящего на росистом пригорке; она же вечером провожала меня в рощу к ручейку, коего журчание, соглашаясь с говором пернатых, вторилось в моем сердце и лелеяло мысли. Иногда

С закатом летняя денница,  
В прохладу рощицы густой,  
Сзывал пастушек резвый рой  
Призывный звук моей цевницы,  
И — часто юные певицы  
С ним глас сливали молодой.

Но переменчиво сердце Поэта — переменчивы и его досуги: часто —

Я одинок, в дичи лесов,  
На утлый пень главой склонялся,  
Глядел на сумрачный покров,  
И тихой думе предавался.  
На бледный солнца луч взирал,  
Следил закат его унылой,  
Дружился с будущей могилой...  
Дней давних призраки сзывал.



Друзья-поэты посещали отшельника, и из них всех пламеннее, всех игривее, в унылых восторгах пестрой мечты, юный, шестнадцатилетний сын брата моего больше всех сочувствовал моему сердцу и сладкой бездейственности разнообразной лени. (Я для того упоминаю об нем, что вы его узнаете: он отзовется к вам; он поделится с вами душевными ощущениями). Что счастливее дружбы?

Когда сойдет туман на сумрачные горы,  
И с ним в уютный мой, домашний уголок  
Поэтов-баловней пленительный кружок  
Придет — и принесет душевны разговоры,  
И шутки скромные и дружеские споры;  
Тогда за чашею пенистого вина,  
За полной кружкою некупленных брашны,  
Во мне юнеет кровь, душа собой полна,  
Блажу Пенатов я, блажу мой кров домашний!

Но бывали минуты, когда на одинокое сердце мое навевалась тайная грусть; когда обольстительница младость, отгоняя равнодушные мечты, нашептывала мне любовь.

Я зрел, манил тебя, о призрак черноокий!  
Когда густых полей в священной тишине,  
Как в легком облаке, спускалась ты ко мне;  
Но отлетала ты — и, странник одинокий,  
Один с своей тоской...  
Напрасно я искал твой образ молодой.  
Я слышал запах ароматный  
И легкий шорох твой в тиши,  
И нежный голос, сердцу внятней,  
И тихий, тайный вздох души;  
Не слышал лишь любви привета!  
Хотел небесную обнять,  
Искал, мой друг, тебя назвать;  
Но нет для друга эпитета!

Таковы были ощущения праздного сердца и рой моих мечтаний! Но что человек? Он стремится к невидимой цели, заходит за рубеж земного, вперяет взоры в сумрак будущего, ничего не видит... вдруг разверзается бездна... мысли его замирают, хладеют, читайте, читайте... вот абрис моей истории.

Однажды летом, любуясь резвою игрою мотылька, следил я его с ветки на ветку и играл с ним; я гонялся — а он, подобие зефира, шутил над моими усилиями. Полевой божок скрылся за кусточек; обманутый, хотел я обежать кругом, и всею силою ударился правым глазом об сук зеленой, развесистой ивы, сук — увы! отцветший. Сей удар навсегда лишил меня глаза.

Однако ж прогулки мои продолжались. Сын природы, питомец мечты, более всего любил я, в часы вечерние, под густым свесом деревьев столетних, распростершись на мягкой, влажной траве, и опершись рукою на утлый пенёк — на пенёк, символ разрушения, свидетель лет минувших, уныло смотреть в туманную даль, и в мерцающих ее призраках искать взором таинственного — будущего. Но сии невинные упражнения погубили физическую мою оболочку: я получил сильные ревматизмы; и осенью, когда умирающая природа покрыла небо черными тучами, когда умолк напев пернатых, и я по целым часам взирая на бунтующие ветры, срывающие зеленую одежду с шумящих надо мною деревьев, предавался грустным размышлениям, крупный проливной дождь, промочив меня несколько раз, заставил слечь на одинокий, безбрачный одр и терзаться до конца протекшего года мучительными страданиями. Дух мой погас, я лишился способности устраивать в порядок мысли и упустил время издания «Полярной Звезды». Теперь не могу даже петь и моих страданий: боль во всем теле и почти совершенное лишение правой руки не позволяют мне более поручать бумаге душевных отголосков. С трудом мог я написать сие письмо и прилагаемую элегию. В ней мало искусства, но язык души не украшается. Прошу напечатать ее в вашем журнале. Я бы дождался издания «Полярной Звезды» будущего года, но болезнь моя усиливается и? может быть, гений смерти уже носится надо мною. Притом простите самолюбие поэта: я уже не столь желаю видеть стихи мои напечатанными в «Звезде», ибо не могу их там читать: лежа, и одною рукою, трудно мне держать сию прелестную, но почти кубическую книжку; а одним глазом трудно разбирать мелкую и бледную печать ее. Издание сего года племянник мой списывает для меня в тетрадь. Простите! Если возвратятся силы мои, и с обновлением природы обновятся прежние черты сердца — я еще отзовусь к вам.

Мотыльков.

### ЭЛЕГИЯ

*Мечта улетает от правил меры.  
Разум сгорает в пламени сердца.  
Зубин. Прогулка VI, стр. 25.*

Ты заснуло навсегда  
Счастье лет заснувших;  
Нет тебя... и нет следа  
Радостей минувших.  
Мрачен мне и светлый день  
И небес мерцанье:  
Скучна ночи грустна тень  
И луны сиянье.

Где ты, образ златокрылой  
Пестря моя мечты?  
Где знакомый, где игривой  
Отголосок красоты?  
Юности беспечной младость,  
Счастье прежних бывших дней,  
Сердца девственная радость,  
Призрак памятный для ней?  
Миновалось, миновалось!  
Цвет увял души моей;  
Скорь, как змий, мне в грудь  
закралась

И грызет и точит в ней.  
Я напрасно взор тоскливый  
Простираю в темну даль;  
Бледен призрак молчаливый,  
Безответен, как печаль;  
И померкшими очами  
Кажет путь далекий мне,  
И манит с собой перстами  
И скрывается во тьме.

Уныл, взбираюся на сумрачную гору,  
Гляжу на вид густой, на вид печальных туч:  
Их сер навислый путь — и сед и мрачен взору!!  
Угрюмые! где ж мне блеснет приветный луч? —  
Нигде! — Иду один из дичи опустелой  
И вторю отзывы души осиротелой.

Страдалец, с тоскою  
Я встречу весну;  
И с сирой душою  
Я лето начну;

И — может быть — осень, бушуя в лесах,  
Осыплется в листьях на хладный мой прах.  
Быть может, к забытой могиле моей,  
Когда зелениться вновь станет весна,  
С душистой природой, с расцветом полей  
Придет и она.

Мотыльков <С. Д. Пономарева?>

## А. Е. ИЗМАЙЛОВ

### ИЗ ПИСЕМ К ...

Вы почиваете, а я давно не сплю;  
Об вас все думаю, все вами занимаюсь —  
Ах! С... Д..., как много вас люблю!  
Я в Царское Село сегодня собираюсь  
И тамо на коре дерев или древес  
Тем карандашиком, что вы мне подарили.  
Писать я буду букву: S.  
Ах! если б вы меня любили...  
1-го июня 1823.

---

Навстречу мне толпы  
Различного народа.  
Но на *блаженную* уже проходит мода:  
Не служат панихид ей более попы,  
Поминок более не правят  
И на могилу свеч не ставят:  
Не приказал митрополит —  
И говорят, что он сердит  
На протопопа, плута, вора,  
Мошеника отца Егора.  
11 июня 1823.

---

Ах! Пожалейте обо мне!  
Дрожащею рукой пишу я вам при свечке —  
Я был на Выборгской сегодня стороне  
И где ж? на Черной речке!  
Оттуда в самый дождь пришел теперь, измок!  
Как не измокнуть без шинели,  
Без зонтика... болит ужасно левый бок...

Простите же... пора добраться до постели  
Боюсь, чтобы не занемочь...  
Простите... добра ночь!

13 июня.

---

Мы ели много, много пили,  
Шумели, спорили, шутили;  
Нас было пять, шесть остряков —  
Другие же не отличались;  
Но все от наших острых слов  
До слез от всей души смеялись.

Злодей *Каплюшка* преважно спросил меня: «вы ведь служили в *Софийском* полку?»

С сим словом пробка к потолку,  
Вино в покалах зашипело,  
Заискрило и забелело.  
Я ничего не отвечал,  
Вздыхнул и, молча взяв покал,  
Вдруг выпил за здоровье ваше!..  
Как жаль, что Общество разрушилося наше!

---

Вхожу и вижу тут хозяина жену,  
А на столе под образами  
(Никак уж не солгу пред вами) —  
Большого черта Сатану  
С пристрашными усами,  
С предлинными сетями.  
А у него в сетях мещане и купцы,  
Дворяне и крестьяне,  
Монахи и попы глупцы.  
Епископы, цари — и все ведь християне.  
Еще я видел там  
Довольно сплетниц дам;  
Поэтов не было — не только фабулистов,  
Но даже журналистов.

4 июня 1823.

---

Ну, хорошо же вас *огрели*,  
Как в Волге-матушке реке

От бережка недалеке  
 По шейку вы в воде сидели.  
 Что ж следал верный ваш Гектор?  
 О старый пес! какой позор!  
 Зачем тогда я не был с вами?  
 Уж как бы я отделал их!  
 Убил бы, право, обоих!  
 А вас... ну догадайтесь сами.  
 27 (?) авг. 1823

---

С. Д. П.

С Тимковским цензором осмелюсь вас сравнить —  
 Приличнее сего не знаю я сравненья:  
 Как он, выводите меня вы из терпенья;  
 Хочу, но не могу никак вас разлюбить.  
 Обезоруживал меня он добротой,  
 А вы любезностью своей и остроюю.  
 21 сент. 1823.

---

Рассудок говорит:  
 «К С... не ходи»,  
 А сердце все твердит:  
*Зайди, зайди, зайди.*

---

Подумаешь, вот в самом деле,  
 Как счастливы бывают и скоты.  
 Я вас не вижу по неделе,  
 И тут, злодей! всегда мне ты  
 Во всем препятствуешь, мешаешь  
 И письма все мои читаешь.  
 Постыл теперь стал фабулист:  
 Нет в сердце для него кварталеры  
 У новой ветреной Венеры —  
 Вступил туда Кавалерист.  
 Пора, пора принять мне меры,  
 Пора, пора умнее быть,  
 Не тяготить других собою.  
 Прости, София! Бог с тобою! —  
 О если б мог я разлюбить.  
 16 ноября 1823.  
 (ГНБ. ф. 310. № 2)

## ПРИМЕЧАНИЯ

### Глава I. ПЕТЕРБУРГСКИЙ САЛОН

- <sup>1</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. I, № 45, л. 3—3 об.
- <sup>2</sup> Андроников И. Л. Лермонтов: Исслед. и находки. 4-е изд. М., 1977. С. 22—24.
- <sup>3</sup> Записки Дмитрия Николаевича Свербеева (1709—1826). М., 1899. Т. 1. С. 225 (далее: Свербеев, том и страница).
- <sup>4</sup> Там же. С. 225.
- <sup>5</sup> Формулярный список Татаринова — ЦГИА, ф. 1349, оп. 3, № 2210, л. 87—98. См. в наших ст.: 1) Грибоедов в романе В. С. Миклашевич «Село Михайловское» // А. С. Грибоедов: Творчество, биография, традиции. Л., 1977. С. 254—255; 2) Из неизданных отзывов о Пушкине // Временник Пушкинской комиссии, 1975. Л., 1979. С. 98—109.
- <sup>6</sup> Свербеев. Т. 1. С. 221.
- <sup>7</sup> Кобеко Д. Императорский Царскосельский лицей: Наставники и питомцы, 1811—1843. Спб., 1911. С. 227; Свербеев. Т. 1. С. 225.
- <sup>8</sup> Рус. старина. 1874. Т. 2. С. 370.
- <sup>9</sup> ЦГИА, ф. 1343, оп. 27, № 4269, л. 6, 7 об.
- <sup>10</sup> Дмитриев И. И. Сочинения. Спб., 1895. Т. 2. С. 103—105.
- <sup>11</sup> ЦГИА, ф. 1349, оп. 3, № 1744.
- <sup>12</sup> Свербеев. Т. 1. С. 226.
- <sup>13</sup> ГПБ, ф. 777, № 1586.
- <sup>14</sup> Гнедич Н. И. Стихотворения. Спб., 1832. С. 104.
- <sup>15</sup> Письмо от 15 нояб. 1817 г. // ГПБ, ф. 682, к. 4, VI ж.
- <sup>16</sup> Письмо от 25 мая 1817 г. // Там же.
- <sup>17</sup> Свербеев. Т. 1. С. 189.
- <sup>18</sup> Письмо от 10 дек. 1817 г. // ГПБ, ф. 684, к. 4, VI ж.
- <sup>19</sup> Свербеев. Т. 1. С. 226.
- <sup>20</sup> Гнедич Н. И. Указ. соч. С. 220. Ср.: Модзалевский Б. Л. Малороссийский родословник. Киев, 1908. Т. 1. С. 280.
- <sup>21</sup> О записях Гнедича и Батюшкова в альбоме см.: Дризен Н. В. Литературный салон 20-х годов // Ежемес. лит. прилож. к «Ниве», 1894. № 5. С. 17—20; первое стихотворение (у Дризена не упомянутое) // ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 125; Гнедич Н. И. Указ. соч. С. 207 (под заглавием: «К П—ой»); последнее см.: Гнедич Н. И. Стихотворения. Л., 1956. С. 93. 800 (альбомный автограф здесь не учтен).
- <sup>22</sup> Батюшков К. Н. Сочинения. Спб., 1886. Т. 3. С. 493, 554.
- <sup>23</sup> Свербеев. Т. 1. С. 228.
- <sup>24</sup> См.: Берков П. Н. История русской комедии XVIII в. Л., 1977. С. 362—363.
- <sup>25</sup> Свербеев. Т. 1. С. 229.
- <sup>26</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 45.
- <sup>27</sup> Там же, л. 30. Дризен Н. В. Указ. соч. С. 5.
- <sup>28</sup> Свербеев. Т. 1. С. 226—229.

## Глава II. «ПИСАТЕЛЬ ДЛЯ МУЖЧИН И ДАМ»

- <sup>1</sup> Измайлов А. Е. Сочинения. Спб., 1849. Т. 2. С. 541.
- <sup>2</sup> Хроника недавней старины: Из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого. Спб., 1876. С. 321—322.
- <sup>3</sup> Гаевский В. П. Дельвиг // Современник. 1854. № 1. Отд. III. С. 28.
- <sup>4</sup> Измайлов А. Е. Указ. соч. Т. 2. С. 556.
- <sup>5</sup> ГПБ, ф. 310 (Измайлова), № 2, л. 118 об.
- <sup>6</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 18; Дризен Н. В. Указ. соч. С. 17.
- <sup>7</sup> Письмо от 1 нояб. 1824 г. // ИРЛИ, 14163/LXXVIII67, л. 44 об.
- <sup>8</sup> ГПБ, ф. 310, № 2, л. 119.
- <sup>9</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45; ГПБ, ф. 310, № 2, л. 123 об. (9 дек. 1820 г.); Невский альманах на 1826 год. Спб., 1825. С. 243. Ср.: Дризен Н. В. Указ. соч. С. 3.
- <sup>10</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45; ГПБ, ф. 310, № 2, л. 124 (дата: 25 дек. 1820). Ср. Благонамеренный, 1821. № 7/8. С. 17; Дризен Н. В. Указ. соч. С. 17.
- <sup>11</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45. Ср.: Дризен Н. В. Указ. соч. С. 21.
- <sup>12</sup> Обширный материал об альбомной графике см. в кн.: Корнилова А. В. Картинные книги. Л., 1982.
- <sup>13</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45; Дризен Н. В. Указ. соч. С. 22—24.
- <sup>14</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 77.
- <sup>15</sup> Я.<П. Л. Яковлев>. Об альбомах. (Из альбома К. И. Измайловой) // Благонамеренный. 1820. № 18. С. 374—377.
- <sup>16</sup> Благонамеренный. 1820. № 13. С. 3.
- <sup>17</sup> Гаевский В. П. Дельвиг // Современник. 1853. Т. 39. Отд. 3. С. 4; 1854. Т. 43. Отд. 3. С. 5 (со слов М. Л. Яковлева, Д. А. Эристовой и А. И. Дельвига). О Яковлеве см.: Кубасов И. Павел Лукьянович Яковлев // Рус. старина. 1903. № 6. С. 629—641; № 7. С. 195—214; Медведева И. Н. Павел Лукьянович Яковлев и его альбом // Звенья. М.; Л., 1936. Т. 6. С. 101—133.
- <sup>18</sup> Благонамеренный. 1820. № 13. С. 12—15.
- <sup>19</sup> Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву // Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 156.
- <sup>20</sup> Архив Вольного общества в Научной библиотеке им. М. Горького, ЛГУ. № 161. В «Благонамеренном» (1820. № 14. С. 122) указано, что он был членом с 1819 г.; это ошибка.
- <sup>21</sup> ИРЛИ, 14. 163/LXXVIII67, л. 15. Не датировано. Относится к концу июля 1820 г.
- <sup>22</sup> Там же, л. 12 (приписка М. Л. Яковлева к письму Измайлова от 2 августа 1820 г.).
- <sup>23</sup> Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 265.
- <sup>24</sup> ИРЛИ. 14. 163/LXXVIII6. 7, л. 16.
- <sup>25</sup> Проскурин О. Над чем смеялся Александр Измайлов: (Из лит. наследия) // Вопр. лит. 1983. № 8. С. 264—265.
- <sup>26</sup> ИРЛИ, 14. 163/LXXVIII67, л. 19 об.
- <sup>27</sup> Молитва об исцелении С. Д. П. Дата: «18 сент. 1820». ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45; ГПБ, ф. 310, № 2, с. 120—121 об., под заглавием «На болезнь С. Д. П.» и с датой «19 сент. 1820». Ср.: Измайлов А. Е. Соч. Т. 1. С. 298—299.
- <sup>28</sup> См. это стихотворение (в иной редакции), под загл. «На болезнь Людмилы», с подп. «...Б» и датой «1820»: Благонамеренный. 1822. № 12. С. 465; ср.: Измайлов А. Е. Соч. Т. 1. С. 310; ГПБ, ф. 310, № 2, л. 122 (дата «1820»).
- <sup>29</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 34. Опубликовано («Надпись к портрету С. Д. П.»): Благонамеренный. 1820. № 18. С. 404; Измайлов А. Е. Соч. Т. 1. С. 326.



## Глава III. СПОР НА ОЛИМПЕ

- <sup>1</sup> См. подробно: *Базанов В.* Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 119 и след.
- <sup>2</sup> *Благонамеренный*, 1820. № 5. С. 307; № 6. С. 391. См. об этой статье: *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 186.
- <sup>3</sup> *Благонамеренный*. 1820. № 13. С. 15.
- <sup>4</sup> *Левкович Я. Л.* Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. С. 154—156.
- <sup>5</sup> *Цертелев Н. А.* О подражательной гармонии слова. (Письмо к О. М. С.) // *Сын отечества*. 1818. № 37. С. 210; Извлечение из письма г. действительного члена О. М. Сомова к г. действительному же члену князю Н. А. Цертелеву // *Соревнователь*. 1820. № 6. С. 357; О парижских театрах. Письма к князю Н. А. Цертелеву. Письмо первое. Париж // *Благонамеренный*. 1820. № 10. С. 278; Второе письмо к князю Н. А. Ц. из Парижа // Там же. 1820. № 11. С. 348.
- <sup>6</sup> *Невский зритель*. 1821. № 1. С. 56.
- <sup>7</sup> *Сын отечества*. 1821. № 13. С. 263. Подробнее см.: *Мордовченко Н. И.* Русская критика первой четверти XIX века. С. 326—327.
- <sup>8</sup> *Яковлев П.* Чувствительное путешествие по Невскому проспекту // *Благонамеренный*. 1821. № 16. С. 235.
- <sup>9</sup> *Левкович Я. Л.* Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву. С. 154—156.
- <sup>10</sup> Архив Общества (ЛГУ). № 1.
- <sup>11</sup> Альбом В. И. Панаева. ИРЛИ, р. 1, оп. 42, № 21, л. 41. Запись анонимна; «уединенный певец» — автохарактеристика П. А. Межакова, ставшая названием и его сборника.
- <sup>12</sup> *Благонамеренный*. 1820. № 9. С. 223—224.
- <sup>13</sup> Там же. 1821. № 3, приб. С. 14.
- <sup>14</sup> *Батюшков К. Н.* Соч. Т. 3. С. 457.
- <sup>15</sup> *Вестн. Европы*. 1867. № 9. С. 264 1-й паг.
- <sup>16</sup> *Измайлов А. Е.* Соч. Т. 1. С. 265.
- <sup>17</sup> *Вестн. Европы*. 1867. № 9. С. 265.
- <sup>18</sup> См. об этом ряд ценных замечаний в кн.: *Вольперт Л. И.* Пушкин и психологическая традиция во французской литературе. Таллин, 1980.
- <sup>19</sup> *Баратынский Е.* Послание к Б<арону> Дельвигу // *Невский зритель*. 1820. Март. С. 56—59; К Коншину // *Сын отечества*. 1820. № 49. С. 130—131.
- <sup>20</sup> Б-ка для чтения. 1844. Т. 66. С. 8.
- <sup>21</sup> *Эртель В. А.* Выписка из бумаг дяди Александра // *А. С. Пушкин в воспоминаниях современников*. М., 1985. Т. 1. С. 166. Ср.: *Филиппович П. П.* Жизнь и творчество Е. А. Баратынского. Киев, 1917. С. 72.
- <sup>22</sup> *Базанов В.* Ученая республика. С. 394.
- <sup>23</sup> *Соревнователь*. 1821. Т. 14. Кн. 1. С. 65; Е. А. Баратынский. Материалы к его биографии: Из Татевского архива Рачинских / С введением и примеч. Ю. Верховского. Пг., 1916. С. VI.
- <sup>24</sup> *Новости лит.* 1823. № 40. С. 14. Ср.: *Баратынский Е. А.* Полн. собр. соч. Спб., 1914. Т. 1. С. 47 (первая редакция).
- <sup>25</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 34 об.
- <sup>26</sup> *Благонамеренный*, 1821. № 7/8. С. 17; ср.: *Дризен Н. В.* Указ. соч. С. 17; ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45; Архив Общества в ЛГУ.
- <sup>27</sup> *Благонамеренный*. 1821. № 7/8. С. 16. Автограф — в альбоме Пономаревой // ИРЛИ, 9668/LVIII68, л. 10.

## Глава IV. РОМАН В ПИСЬМАХ

- <sup>1</sup> Архив АН СССР, ф. 738 (В. В. Майкова), № 55, л. 39. Фр. Все последующие письма и дневниковые записи Сомова — по этому источнику.
- <sup>2</sup> Слова: *третьего дня ~ что-либо по-французски.*

- <sup>3</sup> Благонамеренный. 1821. № 10. С. 143 (под загл.: Песенка); ИРЛИ, отд. пост., № 9668, л. 29—29 об. Ср.: Поэты 1820-х—1830-х годов. Л., 1972. Т. 1. С. 219, 721.
- <sup>4</sup> Медведева И. Н. Павел Лукьянович Яковлев и его альбом. С. 122. Перевод: «Мир — ваша родина, стремление к добру — ваша религия» (англ.).
- <sup>5</sup> Текст по-русски.
- <sup>6</sup> Парафраза концовки стихотворения И. М. Долгорукова «Спор» («Вперед не спорь, да будь умнее...» и т. д.). См.: Поэты-сатирики конца XVIII—начала XIX в. Л., 1959. С. 414.
- <sup>7</sup> Альбом В. И. Панаева // ИРЛИ, ф. 1, оп. 42, № 21, л. 43.
- <sup>8</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 9; Дризен Н. В. Указ. соч. С. 3—4.
- <sup>9</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 53.
- <sup>10</sup> Там же, л. 9 об.
- <sup>11</sup> Базанов В. Ученая республика. С. 397; архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (ЛГУ); Соревнователь. 1821. Кн. 3. С. 315.
- <sup>12</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1949. Т. 11. С. 98—99.
- <sup>13</sup> О проблеме литературного этикета см.: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967. С. 84—108.
- <sup>14</sup> Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1972. С. 159.
- <sup>15</sup> ИРЛИ, отд. пост., № 9668.
- <sup>16</sup> Комедия Мартелли (О. Ф. Ришо).
- <sup>17</sup> И вот ко всем у ней так очи льстивы,  
Так нежен взгляд, так полон страсти смех,  
Что все друг к другу стали уж ревнивы,  
И страх слился с надеждою у всех.  
И пленники, увидя идол лживый,  
Кумир очей, в слепых надеждах тех,  
К нему стремятся без стыда и меры...
- Тассо Т. Освобожденный Иерусалим / Пер. с ит. размером подлинника Дмитрий Мин. Спб., б. г. Т. 1. С. 148 (Песнь V, строфа 71).
- <sup>18</sup> Измайлов А. Е. Из письма к С. Д. П. // ГПБ, ф. 310, № 2, л. 137. Датировано 1821 г. Ср. протокол 2-го заседания Общества любителей словесности и премудрости от 15 июля 1821 г., где в протоколах обозначено отсутствующее стихотворение Измайлова «Армида». — Веселовский А. А. Сословие друзей просвещения. Дружеское литературное общество С. Д. Пономаревой // Рус. библиофил. 1912. № 4. С. 60.
- <sup>19</sup> Тассо Т. Указ. соч. С. 120—123.
- <sup>20</sup> См.: Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века. М.; Л., 1959. С. 186, 166—169, 326.
- <sup>21</sup> Благонамеренный. 1821. № 3. С. 146—147 (подп.: ... Москва).
- <sup>22</sup> ИРЛИ, ф. 322, № 69, л. 182 об.
- <sup>23</sup> Архив Общества в ЛГУ.
- <sup>24</sup> См. в нашей статье: Из истории литературных полемик 1820-х годов // Филол. зап. Воронеж, 1972. № 3. С. 178. Текст стихотворения см.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. С. 242—243.
- <sup>25</sup> См. письмо от 11 мая 1821 г.
- <sup>26</sup> Поэты 1820-х—1830-х годов. Т. 1. С. 716.
- <sup>27</sup> Вестн. Европы. 1867. № 9. С. 265.

## Глава V. «СОСЛОВИЕ ДРУЗЕЙ ПРОСВЕЩЕНИЯ»

- <sup>1</sup> Аронсон М. И., Рейсер С. А. Литературные кружки и салоны. Л., 1929. С. 121—122 (исправляем по подлиннику мелкие неточности). Подробно о протоколах общества см.: Веселовский А. А. Сословие друзей просвещения. Дружеское литературное общество С. Д. Пономаревой // Рус. библиофил. 1912. № 4. С. 58—65.
- <sup>2</sup> ГПБ, ф. 310, № 2, л. 137 с датой: (1821).

- <sup>3</sup> Веселовский А. А. Указ. соч. С. 59—60. В публикации неточности; цитируем по авторграфу ИРЛИ, 9623/LVI6, л. 19.
- <sup>4</sup> Благонамеренный. 1821. № 11/12. С. 219—222. Перепечатано в кн.: Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.). (Л., 1960. С. 160—162) с совершенно дезориентирующим комментарием («автор не установлен» — С. 698).
- <sup>5</sup> Невский альманах на 1827 год. Спб., 1826. С. 156.
- <sup>6</sup> ИРЛИ, 9623/LVI6, л. 8—8 об. Автограф. Ср.: Аронсон М. И., Рейсер С. А. Указ. соч. С. 118.
- <sup>7</sup> Веселовский А. А. Указ. соч. С. 59—60; ИРЛИ, 9623/LVI6 л. 28—28 об.
- <sup>8</sup> ИРЛИ, 9623/LVI6, л. 3 (датировано: Июня 23).
- <sup>9</sup> См. об этом в нашей книге: Северные цветы. История альманаха Дельвига—Пушкина. М., 1978. С. 9 и след.
- <sup>10</sup> ИРЛИ, 9623/LVI6, л. 31—32.
- <sup>11</sup> Благонамеренный. 1821. № 13. С. 62—64.
- <sup>12</sup> Рус. архив. 1871. № 7/8. Стб. 969.
- <sup>13</sup> Вестн. Европы. 1867. № 9. С. 265.
- <sup>14</sup> ИРЛИ. 14. 163/LXXIII67, л. 75 об. Ср.: Медведева И. Н. Указ. соч. С. 107.
- <sup>15</sup> ИРЛИ 14. 163/LXXVIII67, л. 80 (письмо от 19 февраля 1825 г.).
- <sup>16</sup> Медведева И. Н. Указ. соч. С. 122.
- <sup>17</sup> Благонамеренный. 1821. № 15. С. 148; ИРЛИ. 9623/LVI6, л. 74; ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 32, л. 77 (альбом Яковлева).
- <sup>18</sup> ИРЛИ, 9623/LVI6, л. 82—88 об. Последующие предложения — там же, л. 90—97, 171—171 об. Фраза зачеркнута Сомовым.
- <sup>19</sup> Вестн. Европы. 1867. № 9. С. 265—267.
- <sup>20</sup> Архив Общества в ЛГУ.
- <sup>21</sup> Княжевич Д. М. Мой журнал // ЦГАЛИ, ф. 337, оп. 1, № 102, л. 118—124 об., 125.

## Глава VI. ДЕЛИЯ

- <sup>1</sup> Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1959. С. 148—151.
- <sup>2</sup> Благонамеренный. 1819. № 7. С. 44; № 12. С. 393; 1820. № 18. С. 389.
- <sup>3</sup> Медведева И. Н. Указ. соч. С. 128.
- <sup>4</sup> Дризен Н. В. Указ. соч. С. 22.
- <sup>5</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 39 об.
- <sup>6</sup> Медведева И. Н. Указ. соч. С. 121; ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 32, л. 14 об. — 17.
- <sup>7</sup> Медведева И. Н. Указ. соч. С. 121 (исправляю перевод).
- <sup>8</sup> Боратынский Е. А. Полн. собр. соч. Спб., 1914. Т. 1. С. 54.
- <sup>9</sup> Вестн. Европы. 1894. № 3. С. 437—438.
- <sup>10</sup> Боратынский Е. А. Указ. соч. С. 65, 249.
- <sup>11</sup> Там же. С. 47—48.
- <sup>12</sup> ИРЛИ, отд. пост., № 9665. См.: Вацуро В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского дома (1750—1840-е годы) // Ежегодник Рукописного отд. Пушкин. дома на 1977 г. Л., 1979. С. 15—16. Барановская М. Летучие листки альбома... // Пушкинский праздник. 1977. 2—8 июня. С. 10—11.
- <sup>13</sup> Коншин Н. Воспоминания о Боратынском, или Четыре года моей финляндской службы с 1819 по 1823 // Краевед. зап. Ульяновск, 1958. Вып. 2. С. 397.
- <sup>14</sup> ГПБ, ф. 310, № 2, л. 127—131.
- <sup>15</sup> Дельвиг А. А. Указ. соч. С. 155, 305. Об этом стихотворении см.: Шервинский С. In motem passeris Lesbiae и «На смерть собачки Амики» // Рус. архив. 1915. № 11/12. С. 306—314; Кибальник С. А. Катулл в русской поэзии XVIII—первой трети XIX века. // Взаимосвязи русской и зарубежной литератур. Л., 1983. С. 62—63.
- <sup>16</sup> Дельвиг А. А. Указ. соч. С. 155—156, 306.
- <sup>17</sup> Там же. С. 156.

- <sup>18</sup> *Боратынский Е. А.* Указ. соч. С. 41—42.
- <sup>19</sup> Там же. С. 54—55. Автограф — в альбоме Пономаревой // ИРЛИ, № 9668, л. 12.
- <sup>20</sup> *Боратынский Е. А.* Указ. соч. С. 234—235.
- <sup>21</sup> Сын отчества. 1822. № 8 (25 февр.). С. 22—28 («Рыбаки») № 9 (4 марта). С. 96 (объявление о раздаче № 5 «Б-ки для чтения»); ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370.
- <sup>22</sup> *Цявловский М. А.* Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. Т. 1. С. 331—332.
- <sup>23</sup> Архив Общества в ЛГУ.
- <sup>24</sup> *Боратынский Е. А.* Указ. соч. С. 34—35.
- <sup>25</sup> Там же. С. 40.
- <sup>26</sup> Там же. С. 36.
- <sup>27</sup> Там же. С. 78—79.
- <sup>28</sup> *Хетсо Г.* Евгений Баратынский: жизнь и творчество. Oslo, 1973. С. 584.
- <sup>29</sup> *Боратынский Е. А.* Указ. соч. С. LVI. Хронология событий жизни Боратынского в 1820—1824 гг. была уточнена уже после выхода книги «С. Д. П.» — сначала в истинной повести «Боратынский» (М., 1990), затем в «Летописи жизни и творчества Е. А. Боратынского» (М., 1998). — *Примеч. сост.*
- <sup>30</sup> *Дельвиг А. А.* Указ. соч. С. 164—166, 313—314.
- <sup>31</sup> Поэты 1820-х — 1830-х гг. Т. 1. С. 202—203.
- <sup>32</sup> Благонамеренный. 1823. № 15. С. 169.
- <sup>33</sup> Там же. 1822. № 37. С. 416; № 39. С. 515.
- <sup>34</sup> *Гаевский В. П.* Дельвиг. Ст. 2 // Современник. 1853. № 5. С. 17; Ст. 4 // Там же. 1854. № 9. С. 43.
- <sup>35</sup> Вестн. Европы. 1867. Сент. С. 262; ЦГИА, ф. 1349, оп. 4, № 27 (1825 г.), л. 38 (формулярный список Федорова).
- <sup>36</sup> *Дельвиг А. А.* Указ. соч. С. 166.
- <sup>37</sup> Архив ВОЛСНХ (ЛГУ). № 216.
- <sup>38</sup> См.: Русская басня XVIII—XIX веков. Л., 1977. С. 403, 601—602 (примеч. В. П. Степанова).
- <sup>39</sup> Благонамеренный. 1822. № 40. С. 8; ср.: Русская стихотворная, пародия (XVIII—начало XX в.). Л., 1960. С. 164—165, 700.
- <sup>40</sup> Благонамеренный. 1820. № 17. С. 316; № 22. С. 240; 1821. № 7—8. С. 10.
- <sup>41</sup> Рус. архив. 1871. № 7/8. С. 981 (письмо от 1 февр. 1824 г.).
- <sup>42</sup> См.: *Дельвиг А. А.* Сочинения. Л., 1986. С. 272—273. 407—408.
- <sup>43</sup> *Пушкин А. С.* Полн. собр. сочинений. [М.; Л.], 1949. Т. 11. С. 151.
- <sup>44</sup> *Баратынский Е. А.* Полн. собр. стих. Л., 1936. Т. 2. С. 298; *Вацуро В. Э.* Мнимое четверостишие Баратынского // Рус. лит. 1975. № 4. С. 156.
- <sup>45</sup> *Петряев Е. Д.* Литературные находки: Очерки культурного прошлого Вят. земли. Киров, 1981. С. 26, 247. Ср.: *Брюсов В.* Эпиграммы и пародии на Е. А. Баратынского // Рус. архив. 1901. № 2. С. 347—349; *Баратынский Е. А.* Указ. соч. Т. 2. С. 248.
- <sup>46</sup> ИРЛИ, 14. 163/LXXVIII67 (письмо Измайлова Яковлеву от 29 марта 1825 г.). Ср.: Календарь муз на 1826-й год, изданный А. Измайловым и П. Яковлевым. Спб., 1826. В росписи Н. П. Смирнова-Сокольского (Русские литературные альманахи и сборники. М., 1965, № 274) эта статья предположительно приписана Измайлову.
- <sup>47</sup> Письмо от 10 нояб. 1824 г. // ИРЛИ. 14.163/LXXVIII67, л. 52.
- <sup>48</sup> Письмо от 14 марта 1825 г. // Там же, л. 87 об.
- <sup>49</sup> Письмо от 29 марта 1825 г. // Там же, л. 91.
- <sup>50</sup> Письмо от 19 февр. 1825 г. // Там же, л. 80. Ср.: *Медведева И. Н.* Указ. соч. С. 107. Ср.: гл. V, примеч. 15.
- <sup>51</sup> Рус. лит. 1975. № 4. С. 156.
- <sup>52</sup> *Баратынский Е. А.* Указ. соч. Т. 1. С. 285; Т. 2. С. 286.
- <sup>53</sup> Вестн. Европы. 1867. № 9. С. 266.
- <sup>54</sup> *Веселовский А. А.* Указ. соч. С. 65.

- <sup>55</sup> Там же. С. 64—65.
- <sup>56</sup> Вестн. Европы. 1867. № 9. С. 266.
- <sup>57</sup> ГПБ, ф. 310, № 2, л. 136 об., 169.
- <sup>58</sup> Русская басня XVIII—XIX веков. С. 347—348.
- <sup>59</sup> Левкович Я. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры. С. 157.
- <sup>60</sup> Благонамеренный. 1824. № 1. С. 65—66.
- <sup>61</sup> Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. С. 169—170, 224, 318, 334; автографы — ИРЛИ, 18044, л. 28.
- <sup>62</sup> ГПБ, ф. 310, № 2, л. 169, 169 об., 172 об., 173.
- <sup>63</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1947. Т. 2. С. 280.
- <sup>64</sup> Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. С. 171; Дельвиг А. А. Сочинения барона А. А. Дельвига. Спб., 1893. С. 116.
- <sup>65</sup> Верховский Ю. Н. Барон Дельвиг: Материалы биогр. и литературные. Пб., 1922. С. 98.
- <sup>66</sup> ЦГИА, ф. 1349, оп. 4, № 102 (1821 г.), л. 193—194; Цявловский М. А. Судьба тетради Всеволожского // Летописи ГЛМ. 1936. Вып. 1. С. 76—77.
- <sup>67</sup> Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. С. 318—319.
- <sup>68</sup> Там же. С. 172—173.
- <sup>69</sup> «К ней» (1810—1811). См.: Жуковский В. А. Соч.: В 3 т. М., 1980. Т. 1. С. 262, 406 (примеч. И. М. Семенко). Об истории и источнике («Пг» Г.-В. Ф. Ульцена) см.: Зейдлиц К. К. Жизнь и поэзия В. А. Жуковского. Спб., 1883. С. 47; Секе Дьердь. Об источнике стихотворения В. А. Жуковского «К ней» // Рус. лит. 1971. № 1. С. 161—162.
- <sup>70</sup> Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым / Изд. подгот. В. А. Архипов, В. Г. Базанов и Я. Л. Левкович. М.; Л., 1960. С. 74.
- <sup>71</sup> ЦГАЛИ, ф. 1336, оп. 1, № 45, л. 27 об.
- <sup>72</sup> Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 357—358, 538 (примеч. Ю. Г. Оксмана).
- <sup>73</sup> Полярная звезда, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. С. 18; Пигарев К. В. Жизнь Рылеева. М., 1947. С. 83, 86—87; Русская басня XVIII—XIX вв. С. 350—351, 590 (примеч. В. П. Степанова).
- <sup>74</sup> Базанов В. Ученая республика. С. 292—293.
- <sup>75</sup> Сев. архив. 1823. № 11. «Разные известия».
- <sup>76</sup> ИРЛИ, 9623/LVI6, ср.: Временник Пушкинского дома. 1914. Пг., (1914). С. 88.
- <sup>77</sup> Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912. Прилож. С. 104.
- <sup>78</sup> Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 75.
- <sup>79</sup> Ср.: Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1971. С. 204—205.
- <sup>80</sup> Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. С. 174. О «петраркизме» в этих сонетах см. в нашей статье «Русский сонет 1820-х годов и европейская романтическая традиция» // Гармония противоположностей: Аспекты теории и истории сонета. Тбилиси, 1985. С. 96—98.
- <sup>81</sup> Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 443 (примеч. Б. В. Томашевского).
- <sup>82</sup> См. подробнее в нашей статье «История одной ошибки» // Рус. речь. 1988. № 5. С. 17—23.
- <sup>83</sup> Новости лит. 1822. № 15. С. 32 (цензурное разрешение — 3 окт.).
- <sup>84</sup> ГПБ, ф. 310, № 2, л. 30 об.
- <sup>85</sup> Билет на выпуск получен 14 мая; билет на объявление о продаже «вновь вышедшей книги "Воспоминание об Испании"» — 31 июля 1823 г. // ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370.
- <sup>86</sup> Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. С. 175.

## Глава VII. КЛАССИКИ И РОМАНТИКИ

<sup>1</sup> Вестн. Европы. 1867. № 9. С. 266—267.

<sup>2</sup> Архив Общества в ЛГУ, № 161.

<sup>3</sup> Вестн. Европы. 1867. № 12. С. 78.

- <sup>4</sup> ИРЛИ, ф. 3, оп. 13, № 52, л. 1—1 об.
- <sup>5</sup> Благонамеренный. 1823. № 3. С. 210—216.
- <sup>6</sup> Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. С. 227.
- <sup>7</sup> Благонамеренный. 1823. № 3. С. 237—238.
- <sup>8</sup> Там же. № 6. С. 440—441.
- <sup>9</sup> Житель Петербургской стороны. Non plus ultra. Письмо к господам собирателям литературной кунсткамеры // Там же. № 7. С. 53—59.
- <sup>10</sup> <Хвостов Д. И.> Отрывок из собственной записки N. N. // Там же. С. 62—64.
- <sup>11</sup> И<змайлов А. Е.> От издателя // Там же. С. 75—76.
- <sup>12</sup> Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры. С. 157.
- <sup>11</sup> Благонамеренный. 1823. № 8. С. 106.
- <sup>14</sup> Там же. С. 121.
- <sup>15</sup> Житель Васильевского острова. <Цертелев Н. А.> Отрывки из моего журнала // Благонамеренный. 1823. № 13. С. 66.
- <sup>16</sup> Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры. С. 158.
- <sup>17</sup> Благонамеренный. 1823. № 14. С. 133.
- <sup>18</sup> -но- <Н. Ф. Остолопов>. Мелководие Леты. Сказка // Там же. № 11. С. 341.
- <sup>19</sup> Календарь муз на 1826 год. Спб., 1826.
- <sup>20</sup> Сознание // Благонамеренный. 1823. № 11. С. 343. Ср.: Поэты 1820-х — 1830-х годов. Т. 1. С. 204—205, 718.
- <sup>21</sup> Благонамеренный. 1823. № 15. С. 172—173.
- <sup>22</sup> См.: Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1934. С. 499—500; Бороатынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. С. 470; Дельвиг А. А. Соч. С. 398.
- <sup>23</sup> Дельвиг А. А. Соч. С. 29, 384—385.
- <sup>24</sup> Письмо Пушкину 10 сент. 1824 г. // Там же. С. 285.
- <sup>25</sup> Рылеев К. Ф. Соч. Л., 1987. С. 300—301. Датировка этого письма 1822 г., восходящая к первой публикации (автограф не сохранился), ошибочна; по содержанию оно может относиться только к 1823 г., ибо в нем идет речь о подготовке второго выпуска «Полярной звезды» (на 1824 год).
- <sup>26</sup> См. письмо А. А. Бестужева Вяземскому от 5 сент. 1823 г., где о Баратынском говорится как об уехавшем (Лит. наследство. 1956. Т. 60. кн. 1. С. 207); об отъезде его пишет и Плетнев Кюхельбекеру 8 сентября (Рус. старина. 1875. № 7. С. 371—372). 14 сентября Е. А. Энгельгардт сообщает Кюхельбекеру, что Дельвиг «зачем-то поехал в Финляндию» (Там же. С. 374).
- <sup>21</sup> Бороатынский Е. А. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 50—51, 238.
- <sup>28</sup> Благонамеренный. 1823. № 10. С. 264.
- <sup>29</sup> К Панаеву. Сонет // Благонамеренный. 1823. № 5. С. 324. Подпись «4» И. Ф. Масанов вслед за Карцевым и Мазаевым расшифровывал как «Д<ельвиг>» (Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. М., 1958. Т. 3. С. 352), что, конечно, невероятно.
- <sup>30</sup> ЦГИАЛ, ф. 777, оп. 1, № 370.
- <sup>31</sup> Благонамеренный. 1823. № 16. С. 273.
- <sup>32</sup> Письмо Л. С. Пушкину от 4 дек. 1824 г. // Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1937. Т. 13. С. 127.
- <sup>33</sup> Благонамеренный. 1823. № 16. С. 289.
- <sup>34</sup> Там же. 1824. № 2. С. 152.
- <sup>35</sup> Ф. Р.<ындов>ский. В. И. Панаеву // Там же. № 23/24. С. 388.
- <sup>36</sup> Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Спб., 1896. Т. 2. С. 623.
- <sup>37</sup> Бороатынский Е. А. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 238—239.
- <sup>38</sup> Благонамеренный. 1824. № 2. С. 93.
- <sup>39</sup> Вацуро В. Э. Списки послания Баратынского «Гнедичу, который советовал сочинителю писать сатиры» // Ежегодник Рукописного отд. Пушкин. дома на 1972 г. Л., 1974. С. 57.
- <sup>40</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 75.

- <sup>41</sup> Благонамеренный. 1820. № 6. С. 442.
- <sup>42</sup> Вацуро В. Э. Списки послания Баратынского. С. 57.
- <sup>43</sup> ГПБ, ф. 310, № 2, л. 38—38 об.
- <sup>44</sup> Там же, л. 37; ИРЛИ, 9668/VIII68, л. 74 об.; И<змайлов А. Е.> Репейник и роза // Благонамеренный. 1823. № 17. С. 356.
- <sup>45</sup> ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370.
- <sup>46</sup> ГПБ, ф. 310, № 2, л. 38 об.
- <sup>41</sup> Там же, л. 66 об.
- <sup>48</sup> Баратынский Е. А. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 59.
- <sup>49</sup> Там же. С. 46—47.
- <sup>50</sup> Там же. С. 60—61; разночтения поздней редакции — С. 245.
- <sup>51</sup> См.: Филиппович П. П. Жизнь и творчество Е. А. Баратынского. Киев, 1917. С. 92—93; коммент. Е. Н. Куприяновой (Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1957. С. 354) и Л. Г. Фризмана (Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. М., 1982. С. 583).
- <sup>52</sup> Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. С. 177—179.
- <sup>51</sup> Модзалевский Б. Л. Пушкин. Л., 1929. С. 193.
- <sup>54</sup> Современник. 1854. № 1, отд. 3. С. 39—40.
- <sup>55</sup> Дельвиг А. И. Полвека рус. жизни. Т. 1. М.; Л., 1930. С. 66—67.
- <sup>56</sup> Дельвиг А. А. Полн. собр. стихотворений. С. 168.
- <sup>57</sup> Керн А. П. Воспоминания. Дневники. Переписка. М., 1974. С. 80.
- <sup>58</sup> Левкович Я. Л. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры. С. 167.
- <sup>59</sup> Благонамеренный. 1824. № 5. С. 343—353.
- <sup>60</sup> Фризман Л. Г. Жизнь лирического жанра: Рус. элегия от Сумарокова до Некрасова. М., 1973. С. 67—73. Вторая книжка «Соревнователя» получила билет на выпуск из типографии 2 февр., пятая книжка «Благонамеренного» с письмом Мотылькова явилась с запозданием 20 марта (ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370). Какое-то время должно было пройти до появления пародии Дельвига; с другой стороны, статья Мотылькова написана, когда номер журнала еще только формировался, а может быть, и ранее.
- <sup>62</sup> Благонамеренный. 1824. № 1. С. 71.
- <sup>63</sup> Вестн. Европы. 1867. № 12. С. 82.
- <sup>64</sup> Гаевский В. П. Дельвиг. Ст. 3 // Современник. 1854. № 1, отд. 3. С. 40—41.
- <sup>65</sup> ИРЛИ, 14.163/XXVIII67.
- <sup>66</sup> Благонамеренный. 1824. № 8. С. 146—147.
- <sup>67</sup> ГПБ, ф. 310, № 3, л. 10.
- <sup>68</sup> Измайлов А. Е. Спб., 1849. Т. 1. С. 213.
- <sup>69</sup> Благонамеренный. 1824. № 9 (дата: «5 мая 1824»); Измайлов А. Е. Указ. соч. Спб., 1849. Т. 2. С. 557—559.
- <sup>70</sup> Там же. Т. 1. С. 214.
- <sup>71</sup> Вестн. Европы. 1867. № 9. С. 267.
- <sup>72</sup> Измайлов А. Е. Указ. соч. Т. 1. С. 330.
- <sup>73</sup> Гнедич Н. Стихотворения. Спб., 1832. С. 203.

## Глава VIII. IN MEMORIAM

- <sup>1</sup> Все цитаты из писем Измайлова // ИРЛИ, 14.163/XXVIII67.
- <sup>2</sup> Благонамеренный. 1824. № 8. С. 146—147.
- <sup>3</sup> Там же. № 9. С. 205.
- <sup>4</sup> Об истории сборника см.: Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Т. 1. [Л.], 1936. С. 342 и след. Дата выдачи билета № 5 «Литературных листков» (с извещением) — 24 марта 1824 г. (ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 370).
- <sup>5</sup> Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. С. 469—470.

- <sup>6</sup> См. в нашей книге: Северные цветы. История альманаха Дельвига — Пушкина. С. 22—29.
- <sup>7</sup> Вестн. Европы. 1894. № 3. С. 437.
- <sup>8</sup> Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы / Изд. подгот. Л. Г. Фризман. М., 1982. С. 587.
- <sup>9</sup> Баратынский Е. А. Полное собр. стихотворений. Л., 1957. С. 123, 352 (примеч. Е. Н. Купреяновой).
- <sup>10</sup> Рус. архив. 1878. Кн. 3. С. 397—398.
- <sup>11</sup> Баратынский Е. А. Стихотворения. М., 1827. С. 143.
- <sup>12</sup> Кубасов И. А. Вицегубернаторство баснописца Измайлова в Твери и Архангельске (с 1827 по 1829 г.). СПб., 1901. С. 6; Баратынский Е. А. Стихотворения. С. 91.
- <sup>14</sup> См. в нашей заметке: «Площадной шут» в пушкинской эпиграмме // Рус. речь. 1986. № 3. С. 16—19.
- <sup>15</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1948. Т. 3. С. 454.
- <sup>16</sup> Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Пг., 1922. С. 40.
- <sup>17</sup> См. комментарий Б. В. Томашевского (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 3. С. 524—525) и возражения Т. Г. Цявловской (Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. Т. 1. С. 753).
- <sup>18</sup> ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5585, л. 75 об.
- <sup>19</sup> Лит. наследство. 1952. Т. 58. С. 256. Об истории публикации см.: Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов // Учен. зап. / Тартус ун-т. 1960. Вып. 98. Тр. по рус. и славянской филологии. Т. 3. С. 136—139.
- <sup>20</sup> Рус. библиофил. 1911. № 5. С. 33.
- <sup>21</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 82, 157.
- <sup>22</sup> Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины». 2-е изд. М., 1986. С. 247.
- <sup>23</sup> Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 238—240.
- <sup>24</sup> Подробнее об этом см. в нашей статье: Пушкинская эпиграмма на А. Муравьева. (Пушкин в литературных кружках 1826—1827 гг.) // Пушкин: Исслед. и материалы. 1988. Т. 13.

## ЭПИЛОГ

- <sup>1</sup> Галахов А. Д. Полное собрание сочинений русских авторов. Сочинения Измайлова // Современник. 1849. № 12. Отд. 3. С. 59—97; 1850. № 10. Отд. 3. С. 53—100; № 11. Отд. 3. С. 1—64.
- <sup>2</sup> Гаевский В. П. Дельвиг. Ст. 3 // Современник. 1854. № 1. Отд. 3. С. 29.
- <sup>3</sup> Библиограф. 1892. № 12. С. 384—396.



В. Э. ВАЦУРО

ИЗБРАННЫЕ  
ТРУДЫ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
МОСКВА 2004